А. К. Толстой



Гр. Алексей Толстой

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ
ТОМАХ

том 1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1969

Собрание сочинений выходит
под редакцией
И. Ямпольского.

А. К. ТОЛСТОЙ

В 1871 году А. К. Толстой писал Я. П. Полонскому по поводу его романа «Признания Сергея Чалыгина»: «Как это хорошо! Как это просто и художественно! Как каждое слово кстати и каждая заметка верна, и все дышит неподдельной правдой, и во всем слышится доброта и благородство! Вот это последнее качество рождает невольный вопрос: отчего самая простая вещь, сказанная честным и благородным человеком, проникается его характером? Должно быть, в писаной речи происходит то же, что в голосе. Если два человека, один порядочный, а другой подлец, скажут Вам оба: «Здравствуйте!» — то в этом слове послышится разница их характеров».

Это качество, благородство, многое определяет в человеческом облике и литературной деятельности самого Толстого. О его душевной чистоте писали сталкивавшиеся с ним современники. И действительно, чувство собственного достоинства, искренность, прямота, нежелание и органическая неспособность кривить душою, идти на нравственные компромиссы были отличительными свойствами Толстого; они не раз приводили писателя к размолвкам с его социальным окружением и делали привлекательным все, к чему ни прикасалась его рука. «Гуманная натура Толстого сквозит и дышит во всем, что он написал»,— читаем в некрологической заметке Тургенева [1].

Разумеется, это не избавляло Толстого от социальной и исторической ограниченности, от ошибок и заблуждений, но и в своих заблуждениях он был честен, даже и в них мы не обнаружим темных помыслов и сомнительных расчетов.

Литературная деятельность А. К. Толстого протекала в основном в 50—70-е годы XIX века — период острой политической и литературной борьбы.

В русской поэзии этих лет отчетливо обозначились два главных течения: одно из них — демократическая и реалистическая школа Некрасова, другое — школа «чистой по-

---

[1] И. С. Тургенев. Сочинения, т. 14, М.-Л., 1967, стр. 226.

эзии». Наряду с Фетом и Майковым Толстой примыкал к последней и не раз выступал с защитой ее позиций в своих полемических стихотворениях, письмах и статьях.

Теория «искусства для искусства» стремилась, как известно, отгородить литературу от самых животрепещущих вопросов современности. Потому даже из книг лучших поэтов, связанных с нею, мы, по словам С. Я Маршака, неизмеримо «меньше узнаем о чувствах и событиях эпохи, о жизни русского народа, города, деревни, чем из деятельной, щедрой и отзывчивой поэзии Некрасова» [1].

Принадлежность к школе «чистой поэзии» характеризует, конечно, не только политические симпатии и эстетические взгляды Толстого, но и его поэтическую практику. Однако сложная и противоречивая социально-политическая позиция Толстого во многих отношениях выводила его творчество за пределы догмы «искусства для искусства».

1

С материнской стороны Алексей Константинович Толстой происходил из рода Разумовских. Последний украинский гетман Кирилл Разумовский был его прадедом, а граф А. К. Разумовский — вельможа и богач, сенатор при Екатерине II и министр народного просвещения при Александре I — дедом.

Мать поэта, ее братья и сестры были побочными детьми А. К. Разумовского. В начале XIX века они были узаконены, получив дворянское звание и фамилию Перовские. Близость ко двору и правительственным кругам предопределила и характер их воспитания и карьеру. Л. А. Перовский, связанный одно время с декабристами, занимал впоследствии посты министра внутренних дел и министра уделов; В. А. Перовский был оренбургским военным губернатором и чувствовал себя полным хозяином подвластного ему края.

В воспоминаниях двоюродной сестры Толстого сохранились любопытные бытовые черты из жизни его матери. Это была красивая, умная, властная женщина. Об ее причудах ходило в семье много толков. Она «не признавала никаких границ своей воле, чему способствовало огромное состояние». Магазины, поставлявшие материи императрице, должны были присылать ей точно такие же. «Рассказывали, что на каком-то торжестве Анна Алексеевна появилась в шляпе... совершенно одинаковой с шляпой, которая была на императрице. Государь будто бы заметил это и был очень недоволен, что и передали Анне Алексеевне. Тем не менее она и после того заказывала и надевала шляпы и платья, одинаковые с туалетами императрицы» [2].

---

[1] С. Маршак. Воспитание словом, М., 1961, стр 68.

[2] Е. Матвеева. Несколько воспоминаний о гр. А. К. Толстом и его жене.— «Исторический вестник», 1916, № 1, стр. 162—163.

В 1816 году семнадцатилетняя Анна Алексеевна вышла замуж за графа К. П. Толстого, брата известного скульптора, рисовальщика и гравера Ф. П. Толстого. 24 августа 1817 года в Петербурге родился будущий поэт. Отец, однако, не играл в его жизни никакой роли: родители сейчас же после рождения сына разошлись, и Толстой был увезен матерью в Черниговскую губернию. Там, среди южной украинской природы, в имениях матери, а затем ее брата, Алексея Перовского, он провел свое детство, оставившее, по его собственным словам, одни только светлые воспоминания.

Литературные интересы обнаружились у Толстого очень рано. «С шестилетнего возраста,— сообщает он в автобиографическом письме к А. Губернатису,— я начал марать бумагу и писать стихи — настолько поразили мое воображение некоторые произведения наших лучших поэтов... Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику». Алексей Перовский — известный прозаик 20—30-х годов, печатавший свои произведения под псевдонимом «Антоний Погорельский»,— культивировал в племяннике любовь к искусству и поощрял его первые литературные опыты.

Десяти лет Толстой впервые был с матерью и Перовским за границей. В Веймаре они посетили Гете. Сильное впечатление произвело на Толстого путешествие по Италии в 1831 году. Переезжая из города в город, он любовался все новыми и новыми памятниками искусства, посещал мастерские художников, присутствовал при покупках, которые делал Перовский в антикварных магазинах и у разорявшихся итальянских аристократов. Все это нашло яркое отражение в детском дневнике Толстого.

В 1834 году Толстого определили «студентом» в Московский архив министерства иностранных дел. В обязанности «архивных юношей», принадлежавших к знатным дворянским семьям, входили разбор и описание древних документов. В следующем году Толстой выдержал при Московском университете экзамен на право получения чина и был «признан достойным на вступление в первый разряд чиновников государственной службы» [1]. В начале 1837 года он был назначен в русскую миссию при германском сейме во Франкфурте-на-Майне. Работы было, очевидно, не слишком много: сразу же после назначения он получил трехмесячный отпуск «в разные российские губернии», в октябре 1838 года жил на берегу озера Комо, часть зимы 1838—1839 года провел с матерью в Ливорно и т. д. В декабре 1840 года Толстой перевелся во второе отделение собственной е. и. в. канцелярии, в ведении которого были вопросы законодательства, и прослужил там много лет. В 1843 году он получил придворное звание камер-юнкера.

---

[1] А. А. Кондратьев. Граф А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества, СПб., 1912, стр. 16.

О жизни и творчестве Толстого в 30-х и 40-х годах мы располагаем очень скудными данными. Красивый, приветливый и остроумный молодой человек, одаренный незаурядной памятью и такой физической силой, что он винтом сворачивал кочергу, прекрасно знавший иностранные языки, начитанный, Толстой делил свое время между службой, то и дело прерываемой отпусками, светским обществом и литературой. Светская жизнь, по его собственному признанию, очень привлекала его в молодости. Временами Толстой ускользал от нее, предаваясь страсти к охоте, которая оставалась у него неизменной в течение всей жизни. К 30-м годам относится его любовь к княжне Елене Мещерской; Толстой хотел жениться на ней, но этому воспротивилась его мать.

Служба и светская жизнь не заглушили литературных интересов Толстого; он относился к литературе глубоко и серьезно. До 1836 года главным его советчиком был А. А. Перовский (в 1836 году он умер), который показывал стихи молодого поэта своим литературным друзьям, в том числе В. А. Жуковскому. Так, в марте 1835 года Перовский сообщил племяннику: Жуковский «апробует последнюю твою пиесу и велел тебе сказать, что он от роду не говорил В., что «Вершины Альп» нехороши: они, напротив, ему нравятся. Он только сказал ему, что греческие пиесы твои он предпочитает, потому что они доказывают, что ты занимаешься древними» [1]. Сохранилось свидетельство, что первые опыты Толстого были одобрены Пушкиным. Толстой видел однажды Пушкина у Перовского, и тот произвел на него сильное впечатление; на всю жизнь он запомнил заразительный смех великого поэта [2].

До нас дошла лишь небольшая часть его ранних произведений. Следует отметить, что наряду с «серьезными» стихами в духе романтизма у Толстого уже тогда обнаружилось влечение к юмору.

В конце 30-х — начале 40-х годов написаны (на французском языке) два фантастических рассказа — «Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет». В мае 1841 года Толстой впервые выступил в печати, издав отдельной книгой, под псевдонимом «Краснорогский» (от названия имения Красный Рог), фантастическую повесть «Упырь».

В 40-х годах Толстой напечатал очень мало — одно стихотворение и несколько очерков и рассказов. Но уже тогда был задуман исторический роман «Князь Серебряный». Уже тогда Толстой сформировался и как лирик и как автор баллад. К этому десятилетию относятся многие из его широко

---

[1] Архив Толстого в рукоп. отд. Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР.

[2] Б. <Маркевич>. Хроника.— «С.-Петербургские ведомости», 1875, № 266; Д. Н. Цертелев. Отношение гр. А. К. Толстого к Пушкину.— «С.-Петербургские ведомости», 1913, № 182.

известных стихотворений — «Ты знаешь край, где все обильем дышит...», «Колокольчики мои...», «Василий Шибанов», «Курган» и др. Все эти стихотворения были опубликованы, однако, значительно позже. С середины 40-х годов интерес к поэзии резко упал, основные задачи передовой русской литературы решались преимущественно в прозаических жанрах, стихов печаталось чрезвычайно мало, и Толстой, по-видимому, вполне удовлетворялся небольшим кружком своих слушателей — светских знакомых и приятелей.

В 1850 году Толстого прикомандировали к сенатору Давыдову, которому была поручена ревизия Калужской губернии. Поэт прожил в Калуге полгода. Он часто посещал жену губернатора, известную А. О. Смирнову-Россет, приятельницу Гоголя, Пушкина и других русских писателей первой половины XIX века, читал ей свои стихи и главы из «Князя Серебряного». У Смирновых Толстой более близко сошелся с Гоголем, который познакомил своих калужских друзей с отрывками из второго тома «Мертвых душ».

В начале 50-х годов «родился» Козьма Прутков. Это не простой псевдоним, а созданная Толстым и его двоюродными братьями Алексеем и Владимиром Жемчужниковыми сатирическая маска тупого и самовлюбленного бюрократа николаевской эпохи. От имени Козьмы Пруткова они писали в самых различных жанрах: и стихи (басни, эпиграммы, пародии), и пьески, и афоризмы, и исторические анекдоты, высмеивая в них явления окружающей действительности и литературы. В основе их искреннего, заразительного смеха лежали неоформленные оппозиционные настроения, желание как-то преодолеть гнет и скуку мрачных лет николаевской реакции. Прутковским произведениям соответствовал и в жизни целый ряд остроумных проделок, которые имели тот же социальный смысл. Рассказывали, например, о том, как один из «опекунов» Пруткова объездил ночью в мундире флигель-адъютанта главных петербургских архитекторов, сообщив им, что провалился Исаакиевский собор, и приказав от имени государя явиться утром во дворец, и как был раздражен, узнав об этом, Николай I. В другой раз кто-то из них в театре нарочно наступил на ногу некоему высокопоставленному лицу и потом являлся к нему в каждый приемный день извиняться, пока тот не выгнал его. И много еще подобных рассказов ходило о Толстом и Жемчужниковых.

В январе 1851 года была поставлена комедия Толстого и Алексея Жемчужникова «Фантазия», впоследствии включенная в собрание сочинений Козьмы Пруткова. Это пародия на господствовавший еще на русской сцене пустой, бессодержательный водевиль. Присутствовавший на спектакле Николай I остался очень недоволен пьесой и приказал снять ее с репертуара.

В ту же зиму 1850—1851 года Толстой встретился с женой конногвардейского полковника Софьей Андреевной Миллер и влюбился в нее. Они сошлись, но браку их пре-

пятствовали, с одной стороны, муж Софьи Андреевны, не дававший ей развода, а с другой — мать Толстого, недоброжелательно относившаяся к ней. Только в 1863 году брак их был официально оформлен. Софья Андреевна была образованной женщиной; она знала несколько иностранных языков и обладала, по-видимому, незаурядным эстетическим вкусом. Толстой не раз называл ее своим лучшим и самым строгим критиком и прислушивался к ее советам. К Софье Андреевне обращена вся его любовная лирика начиная с 1851 года.

Толстой постепенно приобретал более широкие литературные связи. В начале 50-х годов поэт сблизился с Тургеневым, которому помог освободиться из ссылки в деревню за напечатанный им некролог Гоголя, затем познакомился с Некрасовым и кругом «Современника», с Б. М. Маркевичем, ставшим впоследствии одним из его близких приятелей. В 1854 году, после большого перерыва, Толстой снова выступил в печати. В «Современнике» появилось несколько его стихотворений и первая серия прутковских вещей.

В годы Крымской войны Толстой сначала хотел организовать партизанский отряд на случай высадки на балтийском побережье английского десанта, а затем, в 1855 году, поступил майором в стрелковый полк. Но на войне поэту побывать не пришлось: во время стоянки полка под Одессой он заболел тифом. После окончания войны, в день коронации Александра II, Толстой был назначен флигель-адъютантом.

Вторая половина 50-х годов — период большой поэтической продуктивности Толстого. «Ты не знаешь, какой гром рифм грохочет во мне, какие волны поэзии бушуют во мне и просятся на волю»,— писал он жене. В эти годы написано около двух третей всех его лирических стихотворений. Поэт печатал их во всех толстых журналах.

Уже в 1857 году наступило охлаждение между Толстым и редакцией «Современника». «Я тебе признаюсь, что я не буду доволен, если ты познакомишься с Некрасовым. Наши пути разные»,— читаем в одном из писем к жене. После этого стихи его в «Современнике» больше не появлялись. Одновременно произошло сближение со славянофилами. Толстой стал постоянным сотрудником «Русской беседы» и подружился с И. С. Аксаковым. Но через несколько лет обнаружились существенные расхождения. Толстой отрекся от своих симпатий к славянофилам и не раз высмеивал их претензии на представительство подлинных интересов русского народа.

Как флигель-адъютант Толстой часто бывал при дворе. Однако служебные обязанности (одно время он был также делопроизводителем комитета о раскольниках) становились все более неприятны ему. Когда курьер из дворца приезжал к поэту с извещением об очередном дежурстве, он открыто выражал свое неудовольствие. В письмах к жене Толстой много раз повторял то, о чем говорится в стихо-

творной шутке, выражавшей, по его собственным словам, его «всегдашнюю мысль» (письмо к жене от 5 октября 1856 г.):

Исполнен вечным идеалом,
Я не служить рожден, а петь!
Не дай мне, Феб, быть генералом,
Не дай безвинно поглупеть!

Еще при назначении флигель-адъютантом Толстой сделал попытку отказаться, но безуспешно. Лишь в 1859 году ему удалось добиться бессрочного отпуска, а в 1861 году — отставки. Толстой писал Александру II: «Служба, *какова бы она ни была*, глубоко противна моей натуре... Я думал... что мне удастся победить в себе натуру художника, но опыт показал, что я напрасно боролся с ней. *Служба и искусство несовместимы»*.

Добившись отставки, Толстой поселился в деревне. Он жил то в своем имении Пустыньке, под Петербургом, то — чем дальше, тем все больше,— в далеком от столицы Красном Роге (Черниговской губернии, Мглинского уезда). В Петербург поэт только изредка наезжал.

Бывая во дворце, он не раз пользовался тем единственно доступным для него средством — «говорить во что бы то ни стало правду», о котором писал Александру II. В частности, Толстой неоднократно защищал от репрессий и преследований писателей. Еще в середине 50-х годов он активно участвовал в хлопотах о возвращении из ссылки Тараса Шевченко[1]. Летом 1862 года он вступился за И. С. Аксакова, которому было запрещено редактировать газету «День», в 1863 году — за Тургенева, привлеченного к делу о лицах, обвиняемых в сношениях с «лондонскими пропагандистами», то есть Герценом и Огаревым, а в 1864 году предпринял попытку смягчить судьбу Чернышевского. На вопрос Александра II, что делается в литературе, он ответил, что «русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского». Александр II не дал ему договорить. «Прошу тебя, Толстой, *никогда* не напоминать мне о Чернышевском»[2]. Произошла размолвка, и никаких результатов, на которые надеялся поэт, разговор этот не принес. Однако в обстановке все более сгущавшейся реакции, когда и многие либералы высказывали полное удовлетворение расправой с Чернышевским, это был акт несомненного гражданского мужества.

Несмотря на близость Толстого ко двору и давнее — с детских лет — знакомство с поэтом, Александр II никогда не считал его вполне своим человеком. Когда в 1858 году

[1] См. письмо Л. М. Жемчужникова к А. Я. Конисскому от 18 октября 1897 г.— Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників, Київ, 1958, стр. 153.

[2] Ив. Захарьин (Якунин). Гр. А. А. Толстая.— «Вестник Европы», 1905, № 4, стр. 634—635.

учреждался негласный комитет по делам печати, он отверг предложение министра народного просвещения Е. П. Ковалевского включить в него писателей — Тютчева, Тургенева и др. «Что твои литераторы, ни на одного из них нельзя положиться»,— с раздражением сказал он. Ковалевский, по свидетельству современника, «просил назначить хоть из придворных, но из людей, по крайней мере известных любовью к словесности: кн. Николая Орлова, графа Алексея Конст. Толстого и флигель-адъютанта Ник. Як. Ростовцева, и получил самый резкий отказ» [1].

Этот эпизод хорошо характеризует восприятие личности Толстого в высших сферах. Человек отзывчивый, благородный и прямой, он непримиримо относился ко всякой подлости, был независим в своих суждениях и поведении, органически чужд духу приспособленчества, угодливости и карьеризма. Толстому нельзя было приказать или даже намекнуть, чтобы он сделал то, что противоречит его взглядам. Такой ли человек нужен был для органа надзора за печатью и литературой?

Вместе с тем в 60-е годы Толстой подчеркнуто держался в стороне от литературной жизни, встречаясь и переписываясь лишь с немногими писателями — И. А. Гончаровым, К. К. Павловой, А. А. Фетом, Б. М. Маркевичем. В связи с обострением общественной борьбы поэт, подобно многим своим современникам — Фету, Льву Толстому, все чаще противопоставлял актуальным социально-политическим вопросам и вообще истории вечные начала стихийной жизни природы. «Петухи поют так, будто они обязаны по контракту с *неустойкой*,— писал он Маркевичу.— ...Зажглись огоньки в деревне, которую видно по ту сторону озера. Все это — хорошо, это я люблю, я мог бы так прожить всю жизнь... Черт побери и Наполеона III, и даже Наполеона I! Если Париж стоит обедни, то Красный Рог со своими лесами и медведями стоит всех Наполеонов... Я бы легко согласился не знать о том, что творится в нашем seculum <столетии>... Остается истинное, вечное, абсолютное, не зависящее ни от какого столетия, ни от какого веяния, ни от каких fashion <мод>,— и вот этому-то я всецело отдаюсь».

Печатался Толстой преимущественно в реакционном журнале М. Н. Каткова «Русский вестник», а с конца 60-х годов — одновременно в «Русском вестнике» и в либеральном «Вестнике Европы» М. М. Стасюлевича, несмотря на их враждебные отношения и постоянную полемику. Но ни на один из них Толстой не смотрел как на свой журнал, близкий ему по своим взглядам и симпатиям.

В начале 60-х годов Толстой напечатал «драматическую поэму» «Дон Жуан» и роман «Князь Серебряный», а затем написал одну за другой три пьесы, составившие драматическую трилогию: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор

---

[1] Письмо П. В. Долгорукова к Н. В. Путяте от 21 декабря 1858 г.— «Мурановский сборник», вып. 1, 1928, стр. 113.

Иоаннович» и «Царь Борис» (1862—1869). В 1867 году вышел сборник стихотворений Толстого, подводивший итог его больше чем двадцатилетней поэтической работе.

Во второй половине 60-х годов Толстой вернулся к балладе и создал ряд превосходных образцов этого жанра; лирика занимает теперь в его творчестве гораздо меньше места, чем в 50-х годах. В конце 60-х и в 70-х годах написана и большая часть его сатир.

Толстой был, судя по сохранившимся сведениям, гуманным помещиком. Так, и после реформы 1861 года он разрешал красногорским крестьянам пасти скот на своих лугах, давал им лес и пр. Но своими имениями сам поэт никогда не занимался. И в пореформенных условиях хозяйство велось хаотично, патриархальными методами. Практический Фет, передавая в своих воспоминаниях впечатления от посещения Красного Рога в 1869 году, писал: «Нас всех везла прекрасная четверка. По страсти к лошадям я спросил графа о цене левой пристяжной.— «Этого я совершенно не знаю,— был ответ,— так как хозяйством решительно не занимаюсь...» Там, где леса разбегались широкими сенокосами, я изумлялся обилию стогов сена. На это мне пояснили, что сено накопляют в продолжение двух-трех лет, а затем (кто бы поверил?), за неимением места для склада, старые стога сжигают. Этого хозяйственного приема толстого господина, проживавшего в одном из больших флигелей усадьбы, которого я иногда встречал за графским столом в качестве главного управляющего, я и тогда не понимал и до сих пор не понимаю» [1].

Жил Толстой широко. Его материальные дела постепенно приходили в расстройство. Еще в 1862 году он продал удельному ведомству имение в Саратовской губернии, а затем и некоторые другие, продавал леса на сруб, выдавал векселя. Особенно ощутимо стало разорение к концу 60-х годов. Поэт говорил своим близким, что не в состоянии жить так, как жил до сих пор, и принужден будет просить Александра II снова взять его на службу. Все это очень тяготило его и нередко выводило из себя. Этим объясняется в известной степени раздражительный тон многих его писем последних лет, некоторые неожиданные в его устах высказывания.

Толстой чувствовал себя социально одиноким и называл себя «анахоретом» (письмо к Стасюлевичу от 22 декабря 1869 года). Это социальное самочувствие усиливалось причинами личного характера — разорением, болезнью. Глубокой тоской веет от одного из его писем 1869 года. «Русская нация сейчас немногого стоит,— с болью писал он Маркевичу.— ...Если бы перед моим рождением господь бог сказал мне: «Граф! выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться!» — я бы ответил ему: «Ваше величество, везде, где вам будет угодно, но только не в России!.. И когда я думаю

---

[1] А. Фет. Мои воспоминания, ч. 2, М., 1890, стр. 186.

о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов..., мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам богом!»

С середины 60-х годов здоровье Толстого пошатнулось. Он стал жестоко страдать от астмы, грудной жабы, невралгии, сопровождавшейся мучительными головными болями. Ежегодно он ездил за границу лечиться, но это помогало лишь ненадолго. Умер Толстой 28 сентября 1875 года в Красном Роге, впрыснув слишком большую дозу морфия.

2

Толстой отрицательно относился к революционному движению и революционной мысли 60-х годов. Попытки объяснить это исключительно расхождениями во взглядах на сущность и задачи искусства, хотя они и имели весьма существенное значение, несостоятельны. Неприемлемые для Толстого эстетические теории Чернышевского и Добролюбова были в его сознании органической частью чуждой ему в целом политической идеологии. Если в некоторых его полемических стихотворениях («Пантелей-целитель», «Порой веселой мая...», «Против течения») действительно преобладает эстетическая тема, то в «Потоке-богатыре», строфах о нигилистах из «Послания к М. Н. Лонгинову о дарвинисме», во многих его письмах речь идет уже не об искусстве, а об отношении к крестьянству, атеизме, материализме. Толстой неоднократно говорил о своей неприязни к демократии и социализму.

Если бы идейный облик Толстого этим исчерпывался, его с полным основанием можно было бы зачислить в лагерь Каткова. Но Толстой боролся с революционной мыслью не с официозных позиций. Напротив, он в то же время крайне отрицательно относился к современным ему правительственным кругам и правительственным идеологам; достаточно вспомнить одну из самых блестящих сатир русской литературы «Сон Попова», последние строфы «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Песню о Каткове..». Письма его пестрят остротами и резкими словами о министрах и других представителях высшей бюрократии (Тимашеве, Буткове, Панине, Велио и др.), которую поэт считал каким-то наростом, враждебным подлинным интересам страны. О манифесте и «Положении» 19 февраля 1861 года он отзывался как о произведениях бюрократического творчества — таких длинных и невразумительных, «что черт ногу сломит» (письмо к Маркевичу от 21 марта 1861 года). Толстой негодовал на деятельность III Отделения и цензурный произвол. Во время польского восстания он вел при дворе борьбу с влиянием Муравьева Вешателя, а после подавления восстания решительно возражал против русификаторской политики самодержавия и зоологического национализма официозных и славянофильских публицистов.

Ненависть Толстого к служебной карьере и желание всецело отдаться искусству связаны с его общим отношением к самодержавно-бюрократическому государству, бюрократическим и придворным кругам. Еще в 1851 году он писал жене: «Те же, которые не служат и живут у себя в деревне и занимаются участью тех, которые вверены им богом, называются праздношатающимися или вольнодумцами. Им ставят в пример тех полезных людей, которые в Петербурге танцуют, ездят на ученье или являются каждое утро в какую-нибудь канцелярию и пишут там страшную чепуху». Это признание даже по своему тону напоминает аналогичные заявления Льва Толстого. Современная официозная Россия представлялась поэту глубоко враждебной искусству антиэстетической во всех своих проявлениях: «Вообще вся наша администрация и общий строй — явный неприятель всему, что есть художество,— начиная с поэзии и до устройства улиц».

Делались попытки сблизить Толстого со славянофилами на том основании, что и они, борясь с революцией, в то же время отрицательно относились к бюрократии. Но связи поэта со славянофилами (в возникновении этих связей отвращение к бюрократическому Петербургу, несомненно, сыграло известную роль) были, как отмечено выше, сравнительно недолгими, а разойдясь с ними, Толстой сказал о них много едких и насмешливых слов. «От славянства Хомякова меня мутит, когда он ставит нас выше Запада по причине нашего православия»,— писал Толстой. Он издевался над смирением, которое славянофилы считали исконным свойством русского народа и русского национального характера, смирением, «которое состоит в том, чтобы сложить все десять пальцев на животе и вздыхать, возводя глаза к небу: Божья воля!.. Несть батогов, аще не от бога!» (письмо к Маркевичу от 2 января 1870 года).

Толстой неизменно боролся со славянофильской (и не только славянофильской) проповедью национальной исключительности и национальной замкнутости, с теми, по словам Белинского, «слабоумными», которые считали, что «все русское может поддерживаться только дикими и невежественными формами азиатского быта» [1]. Толстой подчеркивал, что Россия является европейской страной и русский народ— европейским народом, но это отнюдь не приводило его к принижению значения и национального своеобразия русской культуры.

В отличие от западников, видевших в буржуазной Европе образец, по которому должно пойти преобразование и развитие России, Толстой относился к ней весьма скептически. Современная Европа, которую поэт наблюдал во время своих заграничных путешествий, с ее мещанскими интересами и узким буржуазным практицизмом, не вызывала

---

[1] Петербург и Москва.— Полн. собр. соч., т. 8, М., 1955 стр. 386.

у него ни малейших симпатий. Однако неприятие буржуазной Европы и ее критика, иногда меткая, опиралась у него на идеал, обращенный не в будущее, а в прошлое. Интересен в этом отношении спор Толстого с Тургеневым, о котором — может быть, не во всех деталях точно — рассказывает современник. Тургенев утверждал, что будущее Европы — в демократии: «Поглядите на Францию — это образец порядка, а между тем она все более и более демократизируется.— Толстой возражал горячо: он был совсем противоположного мнения. Принципы, торжествовавшие во Франции, и постоянные уступки радикалам ему претили в высшей степени...— То, к чему идет Франция,— говорил Толстой,— это господство посредственности... Как вы не видите, Иван Сергеевич, что Франция неуклонно идет вниз...— Тургенев почти ядовито заметил, что оба они, должно быть, под словами «подъем» и «упадок» понимают не то же самое. Тургенев, как он уверял, весь был на стороне того могучего движения, которое проникало тогда всю европейскую прессу, толкая Францию на путь демократизации» [1].

Оппозиционные настроения Толстого не делали его сторонником буржуазных реформ, хотя он и сходился с либералами в отдельных своих оценках и требованиях. Европа, созданная буржуазными революциями, была в целом чужда ему. Об объединении Италии Толстой писал: «Знаменитое военное «единство» Италии не вернет аристократического духа республик, и никакое единство, доведенное слишком далеко, не сохранит никакому краю дух гражданства.. Не желаю видеть в Риме итальянского парламента, не желаю видеть Колизей, обращенный в казарму» (письмо к жене от 28 марта (9 апреля) 1872 года и к В. Д. Давыдову от 1 декабря 1867 года). Передавая свои впечатления от посещения старинного немецкого замка Вартбурга, он заметил: «У меня забилось и запрыгало сердце в рыцарском мире, и я знаю, что прежде к нему принадлежал» (письмо к жене от 15 (27) сентября 1867 года).

Аналогичный характер имеет отношение Толстого к русскому историческому прошлому. Толстой не понимал большого исторического значения объединения русских земель в единое государство. Московское государство было для него воплощением одного лишь ненавистного ему деспотизма и власти бюрократии, оскудения и падения политического влияния аристократии, которое он болезненно ощущал в современности. Толстой с молодых лет интересовался эпохой Ивана Грозного и непосредственно за ним следующих царствований и постоянно возвращался к ней в своем творчестве. И в прозе, и в драме, и в поэзии он изображал те же социальные столкновения, борьбу самодержавия с боярством. При этом Ивана Грозного он рисовал лишь жестоким тираном, а лучших представителей боярства нередко идеализировал (Морозов в «Князе Серебряном», Захарьин

---

[1] К. Головин. Мои воспоминания, т. 1, СПб., 1908, стр. 283—284.

в «Смерти Иоанна Грозного», Иван Петрович Шуйский в «Царе Федоре Иоанновиче»).

Русскому централизованному государству XVI века Толстой противопоставлял Киевскую Русь и Новгород, с их широкими международными связями, свободными нравами и обычаями, отсутствием деспотизма и косности. Разумеется, его представления далеко не во всем соответствовали реальным историческим данным. Киевская Русь и Новгород, равно как и Московское государство, были для него скорее некими поэтическими (и вместе с тем политическими) символами, чем конкретными историческими явлениями. Основными образами, воплотившими положительные и отрицательные тенденции русской истории, являются в его творчестве контрастные образы киевского князя Владимира и Ивана Грозного.

Новгород неоднократно служил объектом поэтической идеализации и до Толстого. Новгородская тематика привлекала к себе декабристов и близких к декабристским кругам поэтов, Пушкина, Лермонтова, а из современников Толстого — М. Л. Михайлова. Но в то время как они видели в Новгороде в известной степени осуществленными начала народоправства и идеализировали с этой точки зрения новгородское вече и легендарный образ вождя новгородской демократии Вадима, для Толстого Киевская Русь и Новгород были «свободными» государствами с господством аристократии.

Интересно отношение Толстого к Петру I. В 1861 году он напечатал в «Дне» Аксакова стихотворение «Государь ты наш батюшка...», где дана чисто славянофильская, отрицательная оценка петровских реформ. Впоследствии поэт отрекся от него и не включил в сборник своих стихотворений. Но каков его новый взгляд на Петра? «Аксаков, должно быть, не подозревает,— писал он М. М. Стасюлевичу в 1869 году,— что Русь, которую он хотел бы воскресить, не имеет ничего общего с настоящей Русью... Петр I, несмотря на его палку, был более *русский*, чем они <славянофилы>, потому что он был ближе к дотатарскому периоду... Гнусная палка Петра Алексеевича была найдена не им. Он получил ее в наследство, но употреблял ее, чтобы вогнать Россию в ее *прежнюю родную* колею». Такая оценка исторической роли Петра I противоречит фактам, но очень характерна для исторических представлений Толстого.

Толстой не мог, конечно, верить в возможность восстановления общественного строя Древней Руси в XIX веке, но его исторические симпатии указывают на корни его недовольства современностью. Романтик в своих социально-политических и исторических взглядах, равно как и в своем творчестве, Толстой мало интересовался экономическими вопросами и плохо разбирался в них; вряд ли была у него и более или менее определенная политическая программа. Но смысл его отношения к правящим кругам дворянства и правительственной политике может быть охарактеризован как аристократическая оппозиция.

Здесь источник лирической грусти по поводу оскудения его «доблестного рода» (стихотворения «Шумит на дворе непогода .», «Пустой дом»), выпадов против революционного лагеря, но здесь же источник и его ненависти к полицейскому государству и своеобразного гуманизма Обращенный в далекое прошлое утопический идеал Толстого нередко совмещался у него с подлинно гуманистическими устремлениями; религиозное в своей основе мировоззрение — с свободомыслием и антиклерикализмом, ярко сказавшимся, например, в переводе «Коринфской невесты» Гете, которую так высоко ценил Чернышевский; неприязнь к материализму — с просветительским пафосом свободного научного исследования («Послание к М. Н. Лонгинову. .»); проповедь «чистого искусства» — с прославлением поэта, который шлет привет «полоненному рабу» и пригвождает к позорному столбу «насилие над слабым» («Слепой»). В классовом обществе художники уходящих общественных слоев видят иногда те уродливые и бесчеловечные стороны социальной действительности, которых не замечают и не хотят замечать представители правящих групп господствующего класса. Опираясь на отжившие идеологические системы, они тем не менее в какой-то степени способствуют росту в общественном сознании критического отношения к существующему социальному строю и господствующим идеям.

Несмотря на существенные расхождения — социально-политические и литературные, Толстой во многих отношениях был преемником дворянского либерализма первой трети XIX века, тех «литераторов-аристократов» (как называли враждебные им журналисты писателей пушкинского круга), которые боролись со всякого рода сервилизмом, выскочками, карьеристами, с порабощением и угнетением человеческой личности.

3

Формирование мировоззрения, эстетических взглядов и литературных вкусов Толстого относится к 30-м годам, когда, несмотря на огромные завоевания русской реалистической литературы, влияние романтических идей (в частности идей немецкого романтизма) было еще весьма значительно.

Толстой придерживался идеалистического понимания сущности и задач искусства. Искусство для него — мост между этим, земным, миром и «мирами иными», а источником творчества является «царство вечных идей». Целостное познание мира, которое недоступно науке, изучающей якобы только отдельные, раздробленные явления природы; иррациональность, независимость от практических целей и злобы дня — вот, в понимании Толстого, так же как и Фета и ряда других его современников, черты подлинного, высокого искусства. «Искусство не должно быть *средством*... в нем самом уже содержатся все результаты, к которым бесплодно стремятся приверженцы утилитарности, именующие себя поэтами, романистами, живописцами или скульпторами»,—

писал Толстой (письмо к Маркевичу от 11 января 1870 года). В середине XIX века подобная оценка общественных задач литературы и ее активного участия в общественной борьбе была обращена против революционной демократии, которой Толстой и его единомышленники приписывали полное отрицание искусства. Но у Толстого, в отличие от Фета, стремление к независимости художника было вместе с тем направлено и против сковывающих его поэтическую деятельность цепей современного общества и государства.

Не только теоретические взгляды, но и поэтическая практика Толстого связана с романтизмом. В концепции мира романтиков искусство играло первостепенную роль, и поэтому тема художника, вдохновения нередко фигурировала в их произведениях. То же мы видим и у Толстого. Сущности и процессу творчества посвящено одно из его программных стихотворений — «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! ». Это апофеоз «душевного слуха» и «душевного зрения» художника, который слышит «неслышимые звуки», и видит «невидимые формы», и затем творит под впечатлением «мимолетного виденья» Здесь и в некоторых других произведениях Толстой рисует состояние вдохновения как некий экстаз или полусон во время которого поэт сбрасывает с себя все связи с людьми и окружающим его миром социальных отношений

Другой мотив поэзии Толстого также связан с одним из положений романтической философии — о любви как некоем божественном мировом начале, которое недоступно разуму, но может быть прочувствовано человеком в его земной любви. В соответствии с этим Толстой в своей драматической поэме превратил Дон Жуана в подлинного романтика: Дон Жуан ищет в любви то чувство, которое помогает проникнуть в «чудесный строй законов бытия, явлений всех сокрытое начало». Этот мотив нашел свое отражение и в ряде лирических стихотворений Толстого:

И всюду звук, и всюду свет
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.

(«Меня, во мраке и в пыли)

Еще более существенны не эти отдельные мотивы, а круг настроений и общий эмоциональный тон лирики Толстого, для значительной части которой — не только для любовных стихов — характерна Sehnsucht романтиков, романтическое томление, неудовлетворенность земной действительностью и тоска по бесконечному.

Грусть, тоска, печаль — вот слова, которыми поэт часто определяет свои собственные переживания и переживания любимой женщины: «И о прежних я грустно годах вспоминал», «И думать об этом так грустно», «В пустыню грустную и в ночь преобразуя», «Грустно жить тебе, о друг, я знаю»,

«И очи грустные, по-прежнему тоскуя» и т. д. Эта пассивность, примиренность, а подчас и налет мистицизма давали повод для сопоставления Толстого с Жуковским, но дело не столько в непосредственной связи с ним, сколько в некоторой общности философских и эстетических позиций. Лишь в немногих стихотворениях Толстого можно увидеть нечто близкое «светлой» пушкинской грусти («Мне грустно и легко; печаль моя светла»); вообще же земное и вместе с тем гармоническое восприятие мира, свойственное поэзии пушкинской эпохи, уже недоступно Толстому.

Однако, анализируя круг настроений лирики Толстого, нельзя не заметить, что наряду с созерцательностью и примиренностью в ней звучат нередко и совсем другие мотивы. Поэт ощущает в себе не только любовь, но и «гнев» и горько сожалеет об отсутствии у него непреклонности и суровости, вследствие чего он гибнет, «раненный в бою» («Господь, меня готовя к бою...»). Он просит бога дохнуть живящей бурей на его сонную душу и выжечь из нее «ржавчину покоя» и «прах бездействия» («Я задремал, главу понуря...»). И в любимой женщине он также видит не только пассивную «жертву жизненных тревог»,— ее «тревожный дух» рвется на простор, и душе ее «покорность невозможна» («О, не пытайся дух унять тревожный ..»).

Да и самое романтическое томление имеет своим истоком не одни лишь отвлеченно-философские взгляды Толстого, но и понимание, что жизнь социально близких ему слоев русского общества пуста и бессодержательна. В стихотворениях Толстого нередки мотивы неприятия окружающей действительности. Чужой поэту «мир лжи» («Я вас узнал, святые убежденья...») и пошлости («Минула страсть, и пыл ее тревожный...»), терзающий его душу «житейский вихрь» («Не ветер, вея с высоты...»), «забот немолчных скучная тревога» («Есть много звуков в сердца глубине...»), чиновнический дух, карьеризм и узкий практицизм («Ой честь ли то молодцу лен прясти?..» и «Хорошо, братцы, тому на свете жить...»), сплетни и дрязги («Нет, уж не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою!..») — все это признаки не столько земного существования вообще, сколько той именно конкретной жизни, которая беспокоила, раздражала и выводила из себя Толстого. Примириться с нею он не мог и не хотел:

Сердце, сильней разгораясь от году до году,
Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду.
В ней, как железо в раскале, оно закипело:
Сделала, жизнь, ты со мною недоброе дело!
Буду кипеть, негодуя, тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодною сталью!

В этом неприятии светской жизни, некогда привлекавшей Толстого, чувствуются отзвуки поэзии Лермонтова. Правда, гневные интонации публицистической лирики Лермонтова значительно приглушены и сглажены у Толстого; Толстому гораздо ближе такие романсного типа стихотворения Лер-

монтова, как «На светские цепи, || На блеск утомительный бала...», которые и по своим идейным мотивам и стилистически в какой-то мере предвосхищают его лирику.

Несмотря на влечение к «мирам иным», в Толстом исключительно сильна привязанность ко «всему земному», любовь к родной природе и тонкое ощущение ее красоты. «Уж очень к земле я привязан»,— мог бы он повторить слова героя одной из своих былин («Садко»). Земля для поэта не столько отражение неких «вечных идей», хотя он и говорит об этом в своих программных стихотворениях, сколько конкретная, материальная действительность. Важно в этом отношении воздействие Пушкина на некоторые пейзажные стихотворения Толстого, сказавшееся в точности и ясности деталей. Иногда — например, в спокойном и скромном осеннем пейзаже стихотворения «Когда природа вся трепещет и сияет...» — Толстой повторяет даже отдельные пушкинские детали («сломанный забор» и др.; ср. с «Осенью» и «Отрывками из путешествия Онегина»).

Тяготение к «земной пластичности», живописности, «сочности картин» (В. Брюсов)[1], умение схватить и передать в слове формы и краски природы, ее звуки и запахи характеризуют целый ряд лирических стихотворений, баллад и былин Толстого. Вспомним хотя бы Садко, который томится в подводном царстве и, несмотря на посулы водяного царя, всем своим существом тянется к родному Новгороду; его сердцу милы и крик перепелки во ржи, и скрип новгородской телеги, и запах дегтя, и дымок курного овина. Яркими, хотя и чрезмерно нарядными красками описаны природа и бытовой колорит Украины в стихотворении «Ты знаешь край, где все обильем дышит...». Даже в послании к Аксакову, где Толстой подчеркивает свое влечение в «беспредельное», он с гораздо большей художественной силой и убедительностью говорит о любви к «ежедневным картинам» родной страны, о чумацких ночлегах, разливе рек, волнующихся нивах, чем об «иной красоте», которую он ощущает за всем этим. Интересны в этой связи и строки из «Родины» Лермонтова, включенные в послание.

Особенно привлекает Толстого оживающая и расцветающая весенняя природа. Могущественное воздействие природы на душу человека исцеляет от душевных противоречий и боли и сообщает голосу поэта радостное, оптимистическое звучание.

И в воздухе звучат слова, не знаю чьи,
Про счастье, и любовь, и юность, и доверье,
И громко вторят им бегущие ручьи,
Колебля тростника желтеющие перья.

Пускай же, как они по глине и песку
Растаявших снегов, журча, уносят воды,

---

[1] Письмо В. Я. Брюсова к П. П. Перцову, М., 1927, стр. 75.

Бесследно унесет души твоей тоску
Врачующая власть воскреснувшей прйроды!

(«Вновь растворилась дверь...»)[1].

Значительная часть лирических стихотворений Толстого объединена образом «лирического героя»; лирическое «я» в этих стихотворениях общее и наделено более или менее постоянными чертами; это черты личности самого поэта, знакомой нам по его письмам, свидетельствам современников и пр. В большинстве же любовных стихотворений общим является не только «я», но и «ты», образ любимой женщины. У читателя создается впечатление, что перед ним нечто вроде лирической поэмы, лирического дневника, фиксирующего точные биографические факты и передающего характер и историю взаимоотношений между героями. Этого явления — во всяком случае, в такой ощутительной форме — нет у других современников Толстого.

Образ любимой женщины в лирике Толстого, если сравнить его с аналогичным образом в поэзии Жуковского, более конкретен и индивидуален, и в этом отношении Толстой, как и Тютчев, не говоря уже о Некрасове, отразил в своем творчестве движение передовой русской литературы по реалистическому руслу. При этом образ любимой женщины проникнут в лирике Толстого чистотой нравственного чувства, подлинной человечностью и гуманизмом. В его стихах отчетливо звучит мотив облагораживающего действия любви.

«Хорошо в поэзии не договаривать мысль, допуская всякому ее пополнить по-своему»,— писал Толстой жене в 1854 году. Эта намеренная недоговоренность отчетливо ощущается в некоторых его стихотворениях: «По гребле неровной и тряской...», «Земля цвела. В лугу, весной одетом...» и др.— и не только в лирике. «Алеша Попович», «Канут» должны были прежде всего, согласно замыслу поэта, не описывать и изображать что-либо, а внушить читателю известное настроение. Передавая впечатление от песни Алеши Поповича, Толстой вместе с тем дал характеристику этих тенденций своей собственной лирики и заданий, которые он перед нею ставил:

Звуки льются, звуки тают...
То не ветер ли во ржи?
Не крылами ль задевают
Медный колокол стрижи?

---

[1] Характерной чертой своей поэзии Толстой считал ее «мажорный» тон (письма к Маркевичу от 5 мая 1869 года и к А. Губернатису от 4 марта 1874 года). Однако в наименьшей степени эта автохарактеристика относится к лирике. Недаром поэт писал об этом в последний период творчества, когда лирика занимала в нем количественно весьма скромное место, а преобладали баллады и сатиры.

Иль в тени журчат дубравной
Однозвучные ключи?
Иль ковшей то звон заздравный?
Иль мечи бьют о мечи?..

...Песню кто уразумеет?
Кто поймет ее слова?
Но от звуков сердце млеет
И кружится голова.

Последние строки близки к программному заявлению Фета:

Что не выскажешь словами —
Звуком на душу навей.

Если вчитаться в такое, например, стихотворение, как «Ты жертва жизненных тревог...», станет очевидно, что каждое из заключающихся в пяти его строфах сравнение, взятое отдельно, ярко и конкретно. Однако накопление их, сгущая эмоциональный тон вещи, ведет к тому, что каждое следующее как бы вытесняет предшествующее, а все вместе они оставляют в сознании некий обобщенный психологический портрет женщины, к которой обращено стихотворение. Таков его внутренний смысл, таково поэтическое задание. И это нередко в поэзии Толстого; сравнения и образы, сами по себе очень четкие, сюжетно не связаны между собой и объединены, как музыкальные темы, лишь общей эмоциональной окраской. Иногда разорванность логической связи особенно подчеркнута и мотивирована каким-то смутным состоянием, чем-то вроде полусна, как в «По гребле неровной и тряской...» и «Что за грустная обитель...».

Для поэзии Толстого — и в первую очередь для его лирики — характерна одна черта, которая довольно отчетливо сказалась в его отношении к рифме. Толстого упрекали в том, что он употреблял плохие рифмы. В ответ на эти упреки он подробно изложил свои взгляды на рифму и связал их со своей поэтической системой. Неточная рифма, имевшая место еще в народной поэзии и получившая особенное распространение в русской поэзии во второй половине XIX века, для Толстого лишь частное проявление близких ему поэтических принципов. *«Приблизительность* рифмы *в известных пределах*, совсем не пугающая меня,— писал он Маркевичу в 1859 году,— может, по-моему, сравниться с смелыми мазками венецианской школы, которая самой своей неточностью или, вернее, небрежностью... достигает эффектов, на которые не должен надеяться и Рафаэль при всей чистоте своего рисунка». Через много лет, в письме к тому же Маркевичу, Толстой снова заявил: «Плохие рифмы я сознательно допускаю в некоторых стихотворениях, где считаю себя вправе быть небрежным». Приведя целый ряд сравнений из истории искусства, подкрепляющих его точку зрения, он следующим образом ото-

звался о молитве Гретхен в «Фаусте»: «Может ли быть что-нибудь более жалкое и убогое, чем рифмы в этой великолепной молитве? А она *единственная* по непосредственности, наивности и правдивости. Но попробуйте изменить фактуру, сделать ее более правильной, более *изящной* — и все пропадет. Думаете, Гете не мог лучше написать стихи? Он не захотел, и тут-то проявилось его изумительное поэтическое чутье. Некоторые вещи должны быть чеканными, иные же имеют право или даже не должны быть чеканными, *иначе они покажутся холодными»* [1].

Отталкивание Толстого от «безукоризненной правильности линии» особенно ощутимо в лирике. Оно проявляется не только в нарочито «плохих» рифмах, но и в неловких оборотах речи, прозаизмах и т. д., за которые ему попадало от критики. Разумеется, у Толстого есть просто слабые стихотворения и строки, но речь идет не об этом. Он был незаурядным версификатором и прекрасно владел языком; поправить рифму, заменить неудачное выражение не составляло для него большого труда. Но особого рода небрежность была органическим свойством его поэзии; она создавала впечатление, что поэт передает свои переживания и чувства в том виде, как они родились в нем, что мы имеем дело почти с импровизацией, хотя в действительности Толстой тщательно обрабатывал и отделывал свои произведения.

Нечто аналогичное отмечалось и в стихотворениях Н. П. Огарева: «Подобная небрежность... состоит в непосредственной связи с искренностью и задушевностью мотивов» [2]. Эту особенность поэзии Толстого хорошо охарактеризовал критик Н. Н. Страхов, передавая смену впечатлений от сборника его стихотворений. «Какие плохие стихи! — писал он.— Какое отсутствие звучности и силы! То высокопарные слова не ладят с прозаическим течением стиха; то выражения просты, но не видать и искры поэзии, и, кажется, читаешь рубленую прозу. И ко всему этому беспрестанные неловкости и ошибки в языке... Но что же? Вот попадается

---

[1] Подчеркивая художественную выразительность неточной рифмы, Толстой вместе с тем утверждал, что «неправильный» стих, то есть так называемые дольники, ставшие к тому времени довольно заметным явлением в русской поэзии, несвойственны ей: «Языки немецкий и английский допускают неправильность как рифмы, так и стиха. Русский язык допускает неправильность только рифмы. Для него это в поэзии единственный случай щегольнуть небрежностью. Само собою разумеется, что я не касаюсь здесь поэзии чисто народной, былин и т. д. В них другие правила, другие вольности... Я считаю, что действую в согласии с духом русского языка, будучи беспощадно требовательным к стиху и позволяя себе *иногда* рифмовать кое-как» (то же письмо к Маркевичу от 8 (20) декабря 1871 года).

[2] А. Григорьев. Русская изящная литература в 1852 году.— В кн.: А. Григорьев. Литературная критика, М., 1967, стр. 86.

нам стихотворение до того живое, теплое и прекрасно написанное, что вполне увлекает нас. Через несколько страниц другое, там третье... Читаем дальше — странное дело! Под впечатлением удачных произведений поэта, в которых так полно высказалась его душа, мы начинаем яснее понимать его менее удачные стихи, находить в них настоящую поэзию». А по поводу стихотворения «По гребле неровной и тряской...» Страхов писал: «Стих так прост, что едва подымается над прозою; между тем поэтическое впечатление совершенно полно» [1].

Есть еще одна особенность, мимо которой нельзя пройти, говоря о лирике Толстого. Он не боится простых слов, общепринятых эпитетов, иногда даже готовых формул. (Правда, многие его лирические стихотворения примыкают по своим жанровым признакам к романсу, и в них несомненны черты салонной красивости.) Поэтическая сила и обаяние лирики Толстого не в причудливом образе и необычном словосочетании, а в непосредственности чувства, задушевности тона, подчас даже в наивности, детскости восприятия:

То было раннею весной,
Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парил зной,
И зелень рощ сквозила...

...То было раннею весной,
В тени берез то было,
Когда с улыбкой предо мной
Ты очи опустила...

«Торжественность», о которой Толстой говорит в послании к Аксакову, не является органической особенностью его поэтического языка в целом; она возникает лишь в связи с определенными темами, о которых поэт не считает возможным говорить на «ежедневном языке».

Лирика Толстого оказалась благодарным материалом для музыкальной обработки. Больше половины всех его лирических стихотворений положены на музыку, причем очень многие из них по нескольку раз. Музыку к стихотворениям Толстого писали такие выдающиеся русские композиторы, как Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский, М. А. Балакирев, А. Г. Рубинштейн, Ц. А. Кюи, С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и многие другие. А П. И. Чайковский следующим образом отозвался о нем: «Толстой — неисчерпаемый источник для текстов под музыку; это один из самых симпатичных мне поэтов» [2].

---

[1] Критические заметки.— «Отечественные записки», 1867, № 6, стр. 126—127, 131.

[2] П. И. Чайковский. Переписка с Н. Ф. фон Мекк, т. 2, М., 1935, стр. 360.

Баллады Толстого являются значительным фактом в истории русской поэзии XIX века. Интересно, что М. Горький посоветовал как-то одному молодому писателю: «Не попробовать ли вам себя в балладах? Вроде тех, что Алексей Толстой писал. Почитайте-ка его!..» [1]. А Тургенев, характеризуя оставленное Толстым литературное наследие, отметил, что он был «создателем нового у нас литературного рода — исторической баллады, легенды; на этом поприще он не имеет соперников» [2].

Толстой писал баллады в течение всей своей литературной деятельности. Его первые опыты, относящиеся к этому жанру («Волки» и др.),— «ужасные» баллады в духе Жуковского и аналогичных западных образцов. К числу ранних баллад относится также «Курган», проникнутый романтической тоской по далекому, легендарному прошлому родной страны. В 40-х годах вполне складывается у Толстого жанр исторической баллады. В дальнейшем историческая баллада стала одним из основных жанров его поэтического творчества.

Обращения Толстого к истории в подавляющем большинстве случаев вызваны желанием найти в прошлом подтверждение и обоснование своим идейным устремлениям. Этим и объясняется неоднократное возвращение поэта, с одной стороны, к концу XVI — началу XVII века, с другой — к Киевской Руси и Новгороду.

Такое отношение к истории мы встречаем у многих русских писателей XVIII — начала XIX века, причем у писателей различных общественно-литературных направлений. Оно служило у них, естественно, разным политическим целям. Оно характерно, в частности, и для дум Рылеева, в которых исторический материал использован для пропаганды в духе декабризма. В поэзии 20-х годов был ряд явлений, близких к думам Рылеева (см., например, «Медный бык» Н. А. Маркевича в его сборнике «Украинские мелодии», М., 1831, «Георгий» А. Шидловского в журнале «Благонамеренный», 1826, ч. 33), но именно он впервые и с наибольшей яркостью утвердил в русской литературе эту разновидность исторической баллады. И, несмотря на коренные различия в их политических и эстетических взглядах, Толстой мог в какой-то мере опираться на поэтический опыт Рылеева.

Баллады и былины Толстого — произведения, близкие по своим жанровым особенностям, и сам поэт не проводил между ними никакой грани. Весьма показателен тот факт, что ряд сатир с вполне точным адресом («Поток-богатырь» и др.) облечен им в форму былины: их непосредственная связь с современностью не вызывает сомнений. Но в боль-

---

[1] Д. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи, Иваново, 1961, стр. 62.

[2] И. С. Тургенев. Сочинения, т. 14, М.-Л., 1967, стр. 225.

шинстве случаев эта связь истории с современностью обнаруживается лишь в соотношении с социально-политическими и историческими взглядами Толстого. Характерный пример — «Змей Тугарин». Персонажи в нем былинные; из былин заимствованы и отдельные детали (бумажные крылья Тугарина, угрозы Алеши Поповича), но общий замысел не восходит ни к былинам, ни к историческим фактам. Словесный поединок Владимира с Тугариным отражает не столько какие-либо исторические явления и коллизии, сколько собственные взгляды поэта. Толстой хорошо понимал это и писал Стасюлевичу, что в «Змее Тугарине» «сквозит современность». «Три побоища» и «Песня о Гаральде и Ярославне» — это тоже не случайные, мимолетные зарисовки, а своеобразное выражение исторических представлений поэта. В основе их лежит мысль об отсутствии национальной замкнутости в Древней Руси и ее широких международных связях. Потому, в частности, в письмах по поводу этих стихотворений Толстой так настойчиво и подробно говорит о брачных союзах киевских князей с европейскими царствующими домами.

Таким образом, баллады являются результатом размышлений Толстого как над современной ему русской жизнью, так и над прошлым России.

Толстой считал, что художник вправе поступиться исторической точностью, если это необходимо для воплощения его замысла. Так, в балладе «Князь Михайло Репнин» Иван Грозный (вопреки «Истории Иоанна Грозного» князя Курбского, послужившей для нее источником) убивает Репнина собственноручно — и тут же, на пиру, а не через несколько дней в церкви. Толстой внес эти изменения по соображениям чисто художественного порядка, для усиления драматизма стихотворения; в «Князе Серебряном» (гл. 6) эпизод с убийством Репнина рассказан в соответствии с историческими данными. Концовка — раскаяние Иоанна — также принадлежит Толстому. Такая концентрация событий, приурочение фактов, отделенных иногда значительными промежутками, к одному моменту нередко встречаются и в балладах, и в «Князе Серебряном», и в драматической трилогии. Но анахронизмы имеют у Толстого и иное назначение.

В балладе «Три побоища» последовательно описаны гибель норвежского короля Гаральда Гардрада в битве с английским королем Гаральдом Годвинсоном, смерть Гаральда Годвинсона в бою с герцогом нормандским Вильгельмом Завоевателем, наконец, смерть великого князя Изяслава в неудачном сражении с половцами. Но сражение Изяслава с половцами, о котором идет речь в стихотворении, относится не к 1066, как первые две битвы, а к 1068 году, и к тому же он погиб лишь через десять лет после этого. Для чего же сдвинуты даты и изменены некоторые факты? Упоминая о допущенном им анахронизме, Толстой писал Стасюлевичу: «Мне до этого нет дела, и я все три поставил в одно время... Цель моя была передать только колорит той эпохи, а главное, заявить нашу общность в то время с остальной

Европой, назло московским русопетам»,— то есть подчеркнуть активную роль Киевской Руси в мировой истории.

Толстой не разделял историко-политической концепции Н. М. Карамзина. И тем не менее основным фактическим источником баллад и драматической трилогии является «История государства Российского». Карамзин был для Толстого в первую очередь не политическим мыслителем и не академическим ученым, а историком-художником. Страницы «Истории государства Российского» давали Толстому не только сырой материал; иные из них стоило чуть-чуть тронуть пером, и, оживленные точкой зрения поэта, они начинали жить новой жизнью — как самостоятельные произведения или эпизоды больших вещей. Две черты автора «Истории государства Российского» были особенно близки Толстому: дидактизм, морализация, с одной стороны, и психологизация исторических деятелей и их поступков — с другой.

Анализируя исторические произведения Толстого, необходимо иметь в виду тот идеал полноценной, гармонической человеческой личности, которого он не находил в современной ему действительности и который искал в прошлом. Храбрость, самоотверженность, глубокое патриотическое чувство, суровость и в то же время человечность, своеобразный юмор — вот черты этого искомого идеала. Интересна с этой точки зрения и баллада «Боривой», где изображены борьба балтийских славян с немецкими и датскими захватчиками и католическими монахами и величественная фигура бесстрашного славянского вождя, разбившего их в прах Сквозь феодальную утопию Толстого в его стихах просвечивают иногда совсем иные мотивы. Так, в образе «неприхотливого мужика» Ильи, которому душно при княжеском дворе («Илья Муромец»), нашли свое отражение демократические тенденции народной былины.

Исторические процессы и факты Толстой рассматривал с точки зрения моральных норм, которые казались ему одинаково применимыми и к далекому прошлому, и к сегодняшнему дню, и к будущему. В его произведениях борются не столько социально-исторические силы, сколько моральные и аморальные личности. При оценке исторических деятелей Толстой в первую очередь руководился не тем, представителями и выразителями каких именно исторических тенденций — ведущих вперед или тянущих назад, прогрессивных или реакционных — они являются. Этой моралистической точке зрения на историю неизменно сопутствует в творчестве Толстого психологизация исторических деятелей и их поведения. В балладах она осуществляется часто не при помощи углубленного психологического анализа, как в драмах, а путем простого переключения исторической темы в план общечеловеческих переживаний, хотя на самые эти переживания поэт иногда только намекает. Так, в балладе «Канут» от истории остался лишь некий условный знак. Читателю достаточно имени героя, дающего тон, указывающего примерно эпоху, а точная расшифров-

ка — что речь идет о шлезвигском герцоге и короле оботритов Кнуде Лаварде, погибшем в 1131 году от руки своего двоюродного брата Магнуса (сына датского короля), видевшего в нем опасного соперника, претендента на датский престол,— может быть, не так уж важна, и вряд ли Толстой рассчитывал на наличие у читателей столь детальных сведений при восприятии стихотворения. Центр тяжести перенесен на психологию Канута (который, по-видимому, очень далек от своего исторического прототипа), его детскую доверчивость, чистоту, причем душевному состоянию героя аккомпанирует картина расцветающей весенней природы. Толстой сознательно смягчил мрачный колорит этого эпизода, в частности прикрепил событие к весне, тогда как в действительности оно происходило зимою.

Погружение истории в природу, в лирический пейзаж и вообще в лирическую стихию имеет место в целом ряде баллад и былин конца 60-х и 70-х годов. Поэт понимал эту особенность своих стихотворений. «Если в этих стихах Вы найдете что-то весеннее, если, может быть, Вы почувствуете в них запахи анемонов и молодых березок, как чувствую их я,— писал он Маркевичу по поводу «Песни о походе Владимира на Корсунь»,— так это потому, что писались они под впечатлениями от молодой природы, до или после прогулок в лес, весь наполненный криком журавлей, пением дроздов, кукушки и всяких болотных птиц». А посылая ему «Алешу Поповича», Толстой так определял жанровые особенности ряда своих произведений этих лет: «Жанр — *предлог, чтобы говорить о природе и весне»* [1].

И по общему колориту и по сюжетному строению многие баллады 60—70-х годов существенно отличаются от таких стихотворений, как «Василий Шибанов». В поздних балладах конкретно-исторические черты нередко оттеснялись на второй план, но зато появилась бо́льшая свобода и разнообразие поэтических интонаций, усилился тот своеобразный лиризм и та теплота, которыми Толстой умел окружать своих героев; кроме того, в некоторые баллады поэт более решительно вводит элементы юмора и просторечия.

5

Поиски народности накладывали свой отпечаток на литературную деятельность всех значительных писателей середины XIX века, имея у них разный смысл и приобретая разные формы. С этим связан, в частности, вопрос об использовании фольклора.

В своих произведениях песенного жанра Толстой продолжал традицию конца XVIII — первых десятилетий XIX века (И. И. Дмитриев, Нелединский-Мелецкий, Мерзляков, Дельвиг, Цыганов и др.). Что же представляют собой эти стихо-

[1] Слова из не дошедшего до нас письма; см. A. Lirondelle. Le poète Alexis Tolstoï, Paris, 1912, стр. 445.

творения Толстого? Прежде всего они далеко не однородны по характеру использования песенных источников. Так, стихотворение «Государь ты наш батюшка, || Государь Петр Алексеевич...» целиком восходит к определенной народной песне «Государь ты наш Сидор Карпович...», повторяя ее конструкцию (диалогическая вопросо-ответная форма и пр.). К одной определенной песне восходит также стихотворение «Кабы знала я, кабы ведала...». В других случаях Толстой брал из песни лишь первую строку, как бы дающую ритмический толчок и общий тон («Хорошо, братцы, тому на свете жить...»), или заимствовал из народной поэзии, часто не сообразуясь с контекстом, отдельные слова, выражения, синтаксические формы, создавая, таким образом, не книжную параллель какой-нибудь одной песне, а своеобразную мозаику.

Толстой проявил незаурядное чутье и понимание поэтики русской народной песни. Мы находим в его стихотворениях целый ряд характерных ее черт: ласкательные формы, постоянные эпитеты, тавтологические сочетания, повторы строк и отдельных слов, синтаксические и образные параллелизмы. В то время как Дмитриев и Нелединский-Мелецкий писали свои песни книжным стихом, Толстой пошел по пути тех поэтов, которые отвергли «правильную» метрику как несвойственную народной поэзии. Особенно важно подчеркнуть, что бóльшая часть этих стихотворений Толстого написана без рифм. А у Нелединского-Мелецкого совсем нет нерифмованных песен и почти все они состоят из четверостиший с совершенно неприемлемыми для народной поэзии перекрестными рифмами; систематически проведена рифмовка во многих песнях Дельвига. В подавляющем большинстве случаев отвергнув рифму, Толстой иногда пользовался ею, но именно в той мере, в какой она встречается в народной поэзии. В народной поэзии рифмовка никогда не проводится сплошь; рифмы в ней, по меткому выражению замечательного ее знатока А. Х. Востокова, «не с намерением приисканы, а случайно и непринужденно, так сказать, слились с языка» [1]. Эти неожиданные рифмы имеются и в песнях Толстого. То, что почти всегда это «плохие», преимущественно глагольные рифмы и что рифмуют между собою соседние стрóки, также свидетельствует о наблюдательности и чутье поэта. Вообще бóльшую свободу народной песни, меньшую систематичность в пользовании теми или иными художественными приемами Толстой, надо полагать, имитировал вполне сознательно.

По своей тематике песни Толстого шире аналогичных стихотворений ряда других поэтов. Многие из них ограничивались имитацией любовных песен, между тем как у Толстого мы находим также стихи о неравном браке («Ты почто, злая кручинушка...»), о поисках правды («Правда»),

---

[1] А. Востоков. Опыт о русском стихосложении, 2-е изд., СПб., 1817, стр. 136.

раздумья о судьбе, счастье и вообще о жизни («Хорошо, братцы, тому на свете жить...» и др.).

При всем том обращение Толстого к фольклору существенно отличается от обращения к нему Некрасова (а до него и Кольцова). Фольклор был для Некрасова верным отражением народной жизни и народного сознания. Стремясь глубоко проникнуть в жизнь народа, понять его тяготы, чаяния и самую психологию, Некрасов, естественно, не мог пройти мимо фольклора. Народная поэзия имела для него и иное значение. Ее язык, ее поэтические средства были адекватными средствами воплощения внутреннего содержания поэзии Некрасова, причем средствами, наиболее близкими и доступными народному сознанию. Такое отношение к фольклору тесно связано с пониманием народности, которое было свойственно революционно-демократическому лагерю.

Такого понимания народности и такого отношения к фольклору не могло быть у поэтов другого лагеря. Их обращение к народному творчеству было нередко вызвано стремлением уйти от сложности современной жизни и ее острых социальных противоречий. В народной стихии они надеялись обрести некое внутреннее равновесие и успокоение. Но этого успокоения не могла, разумеется, дать подлинная картина крепостной, да и пореформенной деревни. Отсюда элементы украшательства и эстетизма. Отсюда же растворение элементов подлинно народной психологии в личных эмоциях поэта.

Именно поэтому и песни Толстого наделены чертами стилизации. Он часто приукрашивал то, что в подлинной народной песне более резко и естественно, тщательно избегал «грубых» слов и «низких» деталей. Например, в песне «Как бы знала я, как бы ведала...» не все так идиллично, как у Толстого. Его стихотворения гораздо изысканнее подлинных народных песен. Яркий пример — стихотворение «Вырастает дума словно дерево...» о думе, которая «промелькнет... без образа», но поднимет в душе «много смутного, непонятного». Герой его песен не похож ни на «ямщика» из ямщицкой песни, ни на «разбойника» из разбойничьей песни, ни вообще на «добра молодца» народной песни; он социально совершенно не определен. Вообще Толстой наиболее близок народной песне по стихотворной технике, по форме. По своим же мотивам и настроениям бо́льшая часть песен Толстого не отличается от тех стихотворений, которые не связаны с фольклором, от его романсной лирики.

В своих былинах Толстой шел несколько иными путями, чем в песнях. Он не задавался целью создать нечто аналогичное образцам народной поэзии, не пытался имитировать и былинный стих. Все его былины написаны выдержанными на протяжении всей вещи двухсложными или трехсложными размерами. В этом отношении Толстой делал совсем не то, что Л. А. Мей, вообще не такой близкий ему поэт, как принято думать. Я имею в виду, с одной стороны, песни Мея, написанные книжным стихом, а с дру-

гой — такую его вещь, как «Предание — отчего перевелись витязи на святой Руси», в которой имитируется стих былин.

Совсем не привлекали Толстого простые переложения былин, каких было немало в его время. Фабула в былинах Толстого намеренно не развита. Сам поэт подчеркивал их фрагментарность. Характерна его работа над «Садко». Сначала рассказ о похождениях Садко был расширен за пределы основного выбранного им для стихотворения эпизода и перегружен деталями. Это не понравилось Толстому; неверным показался ему и повествовательный тон стихотворения. Посылая своим близким вторую, «лирико-драматическую», редакцию «Садко» (первую он называл «эпической»), поэт писал, что в ней «есть только картинка, так сказать, несколько аккордов... нет рассказа, а стало быть, нет бесполезного и опасного соревнования с былиной, которая будет всегда выше переделки» (письмо к жене от 28 марта (9 апреля) и к А. М. Жемчужникову от 3 (15) апреля 1872 года). Это вытеснение эпического начала, перенесение центра тяжести с фабулы на иные элементы свойственны, как было отмечено выше, не только былинам, но и балладам Толстого последнего периода.

Самое обращение к былинам связано с тем, что в них Толстой справедливо видел яркое отражение национальных черт русского народа и его потенциальных возможностей. Образы русского былинного эпоса вдохновили Толстого на несколько превосходных стихотворений. Лучшее из них — «Илья Муромец». В «дедушке Илье» Толстого есть черты подлинно народного образа богатыря, но сопоставление стихотворения с былинами все же весьма показательно для характеристики идейных тенденций поэта. Заимствовав из них тему, Толстой значительно смягчил конфликт между Ильей и Владимиром. В былинах, в частности, в тех, которые были напечатаны в хорошо известных поэту сборниках П. Н. Рыбникова, Илья стреляет «по божиим церквам да по чудным крестам», поднимает «голей кабацких», угрожает Владимиру, что «ежели не сделает князь по-моему, то он процарствует только до утрия», и т. п.;[1] у Толстого же лишь уезжает от Владимира и довольно добродушно ворчит на него. Но если в «Илье Муромце» заимствована из былин основная ситуация, если, с другой стороны, его отличает свойственная народной поэзии строгая простота, то несколько иначе обстоит дело в других былинах. «Сватовство», в котором слышатся отголоски свадебных песен и старинных обрядов,— это живое, веселое, остроумное стихотворение, но образы Владимира Красного Солнышка, его жены, дочерей, их женихов, да и вся окружающая обстановка сделаны Толстым нарочито нарядными, а подчас даже элегантными. Былинный Алеша Попович также не очень похож на «песнопевца» из стихотворения Толстого. Критики — в том чис-

---

[1] Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, ч. 1, М., 1861, стр. 95—97; ч. 2, М., 1862, стр. 333—341.

ле и благожелательно относившиеся к поэту — не раз отмечали, что образы его былинных богатырей и героев несколько стилизованы в романтическом духе. Однако и эта романтическая стилизация былинных образов связана с социальной позицией Толстого, с противопоставлением идеального прошлого неприемлемому для него скучному и антиэстетическому настоящему.

Образы былин Толстого, «добрый молодец» его стилизаций под народные песни и «я» его лирических стихотворений если и не сливаются в нечто единое, то, во всяком случае, родственны друг другу. А вещи и слова, придающие былинам исторический колорит, являются нередко лишь условной декоративной рамой. Интересно, что в наиболее близком к народному творчеству стихотворении этого цикла — в «Илье Муромце» — этих аксессуаров всего меньше, а в «Сватовстве» они даны в полуироническом плане, как и в некоторых сатирах Толстого.

Поиски народности в творчестве Толстого были ограничены, конечно, характером его социально-политического и философского мировоззрения. И все же ему удалось создать незаурядные образцы песенного жанра и своеобразного лиро-эпического жанра «былины».

Особо следует отметить стихотворения, в которых хорошо передан народный юмор. В одном из них — «У приказных ворот собирался народ...» — ярко выражены презрение и ненависть народа к обдирающим его приказным. То же народное стремление — «приказных по боку, да к черту!»; тоска народных масс по лучшей доле, их мечта о том, чтобы «всегда чарка доходила дó рту» и чтобы «голодный всякий день обедал», пронизывают стихотворение «О, каб Волга-матушка да вспять побежала!..».

6

Сатирические и юмористические стихотворения Толстого часто рассматривались как нечто второстепенное в его творчестве, а между тем они представляют, конечно, не меньший интерес, чем его лирика и баллады

Эта область поэзии Толстого очень широка по своему диапазону — от остроумной шутки, много образцов которой имеется в его письмах, «прутковских» вещей, построенных на нарочитой нелепости, алогизме, каламбуре, до язвительного послания, пародии и сатиры.

При сопоставлении сатирических и юмористических стихотворений Толстого с его лирикой легко обнаружить ряд несоответствий и противоречий. Но в том-то и дело, что смех являлся для него одним из путей преодоления того круга эмоций и настроений, который преобладал в его лирике. Обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Критика неоднократно подчеркивала отсутствие эротики в поэзии Толстого. Но это утверждение применимо к одной лишь лирике. Что же касается юмористической струи его творчества, то она изобилует совершенно откровенными эро-

тическими мотивами («Мудрость жизни», «Бунт в Ватикане» и др.). В эротических стихах чувствуется, однако, что поэт как бы нарушает обычные для его лирики представления, вступая в некую запретную зону.

Разрыв между разными сторонами поэтической деятельности Толстого особенно ощутим именно в его сатире. 60-е годы — время расцвета как стихотворной, так и прозаической сатиры революционной демократии. В связи с этим многие сторонники отвлеченного идеала чистой красоты считали сатиру «низким жанром». И вместе с тем они нередко пользовались ею для борьбы со своими противниками, а в творчестве некоторых — и в первую очередь Толстого — сатира занимала весьма значительное место. Интересны слова Толстого, которыми он характеризует в письме к Стасюлевичу свои полемические выпады против В. В. Стасова: «Вы, может быть, из этого письма заключите, что во мне стала развиваться шишка *драчливости* (de la combattivité). Нет, это только потребность анахорета столкнуться с живым миром... Я живу в таком уединении, что сделался подобен зельтерской воде, закупоренной в бутылке». Эти слова относятся как раз к периоду наибольшей активности Толстого как сатирика и помогают уяснить социально-психологическую основу его сатирических выступлений.

Сатиры Толстого направлены, с одной стороны, против демократического лагеря, а с другой — против правительственных кругов. Разумеется, борьба поэта с бюрократическими верхами и официозной идеологией была борьбой внутри господствующего класса. Тем не менее социальная позиция Толстого давала ему возможность видеть многие безобразные явления современной ему русской жизни. Поэтому он и смог создать такую замечательную по своей талантливости и размаху сатиру, как «Сон Попова».

В «Сне Попова» мы имеем дело не с пасквилем на определенного министра, а с собирательным портретом бюрократа 60—70-х годов, гримирующегося под либерала. Согласно устному преданию, Толстой использовал черты министра внутренних дел, а затем государственных имуществ П. А. Валуева. Это вполне вероятно: все современники отмечали любовь Валуева к либеральной фразеологии, пустоту и избитые сентенции его красноречивых словоизлияний [1]. Но министр из «Сна Попова» — гораздо более широкий и емкий художественный образ; в нем мог узнать себя не один Валуев. И весьма примечательно, что автор сохранившегося в одном из архивов стихотворного ответа на «Сон Попова» возмущался Толстым за то, что он якобы высмеял А. В. Головнина — другого министра и крупного бюрократа этого времени, питавшего пристрастие к либеральной позе и либеральным речам.

---

[1] См., например: А. И. Герцен. Второе предостережение и второй Годунов.— Собр. соч., т. 19, М., 1960, стр. 76; П. В. Долгоруков. Петербургские очерки, М., 1934, стр. 401.

Речь министра, наполненная внешне либеральными утверждениями, из которых, однако, нельзя сделать решительно никаких практических выводов,— верх сатирического мастерства Толстого. Поэт не дает прямых оценок речи и поведения министра, но остроумно сопоставляет его словесный либерализм и расправу с Поповым за «ниспровержение властей», выразившееся в том, что, отправившись поздравить министра, он забыл надеть брюки.

В сатире высмеян не только министр, но и всесильное Третье отделение, известное, как язвительно пишет поэт, своим «праведным судом».

Сентиментальная и ласковая речь полковника из Третьего отделения, быстро переходящая в угрозы, донос Попова, целый ряд ярких деталей — втянувшие животы курьеры и экзекутор, рысью пробегающий через зал перед выходом министра, смена ласкового «вы» грубым «ты» в обращении министра к Попову и т. п.— все это очерчено сочными реалистическими красками. А негодование читателя-обывателя и реакционера в конце «Сна Попова» и его упреки по адресу поэта в незнании «своей страны обычаев и лиц» («И где такие виданы министры?.. И что это, помилуйте, за дом?» и пр.), негодование и упреки, над которыми явно издевается Толстой, еще более подчеркивают исключительную меткость сатиры.

Другая сатира Толстого, «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», знаменита злыми характеристиками русских монархов. Она пользовалась огромной популярностью и ходила по рукам в многочисленных списках. Достаточно перечитать блестящие строки о Екатерине II, чтобы убедиться, что это не одно лишь балагурство. Острый взгляд поэта сквозь поверхность явлений умел проникать в их существо.

«Madame, при вас на диво
Порядок расцветет,—
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот,—

Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать».

«Messieurs,— им возразила
Она,— vous me comblez»,
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.

Основной тон сатиры, шутливый и нарочито легкомысленный, пародирует ложный патриотический пафос и лакировку прошлого в официальной исторической науке того времени. Здесь Толстой соприкасается со Щедриным, с его «Историей одного города». Толстой близок к Щедрину и в другом, не менее существенном отношении. Как и «История

одного города», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» отнюдь не является сатирой на русскую историю; такое обвинение могло исходить лишь из тех кругов, которые стремились затушевать подлинный смысл произведения. В ответ на статью А. С. Суворина, приписавшего Щедрину намерение создать «историческую сатиру», сатирик заметил: «Не «историческую», а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобною... Явления эти существовали не только в XVIII веке, но существуют и теперь, и вот единственная причина, почему я нашел возможным привлечь XVIII век». Было бы легкомысленно отождествлять политический смысл сатиры Щедрина и Толстого, но совершенно ясно, что и Толстой обращался лишь к тем историческим явлениям, которые продолжали свое существование в современной ему русской жизни, и мог бы вместе со Щедриным сказать: «Если б господство упомянутых выше явлений кончилось... то я положительно освободил бы себя от труда полемизировать с миром, уже отжившим»[1]. И действительно, вся сатира Толстого повернута к современности. Доведя изложение до восстания декабристов и царствования Николая I, Толстой недвусмысленно заявляет: «о том, что близко, || Мы лучше умолчим». Он кончает «Историю государства Российского» ироническими словами о «зело изрядном муже» Тимашеве. А. Е. Тимашев — в прошлом управляющий Третьим отделением, только что назначенный министром внутренних дел,— осуществил якобы то, что не было достигнуто за десять веков русской истории, то есть водворил подлинный порядок. Нечего и говорить, как язвительно звучали эти слова о водворенном Тимашевым подлинном порядке в обстановке все более сгущавшейся реакции и полицейского произвола.

Главный прием, при помощи которого Толстой осуществляет свой замысел, состоит в том, что о князьях и царях он говорит, употребляя чисто бытовые характеристики, вроде «варяги средних лет» или «парень бравый» и описывая исторические события нарочито обыденными выражениями: «послал татарам шиш» и т. п. Толстой очень любил этот способ достижения комического эффекта при помощи парадоксального несоответствия темы, обстановки, лица со словами и самым тоном речи. Такими эффектами переполнена в «Дон Жуане» речь сатаны, называющего ангела «ревностным жандармом», сравнивающего себя и добрых духов с двумя палатами парламента. Бытовой тон своей сатиры Толстой еще более подчеркивает, называя его в конце «Истории» летописным: «Я грешен, летописный || Я позабыл свой слог». Этот тон акцентируется также удивительно легким, виртуозным стихом:

---

[1] Письмо в редакцию «Вестника Европы».— Полн. собр. соч., т. 18, М., 1937, стр. 238.

И, на Бориса место
Взобравшись, сей нахал
От радости с невестой
Ногами заболтал.

В других сатирах Толстого высмеиваются мракобесие, цензура, национальная нетерпимость, казенный оптимизм, произвол и взяточничество.

«Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме», хотя в нем и имеется несколько грубых, лубочных строф о нигилистах, в целом направлено против обскурантизма. Высмеивая — в связи со слухами о запрещении одного из произведений Дарвина — возглавлявшего цензурное ведомство Лонгинова, Толстой иронически рекомендует ему, если уж он стоит на страже церковного учения о мироздании и происхождении человека, запретить заодно и Галилея. Своеобразным гимном человеческому разуму, не боящемуся никаких препон, звучат заключительные строки стихотворения:

С Ломоносовым наука
Положив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука
Мимо всех твоих рогаток... и т. д.

Стихотворения «Порой веселой мая...» (первоначальное заглавие — «Баллада с тенденцией») и «Поток-богатырь», направленные против демократического лагеря, вызвали естественное недовольство передовой печати. В начале 1872 года в одной из глав «Дневника провинциала в Петербурге» Салтыкова-Щедрина описано, как «Балладу с тенденцией» с удовольствием читают на рауте у «председателя общества благих начинаний отставного генерала Проходимцева» [1], а в «Искре» была напечатана пародия «Баллада с полицейской тенденцией. Стихотворение генерала Алексея Толстого» [2]. Тот же Салтыков, характеризуя состояние русской литературы и журналистики как «царство мерзавцев», писал А. М. Жемчужникову: «Прибавьте к этому забавы вольных художников вроде гр. А. К. Толстого, дающих повод своими «Потоками» играть сердцам во чреве наших обскурантов. Не знаю, как Вам, а мне особенно больно видеть, как люди, которых почитал честными, хотя и не особенно дальновидными, вооружаются в защиту обскурантизма, призывая себе на помощь искусственную народность» [3].

В стихотворении «Порой веселой мая...» Толстой использовал предисловие Гейне к французскому изданию «Лютеции», причем почти буквально повторил некоторые образы в том же контексте борьбы с мнимыми разрушителями искусства. Строки Толстого: «Но этот сад цветущий || Засеют скоро репой!» и «Но соловьев, о лада, || Скорее истребити ||

---

[1] «Отечественные записки», 1872, № 2, стр. 286.
[2] «Искра», 1872, № 8, стр. 120—121.
[3] Полн. собр. соч., т. 18, М., 1937, стр 244—245.

За бесполезность надо!» — восходят к следующему месту предисловия Гейне: «Они опустошат мои лавровые рощи и посадят там картофель... соловьи, эти бесполезные певцы, будут изгнаны». Сравнение сторонников социально направленного искусства с иконоборцами в стихотворении Толстого «Против течения» связано со словами о «мрачных иконоборцах» в этом же предисловии. Но весьма характерно, что, воспользовавшись указанным местом, поэт оставил в стороне все то, что Гейне говорил о своем сочувствии коммунизму и о страстном желании гибели «старого мира, где невинность погибала, где процветал эгоизм, где человек эксплуатировал человека» [1].

Сатира «Порой веселой мая...» построена на столкновении фольклора со «злобой дня»; комизм заключается в том, что два лада, он — в «мурмолке червлёной», она в «венце наборном», беседуют о нигилистах, о способах борьбы с ними, упоминают мимоходом о земстве. То же в «Потоке-богатыре», в последних строфах которого речь идет о суде присяжных, атеизме, «безначальи народа», прогрессе. Правда, в «Потоке» все это мотивируется сном героя и пробуждением в необычной для него обстановке, но общий смысл и метод построения сатиры остается неизменным — суть его в столкновении фольклорного героя со «злобой дня».

Это, по выражению самого Толстого, «выпадение из былинного тона», эта игра с анахронизмами тоже близка поэзии Гейне. Так, своего «Тангейзера» Гейне начал как поэтическую обработку немецкого народного предания, а затем использовал его и в сатирических целях. В рассказ Тангейзера Венере поэт вставил злые остроты о швабской школе, Тике, Эккермане. Конечно, не по своему идейному содержанию, а с точки зрения приемов комического сатиры Толстого близки к «Тангейзеру» [2].

Говоря о сатире и юморе Толстого, нельзя хотя бы коротко не остановиться на Козьме Пруткове. Самостоятельно и в сотрудничестве с Жемчужниковыми Толстой написал несколько замечательных пародий, развенчивающих эстетизм и тягу к внешней экзотике. Показательны в этом отношении пародии на поэта Н. Ф. Щербину, в творчестве которого уход от действительности в условный поэтический мир сказался с особой силой. Антологические мотивы и эстетский поэтический стиль Щербины; увлечение романтической экзотикой Испании; плоские подражания Гейне, искажающие сущность его творчества, о которых едко отзывался и Добролюбов,— вот объекты пародий Толстого. В стихотворении «К моему портрету» язвительно высмеян

[1] Собр. соч., т. 8, 1958, стр. 12—13.

[2] Отметим также, что стихотворение Толстого «Мудрость жизни» близко по общему замыслу и построению к стихотворению Гейне «Guter Rat» («Добрый совет»), а пародия «Вянет лист, проходит лето...» — к стихотворению «Das Fräulein stand am Meere...» («Девица стояла у моря...»).

общий облик самовлюбленного поэта, оторванного от жизни, клянущего толпу и живущего в иллюзорном мире. Пародии Пруткова — своеобразная самокритика в рядах сторонников «чистого искусства». И хотя эти тонкие, остроумные и едкие насмешки не были направлены к разрушению его принципиальных основ, объективно они, бесспорно, способствовали этому.

Другие прутковские вещи Толстого имеют в виду не литературу, а явления современной ему действительности. «Звезда и Брюхо» — издевка над чинопочитанием и погоней за орденами, «Церемониал» — над темными сторонами царской армии.

Толстой как сатирик и юморист оставил заметный след в русской поэзии и оказал несомненное воздействие на некоторых поэтов следующих десятилетий.

7

Не только в поэзии, но и в прозе Толстого исторической теме предшествовали темы фантастические. Тяга к фантастическому проявилась у Толстого не только в «Упыре», но и в двух других написанных в те же годы рассказах — «Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет», а позже — в «Амене».

В русской прозе 20—30-х годов фантастика получила довольно широкое распространение (А. Погорельский, О. Сомов, Гоголь, В. Одоевский, Н. Полевой и многие совсем забытые писатели), превратившись даже в своеобразную моду и вызывая насмешливое отношение у тех писателей, в творчестве которых имела серьезное значение. В. Ф. Одоевский в одном из своих произведений конца 30-х годов не без иронии заметил, что герой его «рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую ролю». Другой герой Одоевского насмешливо упоминает в этой связи о «романтической повести ваших модных сочинителей», образцы которой то и дело печатаются в журналах [1].

Сюжеты и мотивы, лежащие в основе ранней прозы Толстого, имели широкое хождение в западноевропейской литературе конца XVIII — первых десятилетий XIX века, в первую очередь в литературе романтического направления. Отчасти отразились они и в русской литературе. Сгущение тайн и ужасов, окружающих героев, восходит к английскому так называемому «готическому», или «страшному», роману. Недаром в повести «Упырь» читаем: «Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями» (где обычно и происходило действие в «готическом романе»). Характерное для прозы молодого Толстого переплетение обыденного и фантасти-

[1] «Привидение».— «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду"», 1838, № 40, стр. 781—782.

ческого, яви и сна, игра этими двумя планами, так что читатель все время колеблется между бытовым и сверхъестественным объяснением непонятных и таинственных событий, получило наиболее яркое воплощение в творчестве Э.-Т.-А. Гофмана, пользовавшегося большой популярностью в России в 20—30-е годы.

Отдельные темы и образы Толстого также опираются на литературную традицию. Таковы тема упыря, вурдалака, первоначально почерпнутая писателями из фольклора, народных легенд и суеверий (см., например, балладу Гете «Коринфская невеста», которую впоследствии перевел Толстой, «Смарра» Ш. Нодье, «Гусли» П. Мериме, «Влюбленную покойницу» Т. Готье), тема проклятия, тяготеющего над родом вследствие преступления одного из его представителей (см., например, пьесы Л. Тика «Карл фон Бернек», А. Мюльнера «Вина», Ф. Грильпарцера «Праматерь», роман Гофмана «Эликсир дьявола»), мотив гипнотически действующего или прямо оживающего портрета («Мельмот-скиталец» Ч. Мэтьюрина, «Дом с привидениями» и «Таинственный портрет» В. Ирвинга, наконец, «Портрет» Гоголя и «Штосс» Лермонтова). Речь идет не о прямых заимствованиях, а о следовании молодого писателя литературной, преимущественно романтической, традиции. Именно *литературный* характер некоторых сюжетных приемов подчеркивается иронией, которой перемежается в «Упыре» (и отчасти во «Встрече через триста лет») напряженная манера повествования. Таковы слова о переживаниях Руневского в доме бригадирши Сугробиной: «Вот,— подумал он,— картина, которая, по всем законам фантастического мира, должна ночью ожить и повесть меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпетые свои кости!»

В годы зрелости, в «Князе Серебряном» и драматической трилогии, фантастические мотивы приобретают иную художественную функцию, с одной стороны, характеризуя «понятия, верования, нравы и степень образованности» людей далекой нам эпохи, исполненных суеверий и предрассудков, с другой — являясь способом раскрытия психологии и скрытых пружин поведения героев.

«Князя Серебряного» Толстой задумал и начал писать еще в 40-х годах, но работа над ним шла с большими перерывами, и роман был завершен и напечатан уже в 60-х.

За эти годы в русской литературе произошли большие изменения. Она обогатилась замечательными произведениями, глубоко изображавшими современную русскую жизнь — во всей ее пестроте и сложности. Пути исторического романа представлялись исчерпанными. Передовые журналы просто недоумевали, каким образом писатель, чувствующий свою связь «с вопросами и задачами, волнующими общество в данную минуту..., может искренне сочувствовать тому, что давно обратилось в прах» [1]. «Князь Серебряный»

---

[1] В. Б-на. Новая литературная реакция.— «Русское слово», 1863, № 2, стр. 21

принадлежит к романам вальтер-скоттовского типа, получившего распространение в русской литературе 30-х годов, и был воспринят как явление запоздалое, архаическое[1].

Согласно традиционной поэтике исторического романа, главный герой и любовная интрига, играющая роль сюжетного стержня «Князя Серебряного», вымышлены. Однако подлинным центром являются лица исторические и описательные главы, рисующие быт и нравы эпохи. Толстой отметил в предисловии, что ставил себе целью «не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия». Но как раз это меньше всего реализовано в образах Никиты Серебряного и Елены Морозовой, художественно наиболее бледных; к тому же Толстой вложил в них психологию, душевные переживания людей не XVI, а XIX века.

Наиболее выразительными и убедительными являются образы Ивана Грозного и его окружения, опричников Федора Басманова и Вяземского, а также Бориса Годунова. Можно спорить о степени их соответствия исторической правде, можно указывать, как это и делалось, на недостаточную глубину проникновения, и все же нельзя не согласиться с тем, что роман и теперь читается с неослабевающим интересом и волнением.

Разумеется, Толстой не решил во всем объеме задачу воссоздания жизни городской и деревенской Руси XVI века. Разумеется, следуя за Карамзиным, он односторонне изобразил Ивана Грозного. Но эта односторонность (и в «Князе Серебряном» и позже в «Смерти Иоанна Грозного») была вызвана не только социальными симпатиями Толстого, но и противоположной односторонностью, апологетическими оценками и характеристиками историков так называемой «государственной» или «историко-юридической» школы, которые затушевывали и оправдывали излишнюю, не вызванную необходимостью жестокость Грозного и то обстоятельство, что народ терпел от него не меньше, чем от бояр[2].

И образ Ивана Грозного и изображение опричнины пронизаны ненавистью Толстого к деспотизму, произволу, насилию, унижению человеческой личности. «При чтении источников,— пишет Толстой в том же предисловии,— книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодовании не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от того, что могло существовать такое общество, ко-

---

[1] См. злую рецензию Салтыкова-Щедрина, написанную от имени отставного учителя словесности.— Полн. собр. соч., т. 5, М., 1937, стр. 301—310.

[2] См. об этом, например, в цитированной выше статье «Русского слова» о «Князе Серебряном» (стр. 28—42), автор которой резко возражает К. Д. Кавелину и С. М. Соловьеву и солидаризируется в оценке Ивана Грозного с Толстым.

торое смотрело на него без негодования». Это признание интересно не только для понимания процесса творчества — оно освещает те места романа, где открыто звучит авторский голос, авторские интонации.

Материалами для многих страниц «Князя Серебряного» являются произведения народной поэзии; они же легли в основу повествовательной манеры этих и некоторых других эпизодов. Иногда Толстой пользуется теплыми, проникновенными интонациями лирической песни, иногда эпическим складом исторической песни или сказки. Приведем лишь один пример — описание смерти Максима Скуратова в главе 26-й: «Зазвенел тугой татарский лук, спела тетива, провизжала стрела, угодила Максиму в белу грудь, угодила калена́я под самое сердце. Закачался Максим на седле, ухватился за конскую гриву... Поволок его конь по чисту полю, и летит Максим, лежа навзничь, раскидав белые руки, и метут его кудри мать сыру-землю, и бежит за ним по́ полю кровавый след» и т. д.

Роман отличается четкостью композиции и точным распределением красок. Рекомендуя перевод «Князя Серебряного» французскому издателю Ж. Этцелю, Тургенев заметил, что этот роман «в духе Вальтера Скотта читается с большим интересом, увлекателен, хорошо построен и хорошо написан» [1]. Благодаря своей занимательности и благородной тенденции «Князь Серебряный» в течение многих десятилетий был одной из любимых книг юношества.

И все же Толстой как исторический романист не оставил в литературе столь существенного следа, как Толстой — поэт и драматург.

8

Тяга к драматургии обнаружилась у Толстого с самого начала его литературной деятельности. В его письмах 30-х годов есть ряд остроумных юмористических набросков, в известной степени предвосхищающих драматическое творчество еще не существовавшего тогда Козьмы Пруткова.

В конце 40-х годов, задумав «Князя Серебряного», Толстой, по-видимому, какие-то первоначальные наброски делал и в драматической форме. К 1850 году относится пародийная пьеса «Фантазия».

В 1862 году появилась «драматическая поэма» «Дон Жуан». Обратившись к много раз использованному в мировой литературе образу, Толстой стремился дать ему свое, оригинальное истолкование. Дон Жуан не был в его глазах тем безбожником и развратником, который впервые изображен в пьесе Тирсо ди Молина, а вслед за нею в целом ряде других произведений. Не устраивал Толстого и гораздо более сложный, но насквозь «земной» образ Дон Жуана в «Каменном госте» Пушкина, хотя в отдельных местах пье-

[1] И. С. Тургенев. Письма, т. 7, М.-Л., 1964, стр. 379.

сы совпадения с Пушкиным совершенно очевидны. Не случайно она посвящена памяти Моцарта и Гофмана. По словам Толстого, Гофман, рассказ которого о Дон Жуане написан в виде впечатлений от музыки Моцарта, первый увидел в Дон Жуане «искателя идеала, а не простого гуляку» (письмо к Маркевичу от 20 марта (1 апреля) 1860 года). Романтический идеал любви мерещится Дон Жуану в каждом мимолетном любовном приключении, но он неизменно обманывается в своих ожиданиях, и этим, а отнюдь не порочной натурой, не пресыщением, объясняется, по Толстому, его разочарование и озлобление. Толстой сблизил Дон Жуана с Фаустом, превратив его в своеобразного искателя истины и наделив вместе с тем романтическим томлением по чему-то неясному и недостижимому. В некоторых сценах и образах «Дон Жуана» (особенно в прологе и в образе Сатаны) несомненно влияние «Фауста» Гете.

После завершения трилогии Толстой стал искать сюжет для нового драматического произведения, и у него возник замысел чисто психологической драмы — «представить человека, который из-за какой-нибудь причины берет на себя кажущуюся подлость» (письмо к жене от 10 (22) июля 1870 года). В процессе обдумывания замысел принял более конкретные очертания: причиной этой оказывается спасение города, и тогда уже, как внешняя рама, как фон, появился Новгород XIII века. В этой драме, получившей название «Посадник», перед нами Новгород в момент борьбы с суздальцами, которые вот-вот ворвутся в него. Новгородский посадник, желая противостоять стремлению некоторых влиятельных лиц сдать город, принимает на себя мнимую вину; он делает это, чтобы спасти нового воеводу, устранение которого было бы равносильно падению города. Самое ядро замысла не связано с историей; однако исторический колорит (нравы, обычаи, отдельные образы) и народные сцены, особенно сцена веча, переданы в пьесе ярко и выразительно. Действие в ней развивается стремительно, каждая сцена двигает его вперед — к развязке. Толстой был очень увлечен драмой, но окончить ее ему не удалось.

Самой значительной в наследии Толстого-драматурга является его трилогия, трагедии на темы из русской истории конца XVI — начала XVII века: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис».

Трагедии Толстого не принадлежат к бесстрастным воспроизведениям прошлого, но было бы бесполезно искать в них и непосредственные конкретные намеки на Россию 60-х годов, Александра II, его министров и пр. Между тем попытки подобного истолкования имели место; один критик утверждал, например, что в «Смерти Иоанна Грозного» «Годунову приданы одновременно черты Макбета и министра внутренних дел Тимашева» [1]. В этом отношении Толстой

[1] См. П. П. Гнедич. Падение искусства — «Исторический вестник», 1909, № 1, стр. 134.

был близок к Пушкину, отрицательно оценивавшему французскую tragédie des allusions (трагедию намеков, применений), которая, по его словам, пишется «с «Constitutionnel» или с «Quotidienne» перед глазами, дабы шестистопными стихами заставить Сциллу, Тиберия, Леонида высказать его <автора трагедии.— *И. Я.*> мнение о Виллеле или о Кеннинге» (письмо к издателю «Московского вестника»)[1].

Это не исключает, однако, наличия «второго плана», то есть лежащей в их основе политической мысли, как в «Борисе Годунове» Пушкина, так и в трилогии Толстого. Самый выбор эпохи, общие размышления Толстого о социальных силах, действовавших в русской истории, о судьбах и роли монархической власти в России тесно связаны с его отрицательным отношением к абсолютизму и бюрократии. Для Толстого была совершенно неприемлема та трескучая лжепатриотическая драма 30—40-х годов, лакировавшая и искажавшая историю в монархическом духе, типичным образцом которой является пресловутая «Рука всевышнего отечество спасла» Н. Кукольника. Размышления и взгляды писателя, не делавшие его, разумеется, республиканцем и тем менее революционером, были очень далеки от официозных точек зрения — и не случайно цензура, придравшись к какому-то пустяковому поводу, запретила постановку «Смерти Иоанна Грозного» в провинции; недаром в течение тридцати лет она не допускала на сцену «Царя Федора Иоанновича», как пьесу, порочащую особу «венценосца» и колеблющую самый принцип самодержавия.

Основные проблемы отдельных пьес Толстого заключены в образах их главных героев и сформулированы самим поэтом в дидактических концовках. В «Смерти Иоанна Грозного» Захарьин над трупом Иоанна произносит:

О царь Иван! Прости тебя господь!
Прости нас всех! вот самовластья кара!
Вот распаденья нашего исход!

То же подчеркивается эпиграфом из Библии. Вторая часть трилогии заканчивается словами Федора:

Моей виной случилось всё! А я —
Хотел добра, Арина! Я хотел
Всех согласить, всё сгладить — боже, боже!
За что меня поставил ты царем!

Наконец, на последней странице заключительной части трилогии Толстой вкладывает в уста Бориса следующие слова:

От зла лишь зло родится — все едино:
Себе ль мы им служить хотим иль царству —
Оно ни нам, ни царству впрок нейдет!

Итак, расшатывающий государство деспотизм Ивана, бесхарактерность и слабоволие замечательного по своим ду-

[1] «Constitutionnel» и «Quotidienne» — французские газеты.

шевным качествам, тоскующего о правде человека, но совершенно неспособного правителя Федора, преступление Бориса, приведшее его на трон и сводящее на нет всю его государственную мудрость,— вот темы пьес, составивших трилогию. Трилогия объединена, по выражению одного критика, «трагической идеей самодержавной царской власти» [1] в трех ее различных проявлениях, рисуя вместе с тем общую растлевающую атмосферу самовластья.

Через всю трилогию проходит тема борьбы самодержавия с боярством. Боярство показано с его своекорыстными интересами, интригами, внутренними разногласиями, но именно в среде боярства Толстой все же находит мужественных, сохранивших чувство чести людей. Игнорирование этого обстоятельства неизбежно приводит к извращению идейного смысла и ложной интерпретации трилогии.

Самое столкновение этих двух социальных сил показано с исключительной напряженностью и яркостью. Читатель и зритель воспринимают его независимо от симпатий и антипатий автора. Интересно в этом отношении впечатление, произведенное «Смертью Иоанна Грозного» на В. Ф. Одоевского. С одобрением отозвавшись в своем дневнике о самой трагедии («психологически верна и драматична») и о постановке Малого театра, он язвительно замечает: «Но как допускают наши аристократы и олигархи, что на сцену выводятся проделки прежнего боярства, о котором они мечтают?» [2]. Через двадцать с лишним лет, в 1890 году, В. Г. Короленко, перечитав трилогию, записал в дневник, что, «несмотря на очень заметную ноту удельно-боярского романтизма и отчасти и прямой идеализации боярщины», она произвела на него «очень сильное и яркое впечатление» [3].

Показателен, наконец, следующий эпизод, происходивший на спектаклях «Смерти Иоанна Грозного» в Александринском театре незадолго до Октябрьской революции. Сцена в Боярской думе вызвала в зрительном зале своеобразную политическую борьбу. Одни аплодировали словам Бориса Годунова и в его лице идее самодержавия, другие — боярина Сицкого [4]. Разумеется, часть публики, аплодировавшая Сицкому, меньше всего думала о том, что он является защитником боярских интересов; энтузиазм вызывали его свободолюбивые речи против деспотизма. И это вполне закономерно. Обобщающая сила образов Толстого выводит их за пределы той идейной концепции писателя, к которой они генетически восходят. В частности, обобщающий смысл об-

---

[1] Н. Котляревский. Старинные портреты, СПб., 1907, стр. 354.

[2] «Литературное наследство», № 22—24, М., 1935, стр. 240.

[3] Дневник, т. 1, 1925, стр. 194.

[4] К. Державин. Эпохи Александринской сцены, Л., 1932, стр. 192; Б. А. Горин-Горяинов. Актеры, Л.-М., 1947, стр. 137—138.

раза Ивана Грозного, воплощающего в себе идею неограниченной самодержавной власти, неограниченного произвола, подчеркнут и самим Толстым в его «Проекте постановки» первой трагедии.

Лучшие представители боярства, которым Толстой явно симпатизирует, оказываются людьми, непригодными для государственной деятельности, социальные идеалы которых обречены историей. Это отчетливо ощущается в пьесах. Об этом говорит и сам Толстой в «Проекте постановки» «Царя Федора Иоанновича». «Такие люди,— подытоживает он характеристику И. П. Шуйского,— могут приобрести восторженную любовь своих сограждан, но они не созданы осуществлять перевороты в истории. На это нужны не Шуйские, а Годуновы». Не Шуйские, потому что Шуйский — воплощение прямоты, честности и благородства; ему претят всякие кривые пути, всякий обман и коварство, какой бы политической целью они ни оправдывались. Образы Шуйского и Федора особенно убедительно показывают, что моральные проблемы оттесняют в трилогии проблемы социально-исторические.

Для выяснения задач исторической драмы в понимании Толстого необходимо иметь в виду противопоставление человеческой и исторической правды. «Поэт... имеет только одну обязанность,—писал он,— быть верным самому себе и создавать характеры так, чтобы они сами себе не противоречили; *человеческая* правда — вот его закон; *исторической* правдой он не связан. Укладывается она в его драму — тем лучше; не укладывается — он обходится и без нее» («Проект постановки на сцену трагедии „Смерть Иоанна Грозного" »). Ошибочно было бы полагать что под «исторической правдой» Толстой разумел лишь мелкие исторические факты и детали и защищал здесь право на отступление от них. Речь идет о более серьезных вещах. Задачи воссоздания исторической действительности и подлинных исторических образов вообще не являлись для него решающими.

В подтверждение своих мыслей Толстой, по свидетельству современника, цитировал строки из «Смерти Валленштейна» Шиллера:

Деяния и помыслы людей
Совсем не бег слепой морского вала.
Мир внутренний — и мыслей, и страстей
Глубокое, извечное начало.
Как дерева необходимый плод,
Они не будут случаю подвластны.
Чье я узнал зерно, знаком мне тот,
Его стремленья и дела мне ясны [1].

---

[1] См. Д. Н. Цертелев. Драматическая трилогия гр. А. К. Толстого.— «Русский вестник», 1899, № 10, стр. 654. Ср. тот же образ зерна в «Проекте постановки» «Смерти Иоанна Грозного» (т. 3 наст. изд.).

В трагедиях Толстого, так же как и в трилогии Шиллера, историко-политическая тема разрешается в индивидуально-психологической плоскости. Отчасти поэтому народные массы как основная движущая сила истории не играют существенной роли в трилогии Толстого, не определяют развития действия, как в «Борисе Годунове» Пушкина или исторических хрониках Островского, хотя некоторые массовые сцены и отдельные фигуры (например, купец Курюков в «Царе Федоре Иоанновиче») очень удались Толстому. В последней, неоконченной драме «Посадник» народ должен был, вероятно, играть более активную роль, чем в трилогии.

Толстой отрицательно относился к жанру драматической хроники, которую считал бесполезным фотографированием истории, своеобразным натурализмом в исторической драматургии. Тем не менее критики неоднократно писали об его пьесах именно как о драматических хрониках. Подобная жанровая характеристика давалась обычно в связи с упреками в недостаточно стройном развитии действия и т. п. При этом не учитывалась, однако, общая установка Толстого— не на последовательное, лишь с сравнительно небольшими анахронизмами, изображение исторических событий, как в хрониках Н. А. Чаева и в некоторых пьесах Островского, не на бытовые картины, как в «Каширской старине» Д. В. Аверкиева, а на психологический портрет главных героев. Вокруг них, вокруг раскрытия их характеров, их душевного мира концентрируется все развитие действия.

Наиболее яркой из трех пьес, составивших трилогию, без сомнения, является вторая — «Царь Федор Иоаннович». Этим объясняется ее замечательная сценическая история, и прежде всего длительная жизнь на сцене Московского Художественного театра, в истории которого «Царь Федор Иоаннович» занимает выдающееся место. Сам Толстой также отдавал предпочтение «Царю Федору Иоанновичу». Его «архитектуру» писатель считал наиболее искусной и более всех других любил его главного героя. Оригинальная композиция пьесы привела к наиболее гармоническому сочетанию, по сравнению с двумя другими, психологического портрета героя с развитием сюжета.

Центральные персонажи трилогии — в отличие от многих исторических драм романтиков (например, «Эрнани» В. Гюго и др.), в отличие от романа самого Толстого — лица исторические. Это Иван Грозный, Федор и Борис Годунов. Наиболее оригинальным из них является Федор. Если образы Ивана и Бориса в основном восходят к Карамзину, то, создавая образ Федора, Толстой ни в малейшей степени не опирался на автора «Истории государства Российского». Толстой ясно дает понять это своему читателю в «Проекте постановки» трагедии. Говоря о том, что он хотел изобразить Федора «не просто слабодушным, кротким постником, но человеком, наделенным от природы самыми высокими душевными качествами, при недостаточной остроте ума и совершенном отсутствии воли», что в «характере Федора

есть как бы два человека, из коих один слаб, ограничен, иногда даже смешон, другой же, напротив, велик своим смирением и почтенен своей нравственной высотой», Толстой, несомненно, полемизирует не только с современной ему критикой, но и с мнением Карамзина об этом «жалком венценосце»[1]. Герой Толстого не является также повторением того иконописного лика, который мы находим в ряде древнерусских сказаний и повестей о «Смутном времени»[2]. Царь-аскет и подвижник этих сказаний, устранившийся от всех государственных и вообще земных дел, по существу, не так уж отличается от карамзинского «жалкого венценосца»; противоположна не столько характеристика, сколько самая оценка.

Глубокая человечность отличает весь образ Федора, и это сделало его благодарным материалом для ряда выдающихся русских артистов — И. М. Москвина, П. Н. Орленева, С. Л. Кузнецова, Н. П. Хмелева. Сравнительно недавно мы узнали, что о роли Федора упорно мечтал М. М. Яншин[3] и что его хочет сыграть и в кино и на сцене И. М. Смоктуновский[4]. Оценивая пьесу как «художественный перл», «жемчужину нашей драматургии», резко выделяющуюся на фоне ничтожного репертуара конца XIX века, В. Г. Короленко заметил в связи с постановкой театра Суворина: «Характер Федора выдержан превосходно, и трагизм этого положения взят глубоко и с подкупающей задушевностью»[5]. Есть, без сомнения, нечто близкое между образом Федора и главным героем романа Достоевского «Идиот». Это особенно интересно, поскольку произведения были задуманы и написаны одновременно («Царь Федор Иоаннович» несколько раньше), и вопрос о воздействии образа князя Мышкина на героя трагедии Толстого тем самым отпадает. Когда П. Н. Орленеву скоро после его исключительного успеха в роли Федора принесли инсценировку «Идиота», он решительно отказался играть: «боялся повторить в князе Мышкине царя Федора — так много общего у них»[6].

В построении характеров Толстой не достигал пушкинских высот, но он сделал большой шаг вперед по сравнению с другими своими предшественниками в области русской исторической драмы. Толстому несвойственно прямолинейное распределение героев на злых и добрых. В его «злых» есть свои положительные качества (Борис), а в «добрых» —

---

[1] История государства Российского, т. 10, СПб., 1824. стр. 81.

[2] См. С. Ф. Платонов. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник, СПб., 1888, стр. 84.

[3] «Неделя», 1967, № 52, стр. 10.

[4] «Литературная газета», 1968, № 1, стр. 8.

[5] Дневник, т. 4, 1928, стр. 73—74.

[6] Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанные им самим, Л.-М., 1961, стр. 67.

свои слабые стороны (Федор, Шуйский). «В искусстве бояться выставлять недостатки любимых нами лиц — не значит оказывать им услугу,— писал Толстой.— Оно, с одной стороны, предполагает мало доверия к их качествам; с другой, приводит к созданию безукоризненных и безличных существ, в которые никто не верит». И в ряде мест трагедии Толстой не боится выставить глубоко симпатичного ему Федора в комическом свете, сообщить ему смешные бытовые черты, делающие его облик земным и человеческим.

Внутренний мир героев Толстого не исчерпывается господством какой-нибудь одной абстрактной, неизменной страсти. Герои Толстого — живые, конкретные люди; они наделены индивидуальными особенностями и эмоциями. Толстому абсолютно чужды плоскостные фигуры исторической драмы 30—40-х годов — пьес Кукольника, Н. Полевого, Ободовского, Р. Зотова и др. Психологически более бледными и наивными по сравнению с героями Толстого выглядят и герои известных пьес Мея из эпохи Ивана Грозного — «Царская невеста» и «Псковитянка».

Если в Иване и Борисе первой части трилогии еще ощутимы черты романтических злодеев, то Федор, Борис второй и третьей трагедий, Иван Петрович Шуйский, Василий Шуйский показаны монументально и в то же время в их сложности и противоречивости. Психологический реализм некоторых образов трилогии позволил В. О. Ключевскому в какой-то мере использовать их в своем известном курсе русской истории, а характеризуя Федора, он прямо цитирует Толстого [1].

Толстой ставил перед собой большие задачи — задачи создания глубоких человеческих характеров и совершенно не удовлетворялся голой интригой, господствовавшей у эпигонов романтической драмы. Между тем его критики исходили нередко из архаических и справедливо отброшенных Толстым требований. В. А. Соллогуб считал, например, что «лишь в нагромождении и сцеплении препятствий... может развиваться настоящая драма», и в соответствии с этой гипертрофией интриги и полной беззаботностью насчет человеческих характеров он предложил Толстому план коренной переработки «Царя Федора Иоанновича», в котором значительно увеличена роль любовной темы, а люди всецело поглощаются дешевыми мелодраматическими эффектами и ситуациями [2].

Для языка трагедий Толстого нехарактерно стремление к скрупулезной археологической точности. Он пользуется архаизмами в сравнительно умеренных размерах и, как правило, с большим тактом, идя в этом отношении по следам Пушкина. Архаизмы не выпячиваются назойливо, а органически включены в речь действующих лиц. Стоит сопо-

---

[1] Сочинения, т. 3, М., 1957, стр. 20.

[2] См. письмо Соллогуба к С. А. Толстой от 19 февраля 1867 года — «Вестник Европы», 1908, № 1, стр. 231—237.

ставить язык трилогии с языком, например, «Дмитрия Самозванца» популярного в 60-е годы драматурга Н. А. Чаева, чтобы понять всю принципиальную правоту Толстого. «Дмитрий Самозванец» пестрит архаизмами, диалектизмами, полонизмами, нарочито затрудненными синтаксическими формами, которые должны были, по замыслу автора, передать характер старинной речи и колорит эпохи, но на практике делают пьесу неудобочитаемой. То же относится к «Мамаеву побоищу», «Каширской старине» и некоторым другим пьесам Д. В. Аверкиева.

Самый замысел трилогии, объединенной не только последовательностью царствований и событий, но также общностью морально-философской и политической проблемы, представляет собой незаурядное явление в истории русской драматургии. Говоря о глубине, содержательности и гуманизме русского искусства, о воспитательном значении русского театра, А. В. Луначарский в числе «перлов русской драматургии» называет и пьесы Алексея Толстого [1].

А. К. Толстой не принадлежит к числу великих русских писателей. И все же в классическом литературном наследии его разнообразное и оригинальное творчество занимает почетное место.

Представитель позднего романтизма, Толстой был одним из выдающихся русских лириков, автором своеобразных былин и баллад, создателем драматической трилогии, замечательным сатириком и юмористом.

Толстой не оказал значительного воздействия на литературу конца XIX и XX века (хотя следы его можно отметить в стихотворениях ряда поэтов). И все же им увлекались в молодости Валерий Брюсов и Александр Блок, очень ценил его Хлебников. Рассказывая в своих воспоминаниях о литературных вкусах и пристрастиях Сергея Есенина, В. А. Рождественский сообщает, что Толстой пользовался его «особенной любовью». «Широкого он сердца человек! — говорил Есенин.— Ему бы тройку, да вожжи в руки, да в лунную ночь с откоса, по Волге,— так, чтобы только колокольчики да снежная пыль кругом! Есть такая штучка у Толстого, «Сватовство»... так я за эту штучку сердце отдам! А «Алеша Попович»! А «Садко»! Помнишь, там на дне, у царя водяного, готов Садко от всех сокровищ отказаться...

...за крик перепелки во ржи,
За скрып новгородской телеги!

А то, что он был выдумщик и мечтатель, это совсем не плохо. Поэту надо тосковать по несбыточному. Без этого он не

[1] О будущем Малого театра (1924).— В кн.: А. В. Луначарский. О театре и драматургии, т. 1, М., 1958, стр. 334.

поэт»[1]. И — что на первый взгляд совсем неожиданно — Толстого, по свидетельству К. И. Чуковского, «знал наизусть от доски до доски» и любил декламировать Владимир Маяковский[2]. Наконец, известный украинский поэт Максим Рыльский с юных лет сохранил теплое отношение к Толстому. В 1962 году он писал автору настоящей статьи: «Радуюсь Вашей верности Алексею Константиновичу и желаю всяческого успеха в издании полного собрания его. Знаете ли, когда я окончил гимназию и «не вытянул» на медаль, то гимназическое начальство подарило мне «в знак высокого интереса Рыльского Максима в области литературы» — книги Алексея Толстого и Софокла (в редакции Зелинского)? При этом я сам подсказал своему учителю словесности Ф. П. Сушицкому именно эти книги».

Все лучшее из писательского наследия Толстого продолжает оставаться живым литературным явлением и для советских читателей, по-настоящему волнуя и трогая, вызывая то чувство внутренней радости или легкой грусти, то гнев и негодование, то ироническую усмешку или взрыв уничтожающего смеха. Разве не запоминается на всю жизнь хрестоматийное, с детства знакомое:

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?

Или образ «мужика неприхотливого» Ильи Муромца на фоне родного русского пейзажа. в воспроизведении которого поэт проявил такое исключительное чувство природы:

И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;

Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор.

Или такой, например, образец любовной лирики Толстого:

О, если б ты могла хоть на единый миг
Забыть свою печаль, забыть свои невзгоды!

---

[1] В. Рождественский. Страницы жизни, М.-Л., 1962, стр. 284.

[2] Маяковский в пятнадцатом.— Владимир Маяковский. Однодневная газета Ленинградского отделения Федерации объединений советских писателей. 1930.

О, если бы хоть раз я твой увидел лик,
Каким я знал его в счастливейшие годы!
Когда в твоих глазах засветится слеза,
О, если б эта грусть могла пройти порывом,
Как в теплую весну пролётная гроза,
Как тень от облаков, бегущая по нивам!

Или стихотворение об идущих в далекую Сибирь колодниках, возбуждающее щемящую боль и тоску о загубленных жизнях и пользовавшееся большой популярностью в революционной среде, у политических ссыльных:

Поют про свободные степи,
Про дикую волю поют,
День меркнет все боле,— а цепи
Дорогу метут да метут...

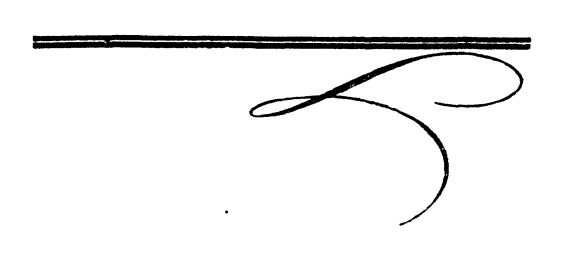
Наконец, разве не принадлежит к лучшим образцам русской сатирической поэзии «Сон Попова», в частности непревзойденная речь министра:

Нет, господа! России предстоит,
Соединив прошедшее с грядущим.
Создать, коль смею выразиться вид,
Который называется присущим
Всем временам; и, став на свой гранит,
Имущим, так сказать, и неимущим
Открыть родник взаимного труда.
Надеюсь, вам понятно, господа?

Творчество А. К. Толстого выдержало испытание временем, и каждое новое издание его сочинений имеет неизменный успех у читателей.

И. Ямпольский

Лирические стихотворения



* * *

Бор сосновый в стране одинокой стоит;
В нем ручей меж деревьев бежит и журчит.
Я люблю тот ручей, я люблю ту страну,
Я люблю в том лесу вспоминать старину.
«Приходи вечерком в бор дремучий тайком,
На зеленом садись берегу ты моем!
Много лет я бегу, рассказать я могу,
Что́ случилось когда на моем берегу.
Из сокрытой страны я сюда прибежал,
Я чудесного много дорогой узнал!
Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет
И звезда средь моих закачается вод,
Приходи ты тайком, ты узнаешь о том,
Что́ бывает порой здесь в тумане ночном!»
Так шептал, и журчал, и бежал ручеек;
На ружье опершись, я стоял одинок,
И лишь говор струи тишину прерывал,
И о прежних я грустно годах вспоминал.

<1843>

* * *

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?

Конь несет меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Темно-голубые!

Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несет меня лихой,—
А куда? не знаю!

Он ученым ездоком
Не воспитан в холе,
Он с буранами знаком,
Вырос в чистом поле;
И не блещет как огонь
Твой чепрак узорный,
Конь мой, конь, славянский конь,
Дикий, непокорный!

Есть нам, конь, с тобой простор!
Мир забывши тесный,
Мы летим во весь опор
К цели неизвестной.
Чем окончится наш бег?
Радостью ль? кручиной?
Знать не может человек —
Знает бог единый!

Упаду ль на солончак
Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак,
С бритой головою,
Молча свой натянет лук,
Лежа под травою,
И меня догонит вдруг
Медною стрелою?

Иль влетим мы в светлый град
Со кремлем престольным?
Чудно улицы гудят
Гулом колокольным,
И на площади народ,
В шумном ожиданье,
Видит: с запада идет
Светлое посланье.

В кунтушах и в чекменях,
С чубами, с усами,
Гости едут на конях,
Машут булавами,

Подбочась, за строем строй
Чинно выступает,
Рукава их за спиной
Ветер раздувает.

И хозяин на крыльцо
Вышел величавый;
Его светлое лицо
Блещет новой славой;
Всех его исполнил вид
И любви и страха,
На челе его горит
Шапка Мономаха.

«Хлеб да соль! И в добрый час! —
Говорит державный,—
Долго, дети, ждал я вас
В город православный!»
И они ему в ответ:
«Наша кровь едина,
И в тебе мы с давних лет
Чаем господина!»

Громче звон колоколов,
Гусли раздаются,
Гости сели вкруг столов,
Мед и брага льются,
Шум летит на дальний юг
К турке и к венгерцу —
И ковшей славянских звук
Немцам не по сердцу!

Гой вы, цветики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем грустите вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?

1840-е годы

* * *

Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора,
Среди садов деревья гнутся долу
И до земли висит их плод тяжелый?

Шумя, тростник над озером трепещет,
И чист, и тих, и ясен свод небес,
Косарь поет, коса звенит и блещет,
Вдоль берега стоит кудрявый лес,
И к облакам, клубяся над водою,
Бежит дымок синеющей струею?

Туда, туда всем сердцем я стремлюся,
Туда, где сердцу было так легко,
Где из цветов венок плетет Маруся,
О старине поет слепой Грицко,
И парубки, кружась на пожне гладкой,
Взрывают пыль веселою присядкой!

Ты знаешь край, где нивы золотые
Испещрены лазурью васильков,
Среди степей курган времен Батыя,
Вдали стада пасущихся волов,

Обозов скрып, ковры цветущей гречи
И вы, чубы — остатки славной Сечи?

Ты знаешь край, где утром в воскресенье,
Когда росой подсолнечник блестит,
Так звонко льется жаворонка пенье,
Стада блеят, а колокол гудит,
И в божий храм, увенчаны цветами,
Идут казачки пестрыми толпами?

Ты помнишь ночь над спящею Украйной,
Когда седой вставал с болота пар,
Одет был мир и сумраком и тайной,
Блистал над степью искрами стожар,
И мнилось нам: через туман прозрачный
Несутся вновь Палей и Сагайдачный?

Ты знаешь край, где с Русью бились ляхи,
Где столько тел лежало средь полей?
Ты знаешь край, где некогда у плахи
Мазепу клял упрямый Кочубей
И много где пролито крови славной
В честь древних прав и веры православной?

Ты знаешь край, где Сейм печально воды
Меж берегов осиротелых льет,
Над ним дворца разрушенные своды,
Густой травой давно заросший вход,
Над дверью щит с гетма̀нской булавою?..
Туда, туда стремлюся я душою!

1840-е годы

ЦЫГАНСКИЕ ПЕСНИ

Из Индии дальной
На Русь прилетев,
Со степью печальной
Их свыкся напев,

Свободные звуки,
Журча, потекли,
И дышат разлукой
От лучшей земли.

Не знаю, оттуда ль
Их нега звучит,
Но русская удаль
В них бьет и кипит;

В них голос природы,
В них гнева язык,
В них детские годы,
В них радости крик;

Желаний в них знойный
Я вихрь узнаю,
И отдых спокойный
В счастливом краю,

Бенгальские розы,
Свет южных лучей,
Степные обозы,
Полет журавлей,

И грозный шум сечи,
И шепот струи,
И тихие речи,
Маруся, твои!

1840-е годы

* * *

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?

Безмолвные аллеи,
Заглохший, старый сад,
В высокой галерее
Портретов длинный ряд?

Ты помнишь ли, Мария,
Вечерний небосклон,
Равнины полевые,
Села далекий звон?

За садом берег чистый,
Спокойный бег реки,
На ниве золотистой
Степные васильки?

И рощу, где впервые
Бродили мы одни?
Ты помнишь ли, Мария,
Утраченные дни?

1840-е годы

БЛАГОВЕСТ

Среди дубравы
Блестит крестами
Храм пятиглавый
С колоколами.

Их звон призывный
Через могилы
Гудит так дивно
И так уныло!

К себе он тянет
Неодолимо,
Зовет и манит
Он в край родимый,

В край благодатный,
Забытый мною,—
И, непонятной
Томим тоскою,

Молюсь и каюсь я,
И плачу снова,
И отрекаюсь я
От дела злого;

Далеко странствуя
Мечтой чудесною,
Через пространства я
Лечу небесные,

И сердце радостно
Дрожит и тает,
Пока звон благостный
Не замирает...

1840-е годы

* * *

Шумит на дворе непогода,
А в доме давно уже спят;
К окошку, вздохнув, подхожу я —
Чуть виден чернеющий сад;

На небе так тёмно, так тёмно,
И звездочки нет ни одной;
А в доме старинном так грустно
Среди непогоды ночной!

Дождь бьет, барабаня, по крыше,
Хрустальные люстры дрожат;
За шкапом проворные мыши
В бумажных обоях шумят;

Они себе чуют раздолье:
Как скоро хозяин умрет,
Наследник покинет поместье,
Где жил его доблестный род —

И дом навсегда запустеет,
Заглохнут ступени травой...
И думать об этом так грустно
Среди непогоды ночной!..

1840-е годы

* * *

Дождя отшумевшего капли
Тихонько по листьям текли,
Тихонько шептались деревья,
Кукушка кричала вдали.

Луна на меня из-за тучи
Смотрела, как будто в слезах;
Сидел я под кленом и думал,
И думал о прежних годах.

Не знаю, была ли в те годы
Душа непорочна моя?
Но многому б я не поверил,
Не сделал бы многого я.

Теперь же мне стали понятны
Обман, и коварство, и зло,
И многие светлые мысли
Одну за другой унесло.

Так думал о днях я минувших,
О днях, когда был я добрей;

А в листьях высокого клена
Сидел надо мной соловей,

И пел он так нежно и страстно,
Как будто хотел он сказать:
«Утешься, не сетуй напрасно —
То время вернется опять!»

1840-е годы

* * *

Ой стогѝ, стогѝ,
На лугу широком!
Вас не перечесть,
Не окинуть оком!

Ой стогѝ, стогѝ,
В зеленом болоте,
Стоя на часах,
Что́ вы стережете?

«Добрый человек,
Были мы цветами,—
Покосили нас
Острыми косами!

Раскидали нас
Посредине луга,
Раскидали врозь,
Дале друг от друга!

От лихих гостей
Нет нам обороны,
На главах у нас
Черные вороны!

На главах у нас,
Затмевая звезды,
Галок стая вьет
Поганые гнезда!

Ой орел, орел,
Наш отец далекий,
Опустися к нам,
Грозный, светлоокий!

Ой орел, орел,
Внемли нашим стонам,
Доле нас срамить
Не давай воронам!

Накажи скорей
Их высокомерье,
С неба в них ударь,
Чтоб летели перья,

Чтоб летели врозь,
Чтоб в степи широкой
Ветер их разнес
Дале́ко, далеко!»

1840-е годы

* * *

По гребле неровной и тряской,
Вдоль мокрых рыбачьих сетей,
Дорожная едет коляска,
Сижу я задумчиво в ней,—

Сижу и смотрю я дорогой
На серый и пасмурный день,
На озера берег отлогий,
На дальний дымок деревень.

По гребле, со взглядом угрюмым,
Проходит оборванный жид,
Из озера с пеной и шумом
Вода через греблю бежит.

Там мальчик играет на дудке,
Забравшись в зеленый тростник;
В испуге взлетевшие утки
Над озером подняли крик.

Близ мельницы старой и шаткой
Сидят на траве мужики;
Телега с разбитой лошадкой
Лениво подвозит мешки...

Мне кажется все так знакомо,
Хоть не был я здесь никогда:
И крыша далекого дома,
И мальчик, и лес, и вода,

И мельницы говор унылый,
И ветхое в поле гумно...
Все это когда-то уж было,
Но мною забыто давно.

Так точно ступала лошадка,
Такие ж тащила мешки,
Такие ж у мельницы шаткой
Сидели в траве мужики,

И так же шел жид бородатый,
И так же шумела вода...
Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда!

1840-е годы

* * *

Милый друг, тебе не спится,
    Душен комнат жар,
Неотвязчивый кружится
    Над тобой комар.

Подойди сюда, к окошку,
    Все кругом молчит,
За оградою дорожку
    Месяц серебрит.

Не скрыпят в сенях ступени,
    И в саду темно,
Чуть заметно в полутени
    Дальнее гумно.

Встань, приют тебя со мною
    Там спокойный ждет;
Сторож там, звеня доскою,
    Мимо не пройдет.

1840-е годы

ПУСТОЙ ДОМ

Стоит опустелый над сонным прудом,
Где ивы поникли главой,
На славу Растреллием строенный дом,
И герб на щите вековой.
Окрестность молчит среди мертвого сна,
На окнах разбитых играет луна.

Сокрытый кустами, в забытом саду
Тот дом одиноко стоит;
Печально глядится в зацветшем пруду
С короною дедовский щит...
Никто поклониться ему не придет,—
Забыли потомки свой доблестный род!

В блестящей столице иные из них
С ничтожной смешались толпой;
Поветрие моды умчало других
Из родины в мир им чужой.
Там русский от русского края отвык,
Забыл свою веру, забыл свой язык!

Крестьян его бедных наемник гнетет,
Он властвует ими один;
Его не пугают роптанья сирот...
Услышит ли их господин?

А если услышит — рукою махнет...
Забыли потомки свой доблестный род!

Лишь старый служитель, тоской удручен,
Младого владетеля ждет,
И ловит вдали колокольчика звон,
И ночью с одра привстает...
Напрасно! все тихо средь мертвого сна,
Сквозь окна разбитые смотрит луна,

Сквозь окна разбитые мирно глядит
На древние стены палат;
Там в рамах узорчатых чинно висит
Напудренных прадедов ряд.
Их пыль покрывает, и червь их грызет..
Забыли потомки свой доблестный род!

1849 <?>

* * *

Пусто в покое моем. Один я сижу у камина,
Свечи давно погасил, но не могу я заснуть.
Бледные тени дрожат на стене, на ковре, на картинах,
Книги лежат на полу, письма я вижу кругом.
Книги и письма! Давно ль вас касалася ручка младая?
Серые очи давно ль вас пробегали, шутя?

Медленно катится ночь надо мной тяжелою тканью,
Грустно сидеть одному. Пусто в покое моем!
Думаю я про себя, на цветок взирая увядший:
«Утро настанет, и грусть с темною ночью пройдет!»
Ночь прокатилась, и весело солнце на окнах играет,
Утро настало, но грусть с тенью ночной не прошла!

15 января 1851 г.

* * *

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.

Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.

В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;

И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!

1851

* * *

С ружьем за плечами, один, при луне,
Я по полю еду на добром коне.
Я бросил поводья, я мыслю о ней,
Ступай же, мой конь, по траве веселей!
Я мыслю так тихо, так сладко, но вот
Неведомый спутник ко мне пристает,
Одет он, как я, на таком же коне,
Ружье за плечами блестит при луне.
«Ты, спутник, скажи мне, скажи мне, кто ты?
Твои мне как будто знакомы черты.
Скажи, что́ тебя в этот час привело?
Чему ты смеешься так горько и зло?»
«Смеюсь я, товарищ, мечтаньям твоим,
Смеюсь, что ты будущность губишь;
Ты мыслишь, что вправду ты ею любим?
Что вправду ты сам ее любишь?
Смешно мне, смешно, что, так пылко любя,
Ее ты не любишь, а любишь себя.
Опомнись, порывы твои уж не те!
Она для тебя уж не тайна,
Случайно сошлись вы в мирской суете,
Вы с ней разойдетесь случайно.

Смеюся я горько, смеюся я зло
Тому, что вздыхаешь ты так тяжело».
Все тихо, объято молчаньем и сном,
Исчез мой товарищ в тумане ночном,
В тяжелом раздумье, один, при луне,
Я по полю еду на добром коне...

1851

* * *

Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!
Жизнью твоею я жил и слезами твоими я плакал;
Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие
годы,
Все перечувствовал вместе с тобой, и печаль и
надежды,
Многое больно мне было, во многом тебя упрекнул я;
Но позабыть не хочу ни ошибок твоих, ни страданий;
Дороги мне твои слезы и дорого каждое слово!
Бедное вижу в тебе я дитя, без отца, без опоры;
Рано познала ты горе, обман и людское злословье,
Рано под тяжестью бед твои преломилися силы!
Бедное ты деревцо, поникшее долу головкой!
Ты прислонися ко мне, деревцо, к зеленому вязу:
Ты прислонися ко мне, я стою надежно и прочно!

21 октября 1851 г.

* * *

Ты не спрашивай, не распытывай,
Умом-разумом не раскидывай:
Как люблю тебя, почему люблю,
И за что люблю, и надолго ли?
Ты не спрашивай, не распытывай:
Что сестра ль ты мне, молода ль жена
Или детище ты мне малое?

И не знаю я, и не ведаю,
Как назвать тебя, как прикликати.
Много цветиков во чистóм поле,
Много звезд горит по поднéбесью,
А назвать-то их нет умения,
Распознать-то их нету силушки.
Полюбив тебя, я не спрашивал,
Не разгадывал, не распытывал;
Полюбив тебя, я махнул рукой,
Очертил свою буйну голову!

30 октября 1851 г.

* * *

Мне в душу, полную ничтожной суеты,
Как бурный вихорь, страсть ворвалася нежданно,
С налета смяла в ней нарядные цветы
И разметала сад, тщеславием убранный.

Условий мелкий сор крутящимся столбом
Из мысли унесла живительная сила
И током теплых слез, как благостным дождем,
Опустошенную мне душу оросила.

И над обломками безмолвен я стою,
И, трепетом еще неведомым объятый,
Воскреснувшего дня пью свежую струю
И грома дальнего внимаю перекаты...

1851 или 1852 <?>

* * *

Не ветер, вея с высоты,
Листов коснулся ночью лунной;
Моей души коснулась ты —
Она тревожна, как листы,
Она, как гусли, многострунна.
Житейский вихрь ее терзал
И сокрушительным набегом,
Свистя и воя, струны рвал
И заносил холодным снегом.
Твоя же речь ласкает слух,
Твое легко прикосновенье,
Как от цветов летящий пух,
Как майской ночи дуновенье...

1851 или 1852 <?>

* * *

Меня, во мраке и в пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова.
И просветлел мой темный взор,
И стал мне виден мир незримый,
И слышит ухо с этих пор,
Что́ для других неуловимо.

И с горней выси я сошел,
Проникнут весь ее лучами,
И на волнующийся дол
Взираю новыми очами.
И слышу я, как разговор
Везде немолчный раздается,
Как сердце каменное гор
С любовью в темных недрах бьется,
С любовью в тверди голубой
Клубятся медленные тучи,
И под древесною корой,
Весною свежей и пахучей,
С любовью в листья сок живой
Струей подъемлется певучей.
И вещим сердцем понял я,

Что все рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова,
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к божью лону;
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало

1851 или 1852 <?>

* * *

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

<1854>

КОЛОДНИКИ

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,—
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль.

Идут они с бритыми лбами,
Шагают вперед тяжело,
Угрюмые сдвинули брови,
На сердце раздумье легло.

Идут с ними длинные тени,
Две клячи телегу везут,
Лениво сгибая колени,
Конвойные с ними идут.

«Что, братцы, затянемте песню,
Забудем лихую беду!
Уж, видно, такая невзгода
Написана нам на роду!»

И вот повели, затянули,
Поют, заливаясь, они

Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни,

Поют про свободные степи,
Про дикую волю поют,
День меркнет все боле,— а цепи
Дорогу метут да метут...

Первая половина 1850-х годов

* * *

Уж ты мать-тоска, горе-гореваньице!
Ты скажи, скажи, ты поведай мне:
На добычу-то как выходишь ты?
Как сживаешь люд божий со свету?
Ты змеей ли ползешь подколодною?
Ты ли бьешь с неба бурым коршуном?
Серым волком ли рыщешь по полю?
Аль ты, горе, богатырь могуч,
Выезжаешь со многой силою,
Выезжаешь со гридни и отроки?
Уж вскочу в седло, захвачу тугой лук,
Уж доеду тебя, горе горючее,
Подстрелю тебя, тоску лютую!
«Полно, полно, добрый молодец,
Бранью на ветер кидатися,
Неразумны слова выговаривать!
Я не волком бегу, не змеей ползу,
Я не коршуном бью из поднéбесья,
Не с дружиною выезжаю я!
Выступаю-то я красной девицей,
Подхожу-то я молодицею,
Подношу чару, в пояс кланяюсь;
И ты сам слезешь с коня долой,

Красной девице отдашь поклон,
Выпьешь чару, отуманишься,
Отуманишься, сердцем всплачешься,
Ноги скорые-то подкосятся,
И тугой лук из рук выпадет!..»

<*1856*>

* * *

Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.

Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Все весны дыханием согрето,
Все кругом и любит и поет;

Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звезды светят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?

Грустно жить тебе, о друг, я знаю,
И понятна мне твоя печаль:
Отлетела б ты к родному краю
И земной весны тебе не жаль...

<1856>

* * *

Уж ты нива моя, нивушка,
Не скосить тебя с маху единого,
Не связать тебя всю во единый сноп!
Уж вы думы мои, думушки,
Не стряхнуть вас разом с плеч долой,
Одной речью-то вас не высказать!
По тебе ль, нива, ветер разгуливал,
Гнул колосья твои до земли,
Зрелые зерна все разметывал!
Широко вы, думы, порассыпались...
Куда пала какая думушка,
Там всходила люта печаль-трава.
Вырастало горе горючее!

<1856>

* * *

Край ты мой, родимый край,
    Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
    Волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя!
    Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
    Ветер, степь да тучи!

<1856>

* * *

Грядой клубится белою
Над озером туман;
Тоскою добрый молодец
И горем обуян.

Не до́веку белеется
Туманная гряда,
Рассеется, развеется,
А горе никогда!

<1856>

* * *

Колышется море; волна за волной
        Бегут и шумят торопливо...
О друг ты мой бедный, боюся, со мной
        Не быть тебе долго счастливой:
Во мне и надежд и отчаяний рой,
Кочующей мысли прибой и отбой,
        Приливы любви и отливы!

<1856>

* * *

О, не пытайся дух унять тревожный,
Твою тоску я знаю с давних пор,
Твоей душе покорность невозможна,
Она болит и рвется на простор.

Но все ее невидимые муки,
Нестройный гул сомнений и забот,
Все меж собой враждующие звуки
Последний час в созвучие сольет,

В один порыв смешает в сердце гордом
Все чувства, врозь которые звучат,
И разрешит торжественным аккордом
Их голосов мучительный разлад.

<1856>

* * *

Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо,
Над озером туман тянулся полосой,
И кроткий образ твой, знакомый и любимый,
В вечерний тихий час носился предо мной.

Улыбка та ж была, которую люблю я,
И мягкая коса, как прежде, расплелась,
И очи грустные, по-прежнему тоскуя,
Глядели на меня в вечерний тихий час.

<1856>

КРЫМСКИЕ ОЧЕРКИ

1

Над неприступной крутизною
Повис туманный небосклон;
Там гор зубчатою стеною
От юга север отделен.
Там ночь и снег; там, враг веселья,
Седой зимы сердитый бог
Играет вьюгой и метелью,
Ярясь, уста примкнул к ущелью
И воет в их гранитный рог.
Но здесь благоухают розы,
Бессильно вихрем снеговым
Сюда он шлет свои угрозы,
Цветущий берег невредим.
Над ним весна младая веет,
И лавр, Дианою храним,
В лучах полудня зеленеет
Над морем вечно голубым.

2

Клонит к лени полдень жгучий,
Замер в листьях каждый звук,

В розе пышной и пахучей,
Нежась, спит блестящий жук;
А из камней вытекая,
Однозвучен и гремуч,
Говорит, не умолкая,
И поет нагорный ключ.

3

Всесильной волею аллаха,
Дающего нам зной и снег,
Мы возвратились с Чатырдаха
Благополучно на ночлег.
Все налицо, все без увечья:
Что́ значит ловкость человечья!
А признаюсь, когда мы там
Ползли, как мухи, по скалам,
То мне немного было жутко:
Сорваться вниз плохая шутка!

Гуссейн, послушай, помоги
Стащить мне эти сапоги,
Они потрескались от жара;
Да что ж не видно самовара?
Сходи за ним; а ты, Али,
Костер скорее запали.
Постелим скатерти у моря,
Достанем ром, заварим чай,
И все возляжем на просторе
Смотреть, как пламя, с ночью споря,
Померкнет, вспыхнет невзначай
И озарит до половины
Дубов зеленые вершины,
Песчаный берег, водопад,
Крутых утесов грозный ряд,
От пены белый и ревущий
Из мрака выбежавший вал
И перепутанного плюща
Концы, висящие со скал.

4

Ты помнишь ли вечер, как море шумело,
В шиповнике пел соловей,
Душистые ветки акации белой
Качались на шляпе твоей?

Меж камней, обросших густым виноградом,
Дорога была так узка;
В молчанье над морем мы ехали рядом,
С рукою сходилась рука.

Ты так на седле нагибалась красиво,
Ты алый шиповник рвала,
Буланой лошадки косматую гриву
С любовью ты им убрала;

Одежды твоей непослушные складки
Цеплялись за ветви, а ты
Беспечно смеялась — цветы на лошадке,
В руках и на шляпе цветы!

Ты помнишь ли рев дождевого потока
И пену и брызги кругом;
И как наше горе казалось далёко,
И как мы забыли о нем!

5

Вы всё любуетесь на скалы,
Одна природа вас манит,
И возмущает вас немало
Мой деревенский аппетит.

Но взгляд мой здесь иного рода,
Во мне лицеприятья нет;
Ужели вишни не природа
И тот, кто ест их, не поэт?

Нет, нет, названия вандала
От вас никак я не приму:
И Ифигения едала,
Когда она была в Крыму!

6

Туман встает на дне стремнин,
Среди полуночной прохлады
Сильнее пахнет дикий тмин,
Гремят слышнее водопады.
Как ослепительна луна!
Как гор очерчены вершины!
В сребристом сумраке видна
Внизу Байдарская долина.
Над нами светят небеса,
Чернеет бездна перед нами,
Дрожит блестящая роса
На листьях крупными слезами...

Душе легко. Не слышу я
Оков земного бытия,
Нет места страху, ни надежде,—
Что будет впредь, что было прежде —
Мне все равно — и что меня
Всегда как цепь к земле тянуло,
Исчезло все с тревогой дня,
Все в лунном блеске потонуло...

Куда же мысль унесена?
Что ей так видится дремливо?
Не средь волшебного ли сна
Мы едем вместе вдоль обрыва?
Ты ль это, робости полна,
Ко мне склонилась молчаливо?
Ужель я вижу не во сне,
Как звезды блещут в вышине,
Как конь ступает осторожно,
Как дышит грудь твоя тревожно?

Иль при обманчивой луне
Меня лишь дразнит призрак ложный
И это сон? О, если б мне
Проснуться было невозможно!

7

Как чудесно хороши вы,
Южной ночи красоты:
Моря синего заливы,
Лавры, скалы и цветы!

Но мешают мне немножко
Жизнью жить средь этих стран:
Скорпион, сороконожка
И фигуры англичан.

8

Обычной полная печали,
Ты входишь в этот бедный дом,
Который ядра осыпали
Недавно пламенным дождем;

Но юный плющ, виясь вкруг зданья,
Покрыл следы вражды и зла —
Ужель еще твои страданья
Моя любовь не обвила?

9

Приветствую тебя, опустошенный дом,
Завядшие дубы, лежащие кругом,
И море синее, и вас, крутые скалы,
И пышный прежде сад — глухой и одичалый!
Усталым путникам в палящий летний день
Еще даешь ты, дом, свежительную тень,
Еще стоят твои поруганные стены,
Но сколько горестной я вижу перемены!

Едва лишь я вступил под твой знакомый кров,
Бросаются в глаза мне надписи врагов,
Рисунки грубые и шутки площадные,
Где с наглым торжеством поносится Россия;
Всё те же громкие, хвастливые слова
Нечестное врагов оправдывают дело.

Вздохнув, иду вперед; мохнатая сова
Бесшумно с зеркала разбитого слетела;
Вот в угол бросилась испуганная мышь...
Везде обломки, прах; куда ни поглядишь,
Везде насилие, насмешки и угрозы;
А из саду в окно вползающие розы,
За мраморный карниз цепляясь там и тут,
Беспечно в красоте раскидистой цветут,
Как будто на дела враждебного народа
Набросить свой покров старается природа;
Вот ящерица здесь меж зелени и плит,
Блестя как изумруд, извилисто скользит,
И любо ей играть в молчании могильном,
Где на пол солнца луч столбом ударил
пыльным.

Но вот уж сумерки; вот постепенно мгла
На берег, на залив, на скалы налегла;
Все больше в небе звезд, в аллеях все темнее,
Душистее цветы, и запах трав сильнее;
На сломанном крыльце сижу я, полон дум;
Как тихо все кругом, как слышен моря шум...

10

Тяжел наш путь, твой бедный мул
Устал топтать терновник злобный;
Взгляни наверх: то не аул,
Гнезду орлиному подобный;
То целый город; смолкнул гул
Народных празднеств и торговли,
И ветер тления подул
На богом проклятые кровли.
Во дни глубокой старины

(Гласят народные скрижали),
Во дни неволи и печали,
Сюда Израиля сыны
От ига чуждого бежали,
И град возник на высях гор.
Забыв отцов своих позор
И горький плен Ерусалима,
Здесь мирно жили караимы;
Но ждал их давний приговор,
И пала тяжесть божья гнева
На ветвь караемого древа.
И город вымер. Здесь и там
Остатки башен по стенам,
Кривые улицы, кладбища,
Пещеры, рытые в скалах,
Давно безлюдные жилища,
Обломки, камни, пыль и прах,
Где взор отрады не находит;
Две-три семьи как тени бродят
Средь голых стен; но дороги
Для них родные очаги,
И храм отцов, от моха черный,
Над коим плавные круги,
Паря, чертит орел нагорный...

11

Где светлый ключ, спускаясь вниз,
По серым камням точит слезы,
Ползут на черный кипарис
Гроздами пурпурные розы.
Сюда когда-то, в жгучий зной,
Под темнолиственные лавры,
Бежали львы на водопой
И буро-пегие кентавры;
С козлом бодался здесь сатир;
Вакханки с криками и смехом
Свершали виноградный пир,
И хор тимпанов, флейт и лир
Сливался шумно с дальним эхом.

На той скале Дианы храм
Хранила девственная жрица,
А здесь над морем по ночам
Плыла богини колесница...

Но уж не та теперь пора;
Где был заветный лес Дианы,
Там слышны звуки топора,
Грохочут вражьи барабаны;
И все прошло; нигде следа
Не видно Греции счастливой,
Без тайны лес, без плясок нивы,
Без песней пестрые стада
Пасет татарин молчаливый...

12

Солнце жжет; перед грозою
Изменился моря вид:
Засверкал меж бирюзою
Изумруд и малахит.

Здесь на камне буду ждать я,
Как, вздымая корабли,
Море бросится в объятья
Изнывающей земли,

И, покрытый пеной белой,
Утомясь, влюбленный бог
Снова ляжет, онемелый,
У твоих, Таврида, ног.

13

Смотри, все ближе с двух сторон
Нас обнимает лес дремучий;
Глубоким мраком полон он,
Как будто набежали тучи,

Иль меж деревьев вековых
Нас ночь безвременно застигла,
Лишь солнце сыплет через них
Местами огненные иглы.
Зубчатый клен, и гладкий бук,
И твердый граб, и дуб корнистый
Вторят подков железный звук
Средь гама птичьего и свиста;
И ходит трепетная смесь
Полутеней в прохладе мглистой,
И чует грудь, как воздух весь
Пропитан сыростью душистой.
Вон там украдкой слабый луч
Скользит по липе, мхом одетой,
И дятла стук, и близко где-то
Журчит в траве незримый ключ...

14

Привал. Дымяся, огонек
Трещит под таганом дорожным,
Пасутся кони, и далек
Весь мир с его волненьем ложным.
Здесь долго б я с тобою мог
Мечтать о счастии возможном!
Но, очи грустно опустив
И наклонясь над крутизною,
Ты молча смотришь на залив,
Окружена зеленой мглою...
Скажи, о чем твоя печаль?
Не той ли думой ты томима,
Что счастье, как морская даль,
Бежит от нас неуловимо?
Нет, не догнать его уж нам,
Но в жизни есть еще отрады;
Не для тебя ли по скалам
Бегут и брызжут водопады?
Не для тебя ль в ночной тени
Вчера цветы благоухали?
Из синих волн не для тебя ли
Восходят солнечные дни?

А этот вечер? О, взгляни,
Какое мирное сиянье!
Не слышно в листьях трепетанья,
Недвижно море; корабли,
Как точки белые вдали,
Едва скользят, в пространстве тая;
Какая тишина святая
Царит кругом! Нисходит к нам
Как бы предчувствие чего-то;
В ущельях ночь; в тумане там
Дымится сизое болото,
И все обрывы по краям
Горят вечерней позолотой...

Лето 1856 г.— 1858 г.

* * *

Как здесь хорошо и приятно,
Как запах дерев я люблю!
Орешника лист ароматный
Тебе я в тени настелю.

Я там, у подножья аула,
Тебе шелковицы нарву,
А лошадь и бурого мула
Мы пустим в густую траву.

Ты здесь у фонтана приляжешь,
Пока не минуется зной,
Ты мне улыбнешься и скажешь,
Что ты не устала со мной.

Лето 1856 г.

* * *

Растянулся на просторе
И на сонных берегах,
Окунувши морду в море,
Косо смотрит Аюдаг [1].

Обогнуть его мне надо,
Но холмов волнистый рой,
Как разбросанное стадо,
Все толпится предо мной.

Добрый конь мой, долго шел ты,
Терпеливо ношу нес;
Видишь там лилово-желтый,
Солнцем тронутый утес?

Добрый конь мой, ободрися,
Ускори ленивый бег,
Там под сенью кипариса
Ждет нас ужин и ночлег!

Вот уж час, как в ожиданье
Конь удваивает шаг,

---

[1] Аюдаг — Медведь-гора

Но на прежнем расстоянье
Косо смотрит Аюдаг.

Тучи море затянули,
Звезды блещут в небесах:
Но не знаю, обогну ли
Я до утра Аюдаг?

Лето 1856 г.

* * *

Войдем сюда; здесь меж руин
Живет знакомый мне раввин;
Во дни прошедшие, бывало,
Видал я часто старика;
Для поздних лет он бодр немало,
И перелистывать рука
Старинных хартий не устала.
Когда вдали ревут валы
И дикий кот, мяуча, бродит,
Талмуда враг и Каббалы,
Всю ночь в молитве он проводит;
Душистей нет его вина,
Его улыбка добродушна,
И, слышал я, его жена
Тиха, прекрасна и послушна;
Но недоверчив и ревнив
Седой раввин <...>
Он примет странников радушно,
Но не покажет им супруг
Своей чудесной половины
Ни за янтарь, ни за жемчуг,
Ни за звенящие цехины!

Лето 1856 г.

* * *

Если б я был богом океана,
Я б к ногам твоим принес, о друг,
Все богатства царственного сана,
Все мои кораллы и жемчуг!
Из морского сделал бы тюльпана
Я ладью тебе, моя краса;
Мачты были б розами убраны,
Из чудесной ткани паруса!
Если б я был богом океана,
Я б любил тебя, моя душа;
Я б любил без бури, без обмана,
Я б носил тебя, едва дыша!
Но беда тому, кто захотел бы
Разлучить меня с тобою, друг!
Всклокотал бы я и закипел бы!
Все валы свои погнал бы вдруг!
В реве бури, в свисте урагана
Враг узнал бы бога океана!
Всюду, всюду б я его сыскал!
Со степей сорвал бы я курганы!
Доплеснул волной до синих скал,
Чтоб добыть тебя, моя циана,
Если б я был богом океана!

Лето 1856 г.

* * *

Что за грустная обитель
И какой знакомый вид!
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит;

Стукнет вправо, стукнет влево,
Будит мыслей длинный ряд,
В нем рассказы и напевы
Затверженные звучат.

А в подсвечнике пылает
Догоревшая свеча;
Где-то пес далеко лает,
Ходит маятник, стуча;

Стукнет влево, стукнет вправо,
Все твердит о старине;
Грустно так; не знаю, право,
Наяву я иль во сне?

Вот уж лошади готовы —
Сел в кибитку и скачу,—

Полно, так ли? Вижу снова
Ту же сальную свечу,

Ту же грустную обитель,
И кругом знакомый вид,
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит...

Лето 1856 г.

* * *

Не верь мне, друг, когда, в избытке горя,
Я говорю, что разлюбил тебя,
В отлива час не верь измене моря,
Оно к земле воротится, любя.

Уж я тоскую, прежней страсти полный,
Мою свободу вновь тебе отдам,
И уж бегут с обратным шумом волны
Издалека к любимым берегам!

Лето 1856 г.

* * *

Острою секирой ранена береза,
По коре сребристой покатились слезы;
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй!
Рана не смертельна, вылечится к лету,
Будешь красоваться, листьями убрана...
Лишь больное сердце не залечит раны!

Лето 1856 г.

* * *

Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой
Вечерний алый свет сливается все боле;
Блеящие стада вернулися домой,
И улеглася пыль на опустелом поле.

Да снидет ангел сна, прекрасен и крылат,
И да перенесет тебя он в жизнь иную!
Издавна был он мне в печали друг и брат,
Усни, мое дитя, к нему я не ревную!

На раны сердца он забвение прольет,
Пытливую тоску от разума отымет
И с горестной души на ней лежащий гнет
До нового утра незримо приподымет.

Томимая весь день душевною борьбой,
От взоров и речей враждебных ты устала,
Усни, мое дитя, меж ними и тобой
Он благостной рукой опустит покрывало!

Август 1856 г.

* * *

Когда кругом безмолвен лес дремучий
И вечер тих;
Когда невольно просится певучий
Из сердца стих;
Когда упрек мне шепчет шелест нивы
Иль шум дерев;
Когда кипит во мне нетерпеливо
Правдивый гнев;
Когда вся жизнь моя покрыта тьмою
Тяжелых туч;
Когда вдали мелькнет передо мною
Надежды луч;
Средь суеты мирского развлеченья,
Среди забот,
Моя душа в надежде и в сомненье
Тебя зовет;
И трудно мне умом понять разлуку,
Ты так близка,
И хочет сжать твою родную руку
Моя рука!

Август или сентябрь 1856 г.

* * *

Сердце, сильней разгораясь от году до году,
Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду.
В ней, как железо в раскале, оно закипело:
Сделала, жизнь, ты со мною недоброе дело!
Буду кипеть, негодуя, тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодною сталью!

Август или сентябрь 1856 г.

* * *

В стране лучей, незримой нашим взорам,
Вокруг миров вращаются миры;
Там сонмы душ возносят стройным хором
Своих молитв немолчные дары;

Блаженством там сияющие лики
Отвращены от мира суеты,
Не слышны им земной печали клики,
Не видны им земные нищеты;

Все, что они желали и любили,
Все, что к земле привязывало их,
Все на земле осталось горстью пыли,
А в небе нет ни близких, ни родных.

Но ты, о друг, лишь только звуки рая
Как дальний зов в твою проникнут грудь,
Ты обо мне подумай, умирая,
И хоть на миг блаженство позабудь!

Прощальный взор бросая нашей жизни,
Душою, друг, вглядись в мои черты,

Чтобы узнать в заоблачной отчизне
Кого звала, кого любила ты,

Чтобы не мог моей молящей речи
Небесный хор навеки заглушить,
Чтобы тебе, до нашей новой встречи,
В стране лучей и помнить и грустить!

Август или сентябрь 1856 г.

* * *

Лишь только один я останусь с собою,
Меня голоса призывают толпою.
Которому ж голосу отповедь дам?
В сомнении рвется душа пополам.
Советов, угроз, обещаний так много,
Но где же прямая, святая дорога?
С мучительной думой стою на пути —
Не знаю, направо ль, налево ль идти?
Махни уж рукой да иди, не робея,
На голос, который всех манит сильнее,
Который немолчно, вблизи, вдалеке,
С тобой говорит на родном языке!

Август или сентябрь 1856 г.

* * *

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку.
Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса!
Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву,
Ласковый, царственный взор из-под мрака бровей громоносных?
Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который,
В древнегерманской одежде, но в правде глубокой, вселенской,
С образом сходен предвечным своим от слова до слова.
Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный,
Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов,
Плач неутешной души над погибшей великою мыслью,
Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса?
Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья.
Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова и света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,

Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный.
О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем,
Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен,
Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье,
И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки
Вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою
картины,
Выйдут из мрака всё ярче цвета, осязательней формы,
Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье...
Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье,
И, созидая потом, мимолетное помни виденье!

Октябрь 1856 г.

* * *

Что ты голову склонила?
Ты полна ли тихой ленью?
Иль грустишь о том, что было?
Иль под виноградной сенью

Начертания сквозные
Разгадать хотела б ты,
Что на землю вырезные
Сверху бросили листы?

Но дрожащего узора
Нам значенье непонятно —
Что придет, узнаешь скоро,
Что прошло, то невозвратно!

Час полуденный палящий,
Полный жизни огневой,
Час веселый настоящий,
Этот час один лишь твой!

Не клони ж печально взора
На рисунок непонятный —
Что придет, узнаешь скоро,
Что прошло, то невозвратно!

Ноябрь 1856 г.

Б. М. МАРКЕВИЧУ

Ты прав; мой своенравный гений
Слетал лишь изредка ко мне;
Таясь в душевной глубине,
Дремала буря песнопений;
Меня ласкали сон и лень,
Но, цепь житейскую почуя,
Воспрянул я; и, негодуя,
Стихи текут. Так в бурный день,
Прорезав тучи, луч заката
Сугубит блеск своих огней,
И так река, скалами сжата,
Бежит сердитей и звучней!

Осень 1856 г.

* * *

И у меня был край родной когда-то;
Со всех сторон
Синела степь; на ней белели хаты —
Все это сон!

Я помню дом и пестрые узоры
Вокруг окон,
Под тенью лип душистых разговоры —
Все это сон!

Я там мечтою чистой, безмятежной
Был озарен,
Я был любим так искренно, так нежно —
Все это сон!

И думал я: на смерть за край родимый
Я обречен!
Но гром умолк; гроза промчалась мимо —
Все было сон!

Летучий ветр, неси ж родному краю,
Неси поклон;
В чужбине век я праздно доживаю —
Все было сон!

1856 <?>.

* * *

Господь, меня готовя к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне десницею святою
Он указал правдивый путь;
Одушевил могучим словом,
Вдохнул мне в сердце много сил,
Но непреклонным и суровым
Меня господь не сотворил.
И гнев я свой истратил даром,
Любовь не выдержал свою,
Удар напрасно за ударом
Я отбивая устаю.
Навстречу их враждебной вьюги
Я вышел в поле без кольчуги
И гибну раненный в бою.

<1857>

* * *

Порой, среди забот и жизненного шума,
Внезапно набежит мучительная дума
И гонит образ твой из горестной души.
Но только лишь один останусь я в тиши
И суетного дня минует гул тревожный,
Смиряется во мне волненье жизни ложной,
Душа, как озеро, прозрачна и сквозна,
И взор я погрузить в нее могу до дна;
Спокойной мыслию, ничем не возмутимой,
Твой отражаю лик желанный и любимый
И ясно вижу глубь, где, как блестящий клад,
Любви моей к тебе сокровища лежат.

<1857>

* * *

Не божиим громом горе ударило,
Не тяжелой скалой навалилося;
Собиралось оно малыми тучками,
Затянули тучки небо ясное,
Посеяло горе мелким дождичком,
Мелким дождичком осенниим.
А и сеет оно давным-давно,
И сечет оно без умолку,
Без умолку, без устали,
Без конца сечет, без отдыха;
Проняло насквозь добра молодца,
Проняло дрожью холодною,
Лихорадкою, лихоманкою,
Сном-дремотою, зевотою.
— Уже полно, горе, дуб ломать по прутикам,
Щипать по листикам!
А и бывало же другим счастьице:
Налетало горе вихрем-бурею,
Ворочало горе дубы с корнем вон!

<1857>

* * *

Ой, честь ли то молодцу лен прясти?
А и хвала ли боярину кичку носить?
Воеводе по воду ходить?
Гусляру-певуну во приказе сидеть?
Во приказе сидеть, потолок коптить?

Ой, коня б ему! гусли б звонкие!
Ой, в луга б ему, во зеленый бор!
Через реченьку да в темный сад,
Где соловушка на черемушке
Целу ноченьку напролет поет!

<1857>

* * *

Ты неведомое, незнамое,
Без виду, без образа,
Без имени-прозвища!
Полно гнуть меня ко сырой земле,
Донимать меня, добра молодца!
Как с утра-то встану здоровёшенек,
Здоровёшенек, кажись гору сдвинул бы,
А к полудню уже руки опущаются,
Ноги словно ко земле приросли.
А подходит оно без оклика,
Меж хотенья и дела втирается,
Говорит: «Не спеши, добрый молодец,
Еще много впереди времени!»
И субботу называет пятницей,
Фомину неделю светлым праздником.
Я пущуся ли в путь-дороженьку,
Ан оно повело проселками,
На полпути корчмой выросло;
Я за дело примусь, ан оно мухою
Перед носом снует, извивается;
А потом тебе же насмехается:
«Ой, удал, силен, добрый молодец!
Еще много ли на боку полёжано?

Силы-удали понакоплено?
Отговорок-то понахожено?
А и много ли богатырских дел,
На печи сидючи, понадумано?
Вахлаками других поругано?
Себе спину почёсано?»

<1857>

* * *

Он водил по струна́м; упадали
Волоса на безумные очи,
Звуки скрыпки так дивно звучали,
Разливаясь в безмолвии ночи.
В них рассказ убедительно-лживый
Развивал невозможную повесть,
И змеиного цвета отливы
Соблазняли и мучили совесть;
Обвиняющий слышался голос,
И рыдали в ответ оправданья,
И бессильная воля боролась
С возрастающей бурей желанья,
И в туманных волнах рисовались
Берега позабытой отчизны,
Неземные слова раздавались
И манили назад с укоризной,
И так билося сердце тревожно,
Так ему становилось понятно
Все блаженство, что было возможно
И потеряно так невозвратно,
И к себе беспощадная бездна
Свою жертву, казалось, тянула,

А стезею лазурной и звездной
Уж полнеба луна обогнула;
Звуки пели, дрожали так звонко,
Замирали и пели сначала,
Беглым пламенем синяя жженка
Музыканта лицо освещала...

Начало 1857 г.

* * *

Уж ласточки, кружась, над крышей щебетали,
Красуяся, идет нарядная весна:
Порою входит так в дом скорби и печали
В цветах красавица, надменна и пышна.

Как праздничный мне лик весны теперь несносен!
Как грустен без тебя дерев зеленых вид!
И мыслю я: когда ж на них повеет осень
И, сыпля желтый лист, нас вновь соединит!

Весна 1857 г.<?>

* * *

Деревцо мое миндальное
Все цветами убирается,
В сердце думушка печальная
Поневоле зарождается:

Деревцом цветы обронятся,
И созреет плод непрошеный,
И зеленое наклонится
До земли под горькой ношею!

1857 или 1858

* * *

Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь!

<1858>

* * *

Как селянин, когда грозят
Войны тяжелые удары,
В дремучий лес несет свой клад
От нападенья и пожара,

И там во мрачной тишине
Глубоко в землю зарывает,
И на чешуйчатой сосне
Свой знак с заклятьем зарубает,

Так ты, певец, в лихие дни,
Во дни гоненья рокового,
Под темной речью хорони
Свое пророческое слово.

<1858>

* * *

Запад гаснет в дали бледно-розовой,
Звезды небо усеяли чистое,
Соловей свищет в роще березовой,
И травою запахло душистою.

Знаю, что́ к тебе в думушку вкралося,
Знаю сердца немолчные жалобы,
Не хочу я, чтоб ты притворялася
И к улыбке себя принуждала бы!

Твое сердце болит безотрадное,
В нем не светит звезда ни единая —
Плачь свободно, моя ненаглядная,
Пока песня звучит соловьиная,

Соловьиная песня унылая,
Что как жалоба катится слезная,
Плачь, душа моя, плачь, моя милая,
Тебя небо лишь слушает звездное!

<1858>

* * *

Ты почто, злая кручинушка,
Не вконец извела меня, бедную,
Разорвала лишь душу на́двое?
Не сойтися утру с вечером,
Не ужиться двум добрым молодцам;
Из-за меня они ссорятся,
А и оба меня корят, бранят.
Уж как станет меня брат корить:
«Ты почто пошла за боярина?
Напросилась в родню неровную?
Отщепенница, переметчица,
От своей родни отступница!»
«Государь ты мой, милый братец мой,
Я в родню к ним не напрашивалась,
И ты сам меня уговаривал,
Снаряжал меня, выдавал меня!»
Уж как станет меня муж корить:
«Из какого ты роду-племени?
Еще много ли за тобой приданого?
Еще чем меня опоила ты,
Приговорщица, приворотница,
Меня с нашими разлучница?»
«Государь ты мой, господин ты мой,
Я тебя не приворачивала,

И ты взял меня вольной волею,
А приданого за мной немного есть,
И всего-то сердце покорное,
Голова тебе, сударь, поклонная!»

Перекинулся хмель через реченьку,
С одного дуба на другой дуб,
И качается меж обоими,
Над быстро́й водой зеленеючи,
Злой кручинушки не знаючи,
Оба дерева обнимаючи.

<1858>

* * *

Рассевается, расступается
Грусть под думами под могучими,
В душу темную пробивается
Словно солнышко между тучами!

Ой ли, молодец? Не расступится,
Не рассеется ночь осенняя,
Скоро сведаешь, чем искупится
Непоказанный миг веселия!

Прикачнулася, привалилася
К сердцу сызнова грусть обычная,
И головушка вновь склонилася,
Бесталанная, горемычная...

<1858>

* * *

Что ни день, как поломя со влагой,
Так унынье борется с отвагой,
Жизнь бежит то круто, то отлого,
Вьется вдаль неровною дорогой,
От беспечной удали к заботам
Переходит пестрым переплетом,
Думы ткут то в солнце, то в тумане
Золотой узор на темной ткани.

<1858>

* * *

Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.

Разорвав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив,
Набегает жизни новой
Торжествующий прилив,

И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землей.

<1858>

* * *

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят;
Лишь вдали красуются, там на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.
Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и жму,
В очи тебе глядючи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.

<1858>

* * *

Источник за вишневым садом,
Следы голых девичьих ног,
И тут же оттиснулся рядом
Гвоздями подбитый сапог.

Все тихо на месте их встречи,
Но чует ревниво мой ум
И шепот, и страстные речи,
И ведер расплесканных шум...

<1858>

* * *

О друг, ты жизнь влачишь, без пользы увядая,
Пригнутая к земле, как тополь молодая;
Поблекла свежая ветвей твоих краса,
И листья кроет пыль и дольная роса.

О, долго ль быть тебе печальной и согнутой?
Смотри, пришла весна, твои не крепки путы,
Воспрянь и подымись трепещущим столбом,
Вершиною шумя в эфире голубом!

<1858>

* * *

В совести искал я долго обвиненья,
Горестное сердце вопрошал довольно —
Чисты мои мысли, чисты побужденья,
А на свете жить мне тяжело и больно.

Каждый звук случайный я ловлю пытливо,
Песня ли раздастся на селе далеком,
Ветер ли всколышет золотую ниву —
Каждый звук неясным мне звучит упреком.

Залегло глубоко смутное сомненье,
И душа собою вечно недовольна:
Нет ей приговора, нет ей примиренья,
И на свете жить мне тяжело и больно!

Согласить я силюсь, что́ несогласимо,
Но напрасно разум бьется и хлопочет,
Горестная чаша не проходит мимо,
Ни к устам зовущим низойти не хочет!

<1858>

* * *

Минула страсть, и пыл ее тревожный
Уже не мучит сердца моего,
Но разлюбить тебя мне невозможно,
Все, что не ты,— так суетно и ложно,
Все, что не ты,— бесцветно и мертво.

Без повода и права негодуя,
Уж не кипит бунтующая кровь,
Но с пошлой жизнью слиться не могу я,
Моя любовь, о друг, и не ревнуя,
Осталась та же прежняя любовь.

Так от высот нахмуренной природы,
С нависших скал сорвавшийся поток
Из царства туч, грозы и непогоды
В простор степей выносит те же воды
И вдаль течет, спокоен и глубок.

<1858>

* * *

Когда природа вся трепещет и сияет,
Когда ее цвета ярки и горячи,
Душа бездейственно в пространстве утопает
И в неге врозь ее расходятся лучи.
Но в скромный, тихий день, осеннею погодой,
Когда и воздух сер, и тесен кругозор,
Не развлекаюсь я смиренною природой,
И немощен ее на жизнь мою напор.
Мой трезвый ум открыт для сильных вдохновений,
Сосредоточен я живу в себе самом,
И сжатая мечта зовет толпы видений,
Как зажигательным рождая их стеклом.

Винтовку сняв с гвоздя, я оставляю дом,
Иду меж озимей, чернеющей дорогой;
Смотрю на кучу скирд, на сломанный забор,
На пруд и мельницу, на дикий косогор,
На берег ручейка болотисто-отлогий,
И в ближний лес вхожу. Там покрасневший клен,
Еще зеленый дуб и желтые березы
Печально на меня свои стряхают слезы;
Но дале я иду, в мечтанья погружен,

И виснут надо мной полунагие сучья,
А мысли между тем слагаются в созвучья,
Свободные слова теснятся в мерный строй,
И на душе легко, и сладостно, и странно,
И тихо все кругом, и под моей ногой
Так мягко мокрый лист шумит благоуханный.

<1858>

* * *

Ты знаешь, я люблю там, за лазурным сводом,
Ряд жизней мысленно отыскивать иных
И, путь свершая мой, с улыбкой мимоходом
Смотрю на прах забот и горестей земных.

Зачем же сердце так сжимается невольно,
Когда твой встречу взор, и так тебя мне жаль,
И каждая твоя мгновенная печаль
В душе моей звучит так долго и так больно?

<1858>

* * *

Замолкнул гром, шуметь гроза устала,
Светлеют небеса;
Меж черных туч приветно засияла
Лазури полоса.

Еще дрожат цветы, полны водою
И пылью золотой,
О, не топчи их с новою враждою
Презрительной пятой.

<1858>

* * *

Змея, что по скалам влечешь свои извивы
И между трав скользишь, обманывая взор,
Помедли, дай списать чешуйный твой узор:
Хочу для девы я холодной и красивой
Счеканить по тебе причудливый убор.
Пускай, когда она, скользя зарей вечерней,
К сопернику тайком счастливому пойдет,
Пускай блестит, как ты, и в золоте и в черни,
И пестрый твой в траве напоминает ход!

<1858>

* * *

Ты жертва жизненных тревог,
И нет в тебе сопротивленья,
Ты, как оторванный листок,
Плывешь без воли по теченью;

Ты как на жниве сизый дым:
Откуда ветер ни повеет,
Он только стелется пред ним
И к облакам бежать не смеет;

Ты словно яблони цветы,
Когда их снег покрыл тяжелый:
Стряхнуть тоску не можешь ты,
И жизнь тебя погнула долу;

Ты как лощинка в вешний день:
Когда весь мир благоухает,
Соседних гор ложится тень
И ей одной цвести мешает;

И как с вершин бежит в нее
Снегов растаявшая груда,
Так в сердце бедное твое
Стекает горе отовсюду!

<1858>

* * *

Бывают дни, когда злой дух меня тревожит
И шепчет на ухо неясные слова,
И к небу вознестись душа моя не может,
И отягченная склоняется глава.
И он, не ведая ни радости, ни веры,
В меня вдыхает злость — к кому, не знаю сам —
И лживым зеркалом могучие размеры
Лукаво придает ничтожным мелочам.
В кругу моих друзей со мной сидит он рядом,
Веселость им у нас надолго отнята,
И сердце он мое напитывает ядом
И речи горькие влагает мне в уста.
И все, что есть во мне порочного и злого,
Клубится и растет все гуще и мрачней
И застилает тьмой сиянье дня родного,
И неба синеву, и золото полей,
В пустыню грустную и в ночь преобразуя
Все то, что я люблю, чем верю и живу я.

<1858>

* * *

С тех пор как я один, с тех пор как ты далеко,
В тревожном полусне когда забудусь я,
Светлей моей души недремлющее око
И близость явственней духовная твоя.

Сестра моей души! с улыбкою участья
Твой тихий кроткий лик склоняется ко мне,
И я, исполненный мучительного счастья,
Любя́щий чую взор в тревожном полусне.

О, если в этот час ты также им объята,
Мы думою, скажи, проникнуты ль одной?
И видится ль тебе туманный образ брата,
С улыбкой грустною склоненный над тобой?

<1858>

* * *

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре,
О, не грусти, ты все мне дорога,
Но я любить могу лишь на просторе,
Мою любовь, широкую как море,
Вместить не могут жизни берега.

Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их все, как солнце, озарила,
И лишь на землю к нам ее светила
Нисходят порознь редкие лучи.

И порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты;
Нам вестью лес о ней шумит отрадной,
О ней поток гремит струею хладной
И говорят, качаяся, цветы.

И любим мы любовью раздробленной
И тихий шепот вербы над ручьем,
И милой девы взор, на нас склоненный,

И звездный блеск, и все красы вселенной,
И ничего мы вместе не сольем.

Но не грусти, земное минет горе,
Пожди еще, неволя недолга —
В одну любовь мы все сольемся вскоре,
В одну любовь, широкую как море,
Что не вместят земные берега!

<1858>

* * *

Я вас узнал, святые убежденья,
Вы спутники моих минувших дней,
Когда, за беглой не гоняясь тенью,
И думал я и чувствовал верней,
И юною душою ясно видел
Всё, что любил, и всё, что ненавидел!

Средь мира лжи, средь мира мне чужого,
Не навсегда моя остыла кровь;
Пришла пора, и вы воскресли снова,
Мой прежний гнев и прежняя любовь!
Рассеялся туман и, слава богу,
Я выхожу на старую дорогу!

По-прежнему сияет правды сила,
Ее сомненья боле не затмят;
Неровный круг планета совершила
И к солнцу снова катится назад,
Зима прошла, природа зеленеет,
Луга цветут, весной душистой веет!

<1858>

* * *

О, не спеши туда, где жизнь светлей и чище
Среди миров иных;
Помедли здесь со мной, на этом пепелище
Твоих надежд земных!

От праха отрешась, не удержать полета
В неведомую даль!
Кто будет в той стране, о друг, твоя забота
И кто твоя печаль?

В тревоге бытия, в безбрежном колыханье
Без цели и следа,
Кто в жизни будет мне и радость, и дыханье,
И яркая звезда?

Слиясь в одну любовь, мы цепи бесконечной
Единое звено,
И выше восходить в сиянье правды вечной
Нам врозь не суждено!

<1858>

МАДОННА РАФАЭЛЯ

Склоняся к юному Христу,
Его Мария осенила,
Любовь небесная затмила
Ее земную красоту

А он, в прозрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперед — и ясным оком
Голгофу видит пред собой

<1858>

* * *

Дробится, и плещет, и брызжет волна
Мне в очи соленою влагой;
Недвижно на камне сижу я — полна
Душа безотчетной отвагой.

Валы за валами, прибой и отбой,
И пена их гребни покрыла;
О море, кого же мне вызвать на бой,
Изведать воскресшие силы?

Почуяло сердце, что жизнь хороша,
Вы, волны, размыкали горе,
От грома и плеска проснулась душа,
Сродни ей шумящее море!

<1858>

* * *

Не пенится море, не плещет волна,
    Деревья листами не двинут,
На глади прозрачной царит тишина,
    Как в зеркале мир опрокинут.

Сижу я на камне, висят облака
    Недвижные в синем просторе;
Душа безмятежна, душа глубока,
    Сродни ей спокойное море.

<1858>

* * *

Не брани меня, мой друг,
Гнев твой выразится худо,
Он мне только нежит слух,
Я слова ловить лишь буду,
Как они польются вдруг,
Так посыпятся, что чудо,—
Точно падает жемчуг
На серебряное блюдо!

<1858>

* * *

Я задремал, главу понуря,
И прежних сил не узнаю;
Дохни, господь, живящей бурей
На душу сонную мою.

Как глас упрека, надо мною
Свой гром призывный прокати,
И выжги ржавчину покоя,
И прах бездействия смети.

Да вспряну я, тобой подъятый,
И, вняв карающим словам,
Как камень от удара млата,
Огонь таившийся издам!

<1858>

* * *

Горними тихо летела душа небесами,
Грустные долу она опускала ресницы;
Слезы, в пространство от них упадая звездами,
Светлой и длинной вилися за ней вереницей.

Встречные тихо ее вопрошали светила:
«Что ты грустна? и о чем эти слезы во взоре?»
Им отвечала она: «Я земли не забыла,
Много оставила там я страданья и горя.

Здесь я лишь ликам блаженства и радости внемлю
Праведных души не знают ни скорби, ни злобы —
О, отпусти меня снова, создатель, на землю,
Было б о ком пожалеть и утешить кого бы!»

<1858>

* * *

Ты клонишь лик, о нем упоминая,
И до чела твоя восходит кровь —
Не верь себе! Сама того не зная,
Ты любишь в нем лишь первую любовь;

Ты не его в нем видишь совершенства,
И не собой привлечь тебя он мог —
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог;

То лишь обман неопытного взора,
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит, лаская без разбора,
Все, что к нему случайно подойдет.

<1858>

* * *

Вырастает дума, словно дерево,
Вроет в сердце корни глубокие,
По поднебесью ветвями раскинется,
Задрожит, зашумит тучей листиев.
Сердце знает ту думу крепкую,
Что оно взрастило, взлелеяло,
Разум сможет ту думу окинути,
Сможет слово ту думу высказать.
А какая то другая думушка,
Что́ ни высказать, ни вымерить,
Ни обнять умом, ни окинути?
Промелькнет она без образа,
Вспыхнет дальнею зарницею,
Озарит на миг душу темную,
Много вспомнится забытого,
Много смутного, непонятного
В миг тот ясно сердцу скажется;
А рванешься за ней, погонишься —
Только очи ее и видели,
Только сердце ее и чуяло!
Не поймать на лету ветра буйного,
Тень от облака летучего
Не прибить гвоздем ко сырой земле.

<1858>

* * *

Тебя так любят все! Один твой тихий вид
Всех делает добрей и с жизнию мирит.
Но ты грустна; в тебе есть скрытое мученье,
В душе твоей звучит какой-то приговор;
Зачем твой ласковый всегда так робок взор
И очи грустные так молят о прощенье,
Как будто солнца свет, и вешние цветы,
И тень в полдневный зной, и шепот по дубравам,
И даже воздух тот, которым дышишь ты,
Все кажется тебе стяжанием неправым?

<1858>

* * *

Хорошо, братцы, тому на свете жить,
У кого в голове добра не много есть,
А сидит там одно-одинешенько,
А и сидит оно крепко-накрепко,
Словно гвоздь обухом вколоченный.
И глядит уж он на свое добро,
Все глядит на него, не спуская глаз,
И не смотрит по сторонушкам,
А знай прет вперед, напролом идет,
Давит встречного-поперечного.

А беда тому, братцы, на свете жить,
Кому бог дал очи зоркие,
Кому видеть дал во все стороны,
И те очи у него разбегаются;
И кажись, хорошо, а лучше есть,
А и худо, кажись, не без доброго!
И дойдет он до распутьица,
Не одну видит в поле дороженьку,
И он станет, призадумается,
И пойдет вперед, воротится,
Начинает идти сызнова,
А дорогою-то засмотрится
На луга, на леса зеленые,

Залюбуется на божьи цветики
И заслушается вольных пташечек.
И все люди его корят, бранят:
«Ишь идет, мол, озирается!
Ишь стоит, мол, призадумался!
Ему б мерить всё да взвешивать,
На все боки бы поворачивать!
Не бывать ему воеводою,
Не бывать ему посадником,
Думным дьяком не бывать ему,
Ни торговым делом не правити!»

<*1858*>

* * *

Кабы знала я, кабы ведала,
Не смотрела бы из окошечка
Я на молодца разудалого,
Как он ехал по нашей улице,
Набекрень заломивши мурмолку,
Как лихого коня буланого,
Звонконогого, долгогривого,
Супротив окон на дыбы вздымал!

Кабы знала я, кабы ведала,
Для него бы я не рядилася,
С золотой каймой ленту алую
В косу длинную не вплетала бы,
Рано до свету не вставала бы,
За околицу не спешила бы,
В росе ноженьки не мочила бы,
На проселок тот не глядела бы,
Не проедет ли тем проселком он,
На руке держа пестра сокола!

Кабы знала я, кабы ведала,
Не сидела бы поздно вечером,
Пригорюнившись, на завалине,

На завалине, близ колодезя,
Поджидаючи да гадаючи,
Не придет ли он, ненаглядный мой,
Напоить коня студеной водой!

<1858>

* * *

Нет, уж не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою!
С жизнью бороться приходится, с бабой-ягою.
Старая крепко меня за бока ухватила,
Сломится, так и гляжу, молодецкая сила.
Пусть бы хоть молча, а то ведь накинулась
с бранью,
Слух утомляет мне, сплетница, всякою дрянью.
Ох, насолили мне дрязги и мелочи эти!
Баба, постой, погоди, не одна ты на свете:
Сила и воля нужны мне для боя иного —
После, пожалуй, с тобою мы схватимся снова!

<1859>

* * *

Сижу да гляжу я всё, братцы, вон в эту сторонку,
Где катятся волны, одна за другой вперегонку,
Волна погоняет волну среди бурного моря,
Что́ день, то за горем все новое валится горе.
Сижу я и думаю: что мне тужить за охота,
Коль завтра прогонит заботу другая забота?
Ведь надобно ж место все новым да новым кручинам,
Так что же тужить, коли клин выбивается клином?

<1859>

* * *

Есть много звуков в сердца глубине,
Неясных дум, непетых песней много;
Но заглушает вечно их во мне
Забот немолчных скучная тревога.

Тяжел ее непрошеный напор,
Издавна сердце с жизнию боролось —
Но жизнь шумит, как вихорь ломит бор,
Как ропот струй, так шепчет сердца голос!

<1859>

* * *

К страданиям чужим ты горести полна,
И скорбь ничья тебя не проходила мимо;
К себе лишь ты одной всегда неумолима,
Всегда безжалостна и вечно холодна!

Но если б видеть ты любя́щею душою
Могла со стороны хоть раз свою печаль —
О, как самой себя тебе бы стало жаль
И как бы плакала ты грустно над собою!

<1859>

* * *

О, если б ты могла хоть на единый миг
Забыть свою печаль, забыть свои невзгоды!
О, если бы хоть раз я твой увидел лик,
Каким я знал его в счастливейшие годы!

Когда в твоих глазах засветится слеза,
О, если б эта грусть могла пройти порывом,
Как в теплую весну пролётная гроза,
Как тень от облаков, бегущая по нивам!

<1859>

* * *

Нас не преследовала злоба,
Не от вражды иль клеветы —
От наших дум ушли мы оба,
Бежали вместе, я и ты.

Зачем же прежний глас упрека
Опять твердит тебе одно?
Опять пытующее око
Во глубь души устремлено?

Смотри: наш день восходит чисто,
Ночной рассеялся туман,
Играя далью золотистой,
Нас манит жизни океан,

Уже надутое ветрило
Наш челн уносит в новый край...
Не сожалей о том, что было,
И взор обратно не кидай!

<1859>

* * *

Исполать тебе, жизнь — баба старая,
Привередница крикливая,
Что ты, лаючись, накликнулась,
Растолкала в бока добра молодца,
Растрепала его думы тяжкие!
Что ты сердца голос горестный
Заглушила бранью крупною!

Да не голос один заглушила ты —
Заглушила ты тот гуслярный звон,
Заглушила песни многие,
Что в том голосе раздавалися,
Затоптала все божьи цветики,
Что сквозь горести пробивалися!

Пропадай же, жизнь — баба старая!
Дай разлиться мне по подне́бесью,
Разлететься душой свободною,
Песней вольною, бесконечною!

<1859>

И. С. АКСАКОВУ

Судя меня довольно строго,
В моих стихах находишь ты,
Что в них торжественности много
И слишком мало простоты.
Так. В беспредельное влекома,
Душа незримый чует мир,
И я не раз под голос грома,
Быть может, строил мой псалтырь.
Но я не чужд и здешней жизни;
Служа таинственной отчизне,
Я и в пылу душевных сил
О том, что близко, не забыл.
Поверь, и мне мила природа,
И быт родного нам народа —
Его стремленья я делю,
И всё земное я люблю,
Все ежедневные картины:
Поля, и села, и равнины,
И шум колеблемых лесов,
И звон косы в лугу росистом,
И пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков;
В степи чумацкие ночлеги,
И рек безбрежный разлив,
И скрып кочующей телеги,

И вид волнующихся нив;
Люблю я тройку удалую,
И свист саней на всем бегу,
На славу кованную сбрую,
И золоченую дугу;
Люблю тот край, где зимы долги,
Но где весна так молода,
Где вниз по матушке по Волге
Идут бурлацкие суда;
И все мне дороги явленья,
Тобой описанные, друг,
Твои гражданские стремленья
И честной речи трезвый звук.
Но всё, что чисто и достойно,
Что на земле сложилось стройно,
Для человека то ужель,
В тревоге вечной мирозданья,
Есть грань высокого призванья
И окончательная цель?
Нет, в каждом шорохе растенья
И в каждом трепете листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!
Я в них иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу с любовию на землю,
Но выше просится душа;
И что́ ее, всегда чаруя,
Зовет и манит вдалеке —
О том поведать не могу я
На ежедневном языке.

Январь 1859 г.

* * *

Пусть тот, чья честь не без укора,
Страшится мнения людей;
Пусть ищет шаткой он опоры
В рукоплесканиях друзей!
Но кто в самом себе уверен,
Того хулы не потрясут —
Его глагол нелицемерен,
Ему чужой не нужен суд.

Ни пред какой земною властью
Своей он мысли не таит,
Не льстит неправому пристрастью,
Вражде неправой не кадит;
Ни пред венчанными царями,
Ни пред судилищем молвы
Он не торгуется словами,
Не клонит рабски головы.

Друзьям в угодность, боязливо
Он никому не шлет укор;
Когда ж толпа несправедливо
Свой постановит приговор,
Один, не следуя за нею,
Пред тем, что чисто и светло,
Дерзает он, благоговея,
Склонить свободное чело!

Январь 1859 г.

* * *

На нивы желтые нисходит тишина;
В остывшем воздухе от меркнущих селений,
Дрожа, несется звон. Душа моя полна
Разлукою с тобой и горьких сожалений.

И каждый мой упрек я вспоминаю вновь,
И каждое твержу приветливое слово,
Что мог бы я сказать тебе, моя любовь,
Но что внутри себя я схоронил сурово!

<1862>

* * *

Вздымаются волны как горы
И к тверди возносятся звездной,
И с ужасом падают взоры
В мгновенно разрытые бездны.

Подобная страсти, не знает
Средины тревожная сила,
То к небу, то в пропасть бросает
Ладью без весла и кормила.

Не верь же, ко звездам взлетая,
Высокой избранника доле,
Не верь, в глубину ниспадая,
Что звезд не увидишь ты боле.

Стихии безбрежной, бездонной
Уймется волненье, и вскоре
В свой уровень вступит законный
Души успокоенной море.

<1866>

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

1

Други, вы слышите ль крик оглушительный:
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный?
Много ли вас остается, мечтатели?
Сдайтеся натиску нового времени,
Мир отрезвился, прошли увлечения —
Где ж устоять вам, отжившему племени,
Против течения?»

2

Други, не верьте! Все та же единая
Сила нас манит к себе неизвестная,
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
Те же нас радуют звезды небесные!
Правда все та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!

3

Вспомните: в дни Византии расслабленной,
В приступах ярых на божьи обители,
Дерзко ругаясь святыне награбленной,
Так же кричали икон истребители:
«Кто воспротивится нашему множеству?
Мир обновили мы силой мышления —
Где ж побежденному спорить художеству
Против течения?»

4

В оные ж дни, после казни спасителя,
В дни, как апостолы шли вдохновенные,
Шли проповедовать слово учителя,
Книжники так говорили надменные:
«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли убогим идти галилеянам
Против течения!»

5

Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею —
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!

<1867>

* * *

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа!

Ф. Тютчев

Одарив весьма обильно
Нашу землю, царь небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.

Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали —
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!

Мы беспечны, мы ленивы,
Все у нас из рук валится,
И к тому ж мы терпеливы —
Этим нечего хвалиться!

Февраль 1869 г.

<И. А. ГОНЧАРОВУ>

Не прислушивайся к шуму
Толков, сплетен и хлопот,
Думай собственную думу
И иди себе вперед!

До других тебе нет дела,
Ветер пусть их носит лай!
Чтó в душе твоей созрело —
В ясный образ облекай!

Тучи черные нависли —
Пусть их виснут — черта с два!
Для своей живи лишь мысли,
Остальное трын-трава!

1870

* * *

Темнота и туман застилают мне путь,
Ночь на землю все гуще ложится,
Но я верю, я знаю: живет где-нибудь,
Где-нибудь да живет царь-девица!

Как достичь до нее — не ищи, не гадай,
Тут расчет никакой не поможет,
Ни догадка, ни ум, но безумье в тот край,
Но удача принесть тебя может!

Я не ждал, не гадал, в темноте поскакал
В ту страну, куда нету дороги,
Я коня разнуздал, наудачу погнал
И в бока ему втиснул остроги!

Август 1870 г.

* * *

В монастыре пустынном близ Кордовы
Картина есть. Старательной рукой
Изобразил художник в ней суровый,
Как пред кумиром мученик святой
Лежит в цепях и палачи с живого
Сдирают кожу... Вид картины той,
Исполненный жестокого искусства,
Сжимает грудь и возмущает чувство.

Но в дни тоски, мне все являясь снова,
Упорно в мысль вторгается она,
И мука та казнимого святого
Сегодня мне понятна и родна:
С моей души совлечены покровы,
Живая ткань ее обнажена,
И каждое к ней жизни прикасанье
Есть злая боль и жгучее терзанье.

Осень 1870 г.

* * *

Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо,
В полуденных лучах следы недавней стужи
Дымятся. Теплый ветр повеял нам в лицо
И морщит на полях синеющие лужи.

Еще трещит камин, отливами огня
Минувший тесный мир зимы напоминая,
Но жаворонок там, над озимью звеня,
Сегодня возвестил, что жизнь пришла иная.

И в воздухе звучат слова, не знаю чьи,
Про счастье, и любовь, и юность, и доверье,
И громко вторят им бегущие ручьи,
Колебля тростника желтеющие перья.

Пускай же, как они по глине и песку
Растаявших снегов, журча, уносят воды,
Бесследно унесет души твоей тоску
Врачующая власть воскреснувшей природы!

25 декабря 1870 г.

* * *

Про подвиг слышал я Кротонского бойца,
Как, юного взвалив на плечи он тельца,
Чтоб силу крепких мышц умножить постепенно,
Вкруг городской стены ходил, под ним
согбенный,
И ежедневно труд свой повторял, пока
Телец тот не дорос до тучного быка.

В дни юности моей, с судьбой в отважном споре,
Я, как Милон, взвалил себе на плечи горе,
Не замечая сам, что бремя тяжело;
Но с каждым днем оно невидимо росло,
И голова моя под ним уж поседела,
Оно же все растет без меры и предела!

Май 1871 г.

НА ТЯГЕ

Сквозит на зареве темнеющих небес
И мелким предо мной рисуется узором
В весенние листы едва одетый лес,
На луг болотистый спускаясь косогором.
И глушь и тишина. Лишь сонные дрозды
Как нехотя свое доканчивают пенье;
От луга всходит пар... мерцающей звезды
У ног моих в воде явилось отраженье;
Прохладой дунуло, и прошлогодний лист
Зашелестел в дубах... Внезапно легкий свист
Послышался; за ним, отчетисто и внятно,
Стрелку знакомый хрип раздался троекратно,
И вальдшнеп протянул — вне выстрела. Другой
Летит из-зá лесу, но длинною дугой
Опушку обогнул и скрылся. Слух и зренье
Мои напряжены, и вот через мгновенье,
Свистя, еще один, в последнем свете дня,
Чертой трепещущей несется на меня.
Дыханье притаив, нагнувшись под осиной,
Я выждал верный миг — вперед на пол-аршина
Я вскинул — огнь блеснул, по лесу грянул гром —
И вальдшнеп падает на землю колесом.
Удара тяжкого далекие раскаты,
Слабея, замерли. Спокойствием объятый,

Вновь дремлет юный лес, и облаком седым
В недвижном воздухе висит ружейный дым.
Вот донеслась еще из дальнего болота
Весенних журавлей ликующая нота —
И стихло все опять — и в глубине ветвей
Жемчужной дробию защелкал соловей.
Но отчего же вдруг, мучительно и странно,
Минувшим на меня повеяло нежданно
И в этих сумерках, и в этой тишине
Упреком горестным оно предстало мне?
Былые радости! Забытые печали!
Зачем в моей душе вы снова прозвучали
И снова предо мной, средь явственного сна,
Мелькнула дней моих погибшая весна?

Май 1871 г.

* * *

То было раннею весной,
Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парил зной,
И зелень рощ сквозила;

Труба пастушья поутру
Еще не пела звонко,
И в завитках еще в бору
Был папоротник тонкий.

То было раннею весной,
В тени берез то было,
Когда с улыбкой предо мной
Ты очи опустила.

То на любовь мою в ответ
Ты опустила вежды —
О жизнь! о лес! о солнца свет!
О юность! о надежды!

И плакал я перед тобой,
На лик твой глядя милый,—

То было раннею весной,
    В тени берез то было!

То было в утро наших лет —
    О счастие! о слезы!
О лес! о жизнь! о солнца свет!
    О свежий дух березы!

Май 1871 г.

* * *

Прозрачных облаков спокойное движенье,
Как дымкой солнечный перенимая свет,
То бледным золотом, то мягкой синей тенью
Окрашивает даль. Нам тихий свой привет
Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,
Ни ярких красок нет. Землей пережита
Пора роскошных сил и мощных трепетаний;
Стремленья улеглись; иная красота
Сменила прежнюю; ликующего лета
Лучами сильными уж боле не согрета,
Природа вся полна последней теплоты;
Еще вдоль влажных меж красуются цветы,
А на пустых полях засохшие былины
Опутывает сеть дрожащей паутины;
Кружася медленно в безветрии лесном,
На землю желтый лист спадает за листом;
Невольно я слежу за ними взором думным,
И слышится мне в их падении бесшумном:

— Всему настал покой, прими ж его и ты,
Певец, державший стяг во имя красоты;
Проверь, усердно ли ее святое семя
Ты в борозды бросал, оставленные всеми,
По совести ль тобой задача свершена
И жатва дней твоих обильна иль скудна?

Сентябрь 1874 г.

* * *

Земля цвела. В лугу, весной одетом,
Ручей меж трав катился, молчалив;
Был тихий час меж сумраком и светом,
Был легкий сон лесов, полей и нив;
Не оглашал их соловей приветом;
Природу всю широко осенив,
Царил покой; но под безмолвной тенью
Могучих сил мне чуялось движенье.

Не шелестя над головой моей,
В прозрачный мрак деревья улетали;
Сквозной узор их молодых ветвей,
Как легкий дым, терялся в горней дали;
Лесной чебёр и полевой шалфей,
Блестя росой, в траве благоухали,
И думал я, в померкший глядя свод:
Куда меня так манит и влечет?

Проникнут весь блаженством был я новым,
Исполнен весь неведомых мне сил:
Чего в житейском натиске суровом
Не смел я ждать, чего я не просил —
То свершено одним, казалось, словом,
И мнилось мне, что я лечу без крыл,

Перехожу, подъят природой всею,
В один порыв неудержимый с нею!

Но трезв был ум, и чужд ему восторг,
Надежды я не знал, ни опасенья...
Кто ж мощно так от них меня отторг?
Кто отрешил от тягости хотенья?
Со злобой дня души постыдный торг
Стал для меня без смысла и значенья,
Для всех тревог бесследно умер я
И ожил вновь в сознанье бытия...

Тут пронеслось как в листьях дуновенье,
И как ответ послышалося мне:
Задачи то старинной разрешенье
В таинственном ты видишь полусне!
То творчества с покоем соглашенье,
То мысли пыл в душевной тишине...
Лови же миг, пока к нему ты чуток,—
Меж сном и бденьем краток промежуток!

Май — сентябрь 1875 г.

* * *

Во дни минувшие бывало,
Когда являлася весна,
Когда природа воскресала
От продолжительного сна,
Когда ручьи текли обильно
И распускалися цветы,
Младое сердце билось сильно,
Кипели весело мечты;
С какою радостию чистой
Я вновь встречал в бору сыром
Кувшинчик синий и пушистый
С его мохнатым стебельком;
Какими чувствами родными
Меня манил, как старый друг,
Звездами полный золотыми
Еще никем не смятый луг!
Потом пришла пора иная
И с каждой новою весной,
Былое счастье вспоминая,
Грустней я делался; порой,
Когда темнели неба своды,
Едва шептались тростники,

Звучней ручья катились воды,
Жужжали поздние жуки,
Казалось мне, что мне недаром
Грустить весною суждено,
Что неожиданным ударом
Блаженство кончиться должно.
. . . .
. . . .

* * *

Как часто ночью в тишине глубокой
Меня тревожит тот же дивный сон:
В туманной мгле стоит дворец высокий
И длинный ряд дорических колонн,
Средь диких гор от них ложатся тени,
К реке ведут широкие ступени.

И солнце там приветливо не блещет,
Порой сквозь тучи выглянет луна,
О влажный брег порой лениво плещет,
Катяся мимо, сонная волна,
И истуканов рой на плоской крыше
Стоит во тьме один другого выше.

Туда, туда неведомая сила
Вдоль по реке влечет мою ладью,
К высоким окнам взор мой пригвоздила,
Желаньем грудь наполнила мою.
. . . .
. . . .

Я жду тебя. Я жду, чтоб ты склонила
На темный дол свой животворный взгляд,—
Тогда взойдет огнистое светило,

В алмазных искрах струи заблестят,
Проснется замок, позлатятся горы
И загремят невидимые хоры.

Я жду, но тщетно грудь моя трепещет,
Лишь сквозь туман виднеется луна,
О влажный берег лишь лениво плещет,
Катяся мимо, сонная волна,
И истуканов рой на плоской крыше
Стоит во тьме один другого выше.

ГАРАЛЬД СВЕНГОЛЬМ

His voice it was deep
like the wave of the sea.

Его голос звучал как морская волна,
Мрачен взор был грозящих очей,
И была его длань как погибель сильна,
Сердце зыблемой трости слабей.

Не в кровавом бою он врагами убит,
Не грозою повержен он в прах,
Под могильным холмом он без раны лежит,
Сам себе разрушитель и враг.

Струны мощные арфы певец напрягал,
Струны жизни порвалися в нем,
И нача́тую песню Гаральд не скончал,
И лежит под могильным холмом.

И сосна там раскинула силу ветвей,
Словно облик его, хороша,
И тоскует на ней по ночам соловей,
Словно песню кончает душа.

В АЛЬБОМ

Стрелок, на той поляне
Кто поздно так бежит?
Что там в ночном тумане
Клубится и кипит?
Что значит это пенье,
И струн в эфире звон,
И хохот, и смятенье,
И блеск со всех сторон?

— Друзья, то вереница
Волшебниц и сильфид;
Пред ними их царица
Воздушная бежит;
Бежит глухой дорожкой,
Мелькает вдоль реки,—
Под маленькою ножкой
Не гнутся стебельки.

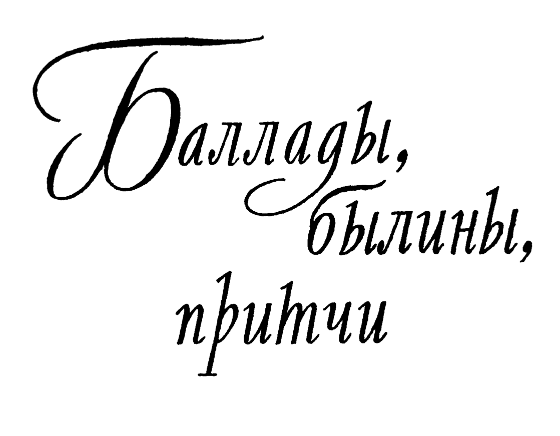
Ей нет красавиц равных,
Ее чудесен вид,
И много бардов славных
Любовью к ней горит;
Но бойся, путник смелый,
В ее попасться сеть

Иль кончик ножки белой
Нечаянно узреть.

Когда луна златая
Глядит в зерцало вод,
В лучах ее играя,
Как сон она плывет;
Наступит ли денница,
Она спешит уж прочь;
Пушок — ей колесница,
Ее отчизна — ночь.

Лишь в сумерках застанет
В лесу она стрелка,
Зовет его и манит
К себе издалека;
Скользит над влагой зыбкой
Среди глухих болот
И странника с улыбкой
Над пропастию ждет.

Сильфид она всех краше,
Волшебниц всех милей;
Седые барды наши
Горят любовью к ней;
Но бойся, путник смелый,
В ее попасться сеть
Иль кончик ножки белой
Нечаянно узреть.


Баллады,
былины,
притчи

ВОЛКИ

Когда в селах пустеет,
Смолкнут песни селян
И седой забелеет
Над болотом туман,
Из лесов тихомолком
По полям волк за волком
Отправляются все на добычу.

Семь волков идут смело.
Впереди их идет
Волк осьмой, шерсти белой;
А таинственный ход
Заключает девятый.
С окровавленной пятой
Он за ними идет и хромает.

Их ничто не пугает.
На село ли им путь,
Пес на них и не лает;
А мужик и дохнуть,
Видя их, не посмеет:
Он от страху бледнеет
И читает тихонько молитву.

Волки церковь обходят
Осторожно кругом,

В двор поповский заходят
И шевелят хвостом,
Близ корчмы водят ухом
И внимают всем слухом,
Не ведутся ль там грешные речи?

Их глаза словно свечи,
Зубы шила острей.
Ты тринадцать картечей
Козьей шерстью забей
И стреляй по ним смело,
Прежде рухнет волк белый,
А за ним упадут и другие.

На селе ж, когда спящих
Всех разбудит петух,
Ты увидишь лежащих
Девять мертвых старух.
Впереди их седая,
Позади их хромая,
Все в крови... с нами сила господня!

1840-е годы

* * *

Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печет,
Летают и пляшут стрекозы,
Веселый ведут хоровод.

«Дитя, подойди к нам поближе,
Тебя мы научим летать,
Дитя, подойди, подойди же,
Пока не проснулася мать!

Под нами трепещут былинки,
Нам так хорошо и тепло,
У нас бирюзовые спинки,
А крылышки точно стекло!

Мы песенок знаем так много,
Мы так тебя любим давно —
Смотри, какой берег отлогий,
Какое песчаное дно!»

1840-е годы

КУРГАН

В степи, на равнине открытой,
Курган одинокий стоит;
Под ним богатырь знаменитый
В минувшие веки зарыт.

В честь витязя тризну свершали,
Дружина дралася три дня,
Жрецы ему разом заклали
Всех жен и любимца коня.

Когда же его схоронили
И шум на могиле затих,
Певцы ему славу сулили,
На гуслях гремя золотых:

«О витязь! делами твоими
Гордится великий народ,
Твое громоносное имя
Столетия все перейдет!

И если курган твой высокий
Сровнялся бы с полем пустым,
То слава, разлившись далеко,
Была бы курганом твоим!»

И вот миновалися годы,
Столетия вслед протекли,

Народы сменили народы,
Лицо изменилось земли.

Курган же с высокой главою,
Где витязь могучий зарыт,
Еще не сровнялся с землею,
По-прежнему гордо стоит.

А витязя славное имя
До наших времен не дошло...
Кто был он? венцами какими
Свое он украсил чело?

Чью кровь проливал он рекою?
Какие он жег города?
И смертью погиб он какою?
И в землю опущен когда?

Безмолвен курган одинокий...
Наездник державный забыт,
И тризны в пустыне широкой
Никто уж ему не свершит!

Лишь мимо кургана мелькает
Сайгак, через поле скача,
Иль вдруг на него налетает,
Крилами треща, саранча.

Порой журавлиная стая,
Окончив подоблачный путь,
К кургану шумит подлетая,
Садится на нем отдохнуть.

Тушканчик порою проскачет
По нем при мерцании дня,
Иль всадник высоко маячит
На нем удалого коня;

А слезы прольют разве тучи,
Над степью плывя в небесах,
Да ветер лишь свеет летучий
С кургана забытого прах...

1840-е годы

КНЯЗЬ РОСТИСЛАВ

Уношу князю Ростиславу
затвори Днепр темне березе.

Слово о полку Игореве.

Князь Ростислав в земле чужой
Лежит на дне речном,
Лежит в кольчуге боевой,
С изломанным мечом.

Днепра подводные красы
Лобзаться любят с ним
И гребнем витязя власы
Расчесывать златым.

Его напрасно день и ночь
Княгиня дома ждет...
Ладья его умчала прочь —
Назад не принесет!

В глухом лесу, в земле чужой,
В реке его приют;
Ему попы за упокой
Молитвы не поют;

Но с ним подводные красы,
С ним дев веселых рой,
И чешет витязя власы
Их гребень золотой.

Когда же на берег Посвист
Седые волны мчит,
В лесу кружится желтый лист,
Ярясь, Перун гремит,

Тогда, от сна на дне речном
Внезапно пробудясь,
Очами мутными кругом
Взирает бедный князь.

Жену младую он зовет —
Увы! его жена,
Прождав напрасно целый год,
С другим обручена.

Зовет к себе и брата он,
Его обнять бы рад —
Но, сонмом гридней окружен,
Пирует дома брат.

Зовет он киевских попов,
Велит себя отпеть —
Но до отчизны слабый зов
Не может долететь.

И он, склонясь на ржавый щит,
Опять тяжелым сном
В кругу русалок юных спит
Один на дне речном...

1840-е годы

ВАСИЛИЙ ШИБАНОВ

Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный.
Дороден был князь. Конь измученный пал.
Как быть среди ночи туманной?
Но рабскую верность Шибанов храня,
Свого отдает воеводе коня:
«Скачи, князь, до вражьего стану,
Авось я пешой не отстану».

И князь доскакал. Под литовским шатром
Опальный сидит воевода,
Стоят в изумленье литовцы кругом,
Без шапок толпятся у входа,
Всяк русскому витязю честь воздает;
Недаром дивится литовский народ,
И ходят их головы кругом:
«Князь Курбский нам сделался другом».

Но князя не радует новая честь,
Исполнен он желчи и злобы;
Готовится Курбский царю перечесть
Души оскорбленной зазнобы:
«Что долго в себе я таю и ношу,

То все я пространно к царю напишу,
Скажу напрямик, без изгиба,
За все его ласки спасибо».

И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит,
Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет,
И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда занялася заря,
Поспело ему на отраду
Послание, полное яду.

Но кто ж дерзновенные князя слова
Отвезть Иоанну возьмется?
Кому не люба на плечах голова,
Чье сердце в груди не сожмется?
Невольно сомненья на князя нашли...
Вдруг входит Шибанов в поту и в пыли:
«Князь, служба моя не нужна ли?
Вишь, наши меня не догнали!»

И в радости князь посылает раба,
Торопит его в нетерпенье:
«Ты телом здоров, и душа не слаба,
А вот и рубли в награжденье!»
Шибанов в ответ господину: «Добро!
Тебе здесь нужнее твое серебро,
А я передам и за муки
Письмо твое в царские руки».

Звон медный несется, гудит над Москвой;
Царь в смирной одежде трезвонит;
Зовет ли обратно он прежний покой
Иль совесть навеки хоронит?
Но часто и мерно он в колокол бьет,
И звону внимает московский народ,
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни.

В ответ властелину гудят терема,
Звонит с ним и Вяземский лютый,

Звонит всей опричнини кромешная тьма,
И Васька Грязной, и Малюта,
И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный богом Басманов.

Царь кончил; на жезл опираясь, идет,
И с ним всех окольных собранье.
Вдруг едет гонец, раздвигает народ,
Над шапкою держит посланье.
И спрянул с коня он поспешно долой,
К царю Иоанну подходит пешой
И молвит ему, не бледнея:
«От Курбского князя Андрея!»

И очи царя загорелися вдруг:
«Ко мне? От злодея лихого?
Читайте же, дьяки, читайте мне вслух
Посланье от слова до слова!
Подай сюда грамоту, дерзкий гонец!»
И в ногу Шибанова острый конец
Жезла своего он вонзает,
Налег на костыль — и внимает:

«Царю, прославляему древле от всех,
Но тонущу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь тяжкой войны,
Без счета твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
И кто им бысть верностью равен?

Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред судьею предстану!»
Так Курбский писал к Иоанну.

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током,
И царь на спокойное око слуги
Взирал испытующим оком.
Стоял неподвижно опричников ряд;
Был мрачен владыки загадочный взгляд,
Как будто исполнен печали;
И все в ожиданье молчали.

И молвил так царь: «Да, боярин твой прав,
И нет уж мне жизни отрадной,
Кровь добрых и сильных ногами поправ,
Я пес недостойный и смрадный!
Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,
Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в застенок!»

Пытают и мучат гонца палачи,
Друг к другу приходят на смену:
«Товарищей Курбского ты уличи,
Открой их собачью измену!»
И царь вопрошает: «Ну что же гонец?
Назвал ли он вора друзей наконец?»
«Царь, слово его все едино:
Он славит своего господина!»

День меркнет, приходит ночная пора,
Скрыпят у застенка ворота,
Заплечные входят опять мастера,
Опять зачалася работа.
«Ну, что же, назвал ли злодеев гонец?»
«Царь, близок ему уж приходит конец,
Но слово его все едино,
Он славит своего господина:

«О князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О князь, я молю, да простит тебе бог
Измену твою пред отчизной!
Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,

Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но в сердце любовь и прощенье,
Помилуй мои прегрешенья!

Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,
Прости моего господина!
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но слово мое все едино:
За грозного, боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь,
И твердо жду смерти желанной!»
Так умер Шибанов, стремянный.

1840-е годы

КНЯЗЬ МИХАЙЛО РЕПНИН

Без отдыха пирует с дружиной удалой
Иван Васильич Грозный под матушкой-Москвой.

Ковшами золотыми столов блистает ряд,
Разгульные за ними опричники сидят.

С вечерни льются вины на царские ковры,
Поют ему с полночи лихие гусляры,

Поют потехи брани, дела былых времен,
И взятие Казани, и Астрахани плен.

Но голос прежней славы царя не веселит,
Подать себе личину он кравчему велит:

«Да здравствуют тиуны, опричники мои!
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!

Себе личину, други, пусть каждый изберет,
Я первый открываю веселый хоровод,

За мной, мои тиуны, опричники мои!
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!»

И все подъяли кубки. Не поднял лишь один;
Один не поднял кубка, Михайло князь Репнин.

«О царь! Забыл ты бога, свой сан ты, царь, забыл!
Опричниной на горе престол свой окружил!

Рассыпь державным словом детей бесовских рать!
Тебе ли, властелину, здесь в ма́шкаре плясать!»

Но царь, нахмуря брови: «В уме ты, знать, ослаб
Или хмелен не в меру? Молчи, строптивый раб!

Не возражай ни слова и ма́шкару надень —
Или клянусь, что прожил ты свой последний день!»

Тут встал и поднял кубок Репнин, правдивый князь:
«Опричнина да сгинет!—он рек, перекрестясь.—

Да здравствует во веки наш православный царь!
Да правит человеки, как правил ими встарь!

Да презрит, как измену, бесстыдной лести глас!
Личины ж не надену я в мой последний час!»

Он молвил и ногами личину растоптал;
Из рук его на землю звенящий кубок пал...

«Умри же, дерзновенный!» — царь вскрикнул, разъярясь,
И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь.

И вновь подъяты кубки, ковши опять звучат,
За длинными столами опричники шумят,

И смех их раздается, и пир опять кипит,
Но звон ковшей и кубков царя не веселит:

«Убил, убил напрасно я верного слугу,
Вкушать веселье ныне я боле не могу!»

Напрасно льются вины на царские ковры,
Поют царю напрасно лихие гусляры,

Поют потехи брани, дела былых времен,
И взятие Казани, и Астрахани плен.

1840-е годы

НОЧЬ ПЕРЕД ПРИСТУПОМ

Поляки ночью темною
Пред самым Покровом,
С дружиною наемною
Сидят перед огнем.

Исполнены отвагою,
Поляки крутят ус,
Пришли они ватагою
Громить святую Русь.

И с польскою державою
Пришли из разных стран,
Пришли войной неправою
Враги на россиян.

Тут вóлохи усатые,
И угры в чекменях,
Цыгане бородатые
В косматых кожухах...

Валя толпою пегою,
Пришла за ратью рать,
С Лисовским и с Сапегою
Престол наш воевать.

И вот, махая бурками
И шпорами звеня,
Веселыми мазурками
Вкруг яркого огня

С ухватками удалыми
Несутся их ряды,
Гремя, звеня цимбалами,
Кричат, поют жиды.

Брянчат цыганки бубнами,
Наездники шумят,
Делами душегубными
Грозит их ярый взгляд.

И все стучат стаканами:
«Да здравствует Литва!»
Так возгласами пьяными
Встречают Покрова.

А там, едва заметная,
Меж сосен и дубов,
Во мгле стоит заветная
Обитель чернецов.

Монахи с верой пламенной
Во тьму вперили взор,
Вокруг твердыни каменной
Ведут ночной дозор.

Среди мечей зазубренных,
В священных стихарях,
И в панцирях изрубленных,
И в шлемах, и в тафьях,

Всю ночь они морозную
До утренней поры
Рукою держат грозною
Кресты иль топоры.

Священное их пение
Вторит высокий храм,

Железное терпение
На диво их врагам.

Не раз они пред битвою,
Презрев ночной покой,
Смиренною молитвою
Встречали день златой;

Не раз, сверкая взорами,
Они в глубокий ров
Сбивали шестопёрами
Литовских удальцов.

Ни на день в их обители
Глас божий не затих,
Блаженные святители,
В окладах золотых,

Глядят на них с любовию,
Святых ликует хор:
Они своею кровию
Литве дадут отпор!

Но чу! Там пушка грянула,
Во тьме огонь блеснул,
Рать вражая воспрянула,
Раздался трубный гул!..

Молитесь богу, братия!
Начнется скоро бой!
Я слышу их проклятия,
И гиканье, и вой;

Несчетными станицами
Идут они вдали,
Приляжем за бойницами,
Раздуем фитили!..

1840-е годы

БОГАТЫРЬ

По русскому славному царству,
На кляче разбитой верхом,
Один богатырь разъезжает
И взад, и вперед, и кругом.

Покрыт он дырявой рогожей,
Мочалы вокруг сапогов,
На брови надвинута шапка,
За пазухой пеннику штоф.

«Ко мне, горемычные люди,
Ко мне, молодцы, поскорей!
Ко мне, молодицы и девки,—
Отведайте водки моей!»

Он потчует всех без разбору,
Гроша ни с кого не берет,
Встречает его с хлебом-солью,
Честит его русский народ.

Красив ли он, стар или молод —
Никто не заметил того;
Но ссоры, болезни и голод
Плетутся за клячей его.

И кто его водки отведал,
От ней не отстанет никак,
И всадник его провожает
Услужливо в ближний кабак.

Стучат и расходятся чарки,
Трехпробное льется вино,
В кабак, до последней рубахи,
Добро мужика снесено.

Стучат и расходятся чарки,
Питейное дело растет,
Жиды богатеют, жиреют,
Беднеет, худеет народ.

Со службы домой воротился
В деревню усталый солдат;
Его угощают родные,
Вкруг штофа горелки сидят.

Приходу его они рады,
Но вот уж играет вино,
По жилам бежит и струится
И головы кружит оно.

«Да что,— говорят ему братья,—
Уж нешто ты нам и старшой?
Ведь мы-то трудились, пахали,
Не станем делиться с тобой!»

И ссора меж них закипела,
И подняли бабы содом;
Солдат их ружейным прикладом,
А братья его топором!

Сидел над картиной художник,
Он божию матерь писал,
Любил как дитя он картину,
Он ею и жил и дышал;

Вперед подвигалося дело,
Порой на него с полотна

С улыбкой святая глядела,
Его ободряла она.

Сгрустнулося раз живописцу,
Он с горя горелки хватил —
Забыл он свою мастерскую,
Свою богоматерь забыл.

Весь день он валяется пьяный
И в руки кистей не берет —
Меж тем, под рогожею, всадник
На кляче плетется вперед.

Работают в поле ребята,
И градом с них катится пот,
И им, в умилении, всадник
Орленый свой штоф отдает.

Пошла между ними потеха!
Трехпробное льется вино,
По жилам бежит и струится
И головы кружит оно.

Бросают они свои сохи,
Готовят себе кистени,
Идут на большую дорогу,
Купцов поджидают они.

Был сын у родителей бедных;
Любовью к науке влеком,
Семью он свою оставляет
И в город приходит пешком.

Он трудится денно и нощно,
Покою себе не дает,
Он терпит и голод и холод,
Но движется быстро вперед.

Однажды, в дождливую осень,
В одном переулке глухом,
Ему попадается всадник
На кляче разбитой верхом.

«Здорово, товарищ, дай руку!
Никак, ты, бедняга, продрог?
Что ж выпьем за Русь и науку!
Я сам им служу, видит бог!»

От стужи иль от голодухи
Прельстился на водку и ты —
И вот потонули в сивухе
Родные, святые мечты!

За пьянство из судной управы
Повытчика выгнали раз;
Теперь он крестьянам на сходке
Читает подложный указ.

Лукаво толкует свободу
И бочками водку сулит:
«Нет боле оброков, ни барщин;
Того-де закон не велит.

Теперь, вишь, другие порядки.
Знай пей, молодец, не тужи!
А лучше чтоб спорилось дело,
На то топоры и ножи!»

А всадник на кляче не дремлет,
Он едет и свищет в кулак;
Где кляча ударит копытом,
Там тотчас стоит и кабак.

За двести мильонов Россия
Жидами на откуп взята —
За тридцать серебряных денег
Они же купили Христа.

И много Понтийских Пилатов,
И много лукавых Иуд
Отчизну свою распинают,
Христа своего продают.

Стучат и расходятся чарки,
Рекою бушует вино,

Уносит деревни и села
И Русь затопляет оно.

Дерутся и режутся братья,
И мать дочерей продает,
Плач, песни, и вой, и проклятья —
Питейное дело растет!

И гордо на кляче гарцует
Теперь богатырь удалой;
Уж сбросил с себя он рогожу,
Он шапку сымает долой:

Гарцует оглоданный остов,
Венец на плешивом челе,
Венец из разбитых бутылок
Блестит и сверкает во мгле.

И череп безглазый смеется:
«Призванье мое свершено!
Недаром же им достается
Мое даровое вино!»

1849<?>

* * *

В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба
Грянула; с треском кругом от нее разлетелись осколки;
Он же вздрогну́л, и к народу могучие медные звуки
Вдаль потекли, негодуя, гудя и на бой созывая.

5 декабря 1855 г.

* * *

Ходит Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Шапка-то на нем во целу сажень,
Пузо-то его все в жемчуге,
Сзади-то у него раззолочено.
А и зашел бы Спесь к отцу, к матери,
Да ворота некрашены!
А и помолился б Спесь во церкви божией,
Да пол не метён!
Идет Спесь, видит: на небе радуга;
Повернул Спесь во другую сторону:
Не пригоже-де мне нагибатися!

<1856>

* * *

Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала!
Кабы можно, братцы, начать жить сначала!
Ой, кабы зимою цветы расцветали!
Кабы мы любили да не разлюбляли!
Кабы дно морское достать да измерить!
Кабы можно, братцы, красным девкам верить!
Ой, кабы все бабы были б молодицы!
Кабы в полугаре поменьше водицы!
Кабы всегда чарка доходила до рту!
Да кабы приказных по боку, да к черту!
Да кабы звенели завсегда карманы!
Да кабы нам, братцы, да свои кафтаны!
Да кабы голодный всякий день обедал!
Да батюшка б царь наш всю правду бы ведал!

<1856>

* * *

У приказных ворот собирался народ
Густо;
Говорит в простоте, что в его животе
Пусто!
«Дурачье! — сказал дьяк,— из вас должен быть всяк
В теле;
Еще в Думе вчера мы с трудом осетра
Съели!»

На базар мужик вез через реку обоз
Пакли;
Мужичок-то, вишь, прост, знай везет через мост,
Так ли?
«Вишь, дурак! — сказал дьяк,— тебе мост, чай, пустяк,
Дудки?
Ты б его поберег, ведь плыли ж поперек
Утки!»

Как у Васьки Волчка вор стянул гусака,
Вишь ты!
В полотенце свернул, да поймал караул,
Ништо!

Дьяк сказал: «Дурачье! Полотенце-то чье?
Васьки?
Стало, Васька и тать, стало, Ваське и дать
Таску!»

Пришел к дьяку больной; говорит: «Ой, ой, ой,
Дьяче!
Очень больно нутру, а уж вот поутру
Паче!
И не лечь, и не сесть, и не можно мне съесть
Столько!»
«Вишь, дурак! — сказал дьяк,— ну не ешь натощак;
Только!»

Пришел к дьяку истец, говорит: «Ты отец
Бедных;
Кабы ты мне помог — видишь денег мешок
Медных,—
Я б те всыпал, ей-ей, в шапку десять рублей,
Шутка!»
«Сыпь сейчас,— сказал дьяк, подставляя колпак,—
Ну-тка!»

<1857>

ПРАВДА

Ах ты гой еси, правда-матушка!
Велика ты, правда, широка стоишь!
Ты горами поднялась до поднебесья,
Ты степями, государыня, раскинулась,
Ты морями разлилася синими,
Городами изукрасилась людными,
Разрослася лесами дремучими!
Не объехать кругом тебя во сто лет,
Посмотреть на тебя — шапка валится!

Выезжало семеро братиев,
Семеро выезжало добрых молодцев,
Посмотреть выезжали молодцы,
Какова она, правда, на свете живет?
А и много про нее говорено,
А и много про нее писано,
А и много про нее лыгано.

Поскакали добры молодцы,
Все семеро братьев удалыих,
И подъехали к правде со семи концов,
И увидели правду со семи сторон.

Посмотрели добры молодцы,
Покачали головами удалыми

И вернулись на свою родину;
А вернувшись на свою родину,
Всяк рассказывал правду по-своему;
Кто горой называл ее высокою,
Кто городом людным торговыим,
Кто морем, кто лесом, кто степию.

И поспорили братья промеж собой,
И вымали мечи булатные,
И рубили друг друга до смерти,
И, рубяся, корились, ругалися,
И брат брата звал обманщиком.
Наконец полегли до единого
Все семеро братьев удалых;
Умирая ж, каждый сыну наказывал,
Рубитися наказывал до смерти,
Полегти за правду за истину;
То ж и сын сыну наказывал,
И доселе их внуки рубятся,
Все рубятся за правду за истину,
На великое себе разорение.

А сказана притча не в осуждение,
Не в укор сказана — в поучение,
Людям добрым в уразумение.

<1858>

СТАРИЦКИЙ ВОЕВОДА

Когда был обвинен старицкий воевода,
Что, гордый знатностью и древностию рода,
Присвоить он себе мечтает царский сан,
Предстать ему велел пред очи Иоанн.
И осужденному поднес венец богатый,
И ризою облек из жемчуга и злата,
И бармы возложил, и сам на свой престол
По шелковым коврам виновного возвел.
И, взор пред ним склонив, он пал среди палаты,
И, в землю кланяясь с покорностью трикраты,
Сказал: «Доволен будь в величии своем,
Се аз, твой раб, тебе на царстве бью челом!»
И, вспрянув тот же час со злобой беспощадной,
Он в сердце нож ему вонзил рукою жадной.
И, лик свой наклоня над сверженным врагом,
Он наступил на труп узорным сапогом
И в очи мертвые глядел, и с дрожью зыбкой
Державные уста змеилися улыбкой.

<1858>

* * *

1

— Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
Что ты изволишь в котле варить?
— Кашицу, матушка, кашицу,
Кашицу, сударыня, кашицу!

2

— Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А где ты изволил крупы достать?
— За морем, матушка, за морем,
За морем, сударыня, за морем!

3

— Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
Нешто своей крупы не было?
— Сорная, матушка, сорная,
Сорная, сударыня, сорная!

4

— Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А чем ты изволишь мешать ее?
— Палкою, матушка, палкою,
Палкою, сударыня, палкою!

5

— Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А ведь каша-то выйдет кру́тенька?
— Кру́тенька, матушка, кру́тенька,
Крутенька, сударыня, крутенька!

6

— Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А ведь каша-то выйдет со́лона?
— Со́лона, матушка, со́лона,
Со́лона, сударыня, со́лона!

7

— Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А кто ж будет ее расхлебывать?
— Детушки, матушка, детушки,
Детушки, сударыня, детушки!

<1861>

ЧУЖОЕ ГОРЕ

В лесную чащу́ богатырь при луне
Въезжает в блестящем уборе;
Он в остром шеломе, в кольчатой броне
И свистнул беспечно, бочась на коне:
«Какое мне деется горе!»

И едет он рысью, гремя и звеня,
Стучат лишь о корни копыты;
Вдруг с дуба к нему кто-то прыг на коня!
«Эй, кто за плечами там сел у меня?
Со мной, берегись, не шути ты!»

И щупает он у себя за спиной,
И шарит, с досадой во взоре;
Но внемлет ответ: «Я тебе не чужой,
Ты, чай, об усобице слышал княжой,
Везешь Ярослава ты горе!»

«Ну, ври себе! — думает витязь, смеясь,—
Вот, подлинно, было бы диво!
Какая твоя с Ярославом-то связь?
В Софийском соборе спит киевский князь,
А горе небось его живо?»

Но дале он едет, гремя и звеня,
С товарищем боле не споря;
Вдруг снова к нему кто-то прыг на коня
И на ухо шепчет: «Вези ж и меня,
Я, витязь, татарское горе!»

«Ну, видно, не в добрый я выехал час!
Вишь, притча какая бывает!
Что шишек еловых здесь падает вас!»
Так думает витязь, главою склонясь,
А конь уже шагом шагает.

Но вот и ступать уж ему тяжело,
И стал спотыкаться он вскоре,
А тут кто-то сызнова прыг за седло!
«Какого там черта еще принесло?»
«Ивана Васильича горе!»

«Долой вас! И места уж нет за седлом!
Плеча мне совсем отдавило!»
«Нет, витязь, уж сели, долой не сойдем!»
И едут они на коне вчетвером,
И ломится конская сила.

«Эх,— думает витязь,— мне б из лесу вон
Да в поле скакать на просторе!
И как я без боя попался в полон?
Чужое, вишь, горе тащить осужден,
Чужое, прошедшее горе!»

<1866>

ПАНТЕЛЕЙ-ЦЕЛИТЕЛЬ

Пантелей-государь ходит по полю,
И цветов и травы ему по пояс,
И все травы пред ним расступаются,
И цветы все ему поклоняются.
И он знает их силы сокрытые,
Все благие и все ядовитые,
И всем добрым он травам, невредныим,
Отвечает поклоном приветныим,
А которы растут виноватые,
Тем он палкой грозит суковатою.

По листочку с благих собирает он,
И мешок ими свой наполняет он,
И на хворую братию бедную
Из них зелие варит целебное.
Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей,
Свой чудесный елей
В наши раны излей,

В наши многие раны сердечные;
Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжко болящие,
Есть глухие, немые, незрящие,

Опоенные злыми отравами,—
Помоги им своими ты травами!

А еще, государь,—
Чего не было встарь —
И такие меж нас попадаются,
Что лечением всяким гнушаются.
Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товара базарного!
Всё, чего им не взвесить, не смеряти,
Всё, кричат они, надо похерити;
Только то, говорят, и действительно,
Что для нашего тела чувствительно;
И приемы у них дубоватые,
И ученье-то их грязноватое,
И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей,
Суковатыя!

Февраль 1866 г.

ЗМЕЙ ТУГАРИН

1

Над светлым Днепром, средь могучих бояр,
Близ стольного Киева-града,
Пирует Владимир, с ним молод и стар,
И слышен далеко звон кованых чар —
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

2

И молвит Владимир: «Что ж нету певцов?
Без них мне и пир не отрада!»
И вот незнакомый из дальних рядов
Певец выступает на княжеский зов —
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

3

Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед,
И ахнул от ужаса русский народ:
«Ой рожа, ой страшная рожа!»

4

И начал он петь на неведомый лад:
«Владычество смелым награда!
Ты, княже, могуч и казною богат,
И помнит ладьи твои дальний Царьград —
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

5

Но род твой не вечно судьбою храним,
Настанет тяжелое время,
Обнимут твой Киев и пламя и дым,
И внуки твои будут внукам моим
Держать золоченое стремя!»

6

И вспыхнул Владимир при слове таком,
В очах загорелась досада —
Но вдруг засмеялся — и хохот кругом
В рядах прокатился, как по небу гром,—
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

7

Смеется Владимир, и с ним сыновья,
Смеется, потупясь, княгиня,
Смеются бояре, смеются князья,
Удалый Попович, и старый Илья,
И смелый Никитич Добрыня.

8

Певец продолжает: «Смешна моя весть
И вашему уху обидна?
Кто мог бы из вас оскорбление снесть?
Бесценное русским сокровище честь,
Их клятва: „Да будет мне стыдно!"

9

На вече народном вершится их суд,
Обиды смывает с них поле —
Но дни, погодите, иные придут,
И честь, государи, заменит вам кнут,
А вече — каганская воля!»

10

«Стой! — молвит Илья,— твой хоть голос и чист,
Да песня твоя не пригожа!
Был вор Соловей, как и ты, голосист,
Да я пятерней приглушил его свист —
С тобой не случилось бы то же!»

11

Певец продолжает: «И время придет,
Уступит наш хан христианам,
И снова подымется русский народ,
И землю единый из вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом!

12

И в тереме будет сидеть он своем,
Подобен кумиру средь храма,
И будет он спины вам бить батожьем,
А вы ему стукать да стукать челом —
Ой срама, ой горького срама!»

13

«Стой! — молвит Попович,— хоть дюжий твой рост,
Но слушай, поганая рожа:
Зашла раз корова к отцу на погост,
Махнул я ее через крышу за хвост —
Тебе не было́ бы того же!»

14

Но тот продолжает, осклабивши пасть:
«Обычай вы наш переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!

15

И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: „Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!"»

16

«Стой! — молвит, поднявшись, Добрыня,— не смей
Пророчить такого нам горя!
Тебя я узнал из негодных речей:
Ты старый Тугарин, поганый тот змей,
Приплывший от Черного моря!

17

На крыльях бумажных, ночною порой,
Ты часто вкруг Киева-града
Летал и шипел, но тебя не впервой
Попотчую я калено́ю стрелой —
Ой ладо, ой ладушки-ладо!»

18

И начал Добрыня натягивать лук,
И вот, на потеху народу,
Струны богатырской послышавши звук,
Во змея певец перекинулся вдруг
И с шипом бросается в воду.

19

«Тьфу, гадина! — молвил Владимир и нос
Зажал от несносного смрада,—
Чего уж он в скаредной песни не нес,
Но, благо, удрал от Добрынюшки, пес,—
Ой ладо, ой ладушки-ладо!»

20

А змей, по Днепру расстилаясь, плывет,
И, смехом преследуя гада,
По нем улюлюкает русский народ:
«Чай, песни теперь уже нам не споет —
Ой ладо, ой ладушки-ладо!»

21

Смеется Владимир: «Вишь, выдумал нам
Каким угрожать он позором!
Чтоб мы от Тугарина приняли срам!
Чтоб спины подставили мы батогам!
Чтоб мы повернулись к обдорам!

22

Нет, шутишь! Живет наша русская Русь!
Татарской нам Руси не надо!
Солгал он, солгал, перелетный он гусь,
За честь нашей родины я не боюсь —
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

23

А если б над нею беда и стряслась,
Потомки беду перемогут!
Бывает,— примолвил свет-солнышко-князь,—
Неволя заставит пройти через грязь —
Купаться в ней свиньи лишь могут!

24

Подайте ж мне чару большую мою,
Ту чару, добытую в сече,
Добытую с ханом хозарским в бою,—
За русский обычай до дна ее пью,
За древнее русское вече!

25

За вольный, за честный славянский народ!
За колокол пью Новаграда!
И если он даже и в прах упадет,
Пусть звон его в сердце потомков живет —
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

26

Я пью за варягов, за дедов лихих,
Кем русская сила подъята,
Кем славен наш Киев, кем грек приутих,
За синее море, которое их,
Шумя, принесло от заката!»

27

И выпил Владимир — и разом кругом,
Как плеск лебединого стада,
Как летом из тучи ударивший гром,
Народ отвечает: «За князя мы пьем!
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

28

Да правит по-русски он русский народ,
А хана нам даром не надо!
И если настанет година невзгод,
Мы верим, что Русь их победно пройдет,—
Ой ладо, ой ладушки-ладо!»

29

Пирует Владимир со светлым лицом,
В груди богатырской отрада,
Он верит: победно мы горе пройдем,
И весело слышать ему над Днепром:
«Ой ладо, ой ладушки-ладо!»

30

Пирует с Владимиром сила бояр,
Пируют посадники града,
Пирует весь Киев, и молод и стар,
И слышен далеко звон кованых чар —
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

Вторая половина 1867 г.

ПЕСНЯ О ГАРАЛЬДЕ И ЯРОСЛАВНЕ

1

Гаральд в боевое садится седло,
Покинул он Киев державный,
Вздыхает дорогою он тяжело:
«Звезда ты моя, Ярославна!

2

Надежд навсегда миновала пора!
Твой слышал, княжна, приговор я!
Узнают же вес моего топора
От края до края поморья!»

3

И Русь оставляет Гаральд за собой,
Плывет он размыкивать горе
Туда, где арабы с норманнами бой
Ведут на земле и на море.

4

В Мессине он им показал свой напор,
Он рубит их в битве неравной
И громко взывает, подъемля топор:
«Звезда ты моя, Ярославна!»

5

Дает себя знать он и грекам в бою,
И Генуи выходцам вольным,
Он на море бьется, ладья о ладью,
Но мысль его в Киеве стольном.

6

Летает он по морю сизым орлом,
Он чайкою в бурях пирует,
Трещат корабли под его топором —
По Киеву сердце тоскует.

7

Веселая то для дружины пора,
Гаральдовой славе нет равной —
Но в мысли спокойные воды Днепра,
Но в сердце княжна Ярославна.

8

Нет, видно ему не забыть уж о ней,
Не вымучить счастья иного —
И круто он бег повернул кораблей
И к северу гонит их снова.

9

Он на берег вышел, он сел на коня,
Он в зелени едет дубравной —

«Полюбишь ли, девица, ныне меня,
Звезда ты моя, Ярославна?»

10

И в Киев он стольный въезжает, крестясь;
Там, гостя радушно встречая,
Выходит из терема ласковый князь,
А с ним и княжна молодая.

11

«Здорово, Гаральд! Расскажи, из какой
На Русь воротился ты дали?
Замешкался долго в земле ты чужой,
Давно мы тебя не видали!»

12

«Я, княже, уехал, любви не стяжав,
Уехал безвестный и бедный;
Но ныне к тебе, государь Ярослав,
Вернулся я в славе победной!

13

Я город Мессину в разор разорил,
Разграбил поморье Царьграда,
Ладьи жемчуго́м по края нагрузил,
А тканей и мерить не надо!

14

Ко древним Афинам, как ворон, молва
Неслась пред ладьями моими.
На мраморной лапе пирейского льва
Мечом я насек мое имя!

15

Прибрежья, где черный мой стяг прошумел,
Сикилия, Понт и Эллада,
Вовек не забудут Гаральдовых дел,
Набегов Гаральда Гардрада!

16

Как вихорь обмел я окрайны морей,
Нигде моей славе нет равной!
Согласна ли ныне назваться моей,
Звезда ты моя, Ярославна?»

17

В Норвегии праздник веселый идет:
Весною, при плеске народа,
В ту пору, как алый шиповник цветет,
Вернулся Гаральд из похода.

18

Цветами его корабли обвиты,
От сеч отдыхают варяги,
Червленые берег покрыли щиты
И с черными вранами стяги.

19

В ладьях отовсюду к шатрам парчевым
Причалили вещие скальды
И славят на арфах, один за другим,
Возврат удалого Гаральда.

20

А сам он у моря, с веселым лицом,
В хламиде и в светлой короне,

Норвежским избранный от всех королем,
Сидит на возвышенном троне.

21

Отборных и гридней и отроков рой
Властителю служит уставно;
В царьградском наряде, в короне златой,
С ним рядом сидит Ярославна.

22

И, к ней обращаясь, Гаральд говорит,
С любовью в сияющем взоре:
«Все, что пред тобою цветет и блестит,
И берег, и синее море,

23

Цветами убранные те корабли,
И грозные замков твердыни,
И людные веси норвежской земли,
И всё, чем владею я ныне,

24

И слава, добытая в долгой борьбе,
И самый венец мой державный,
И все, чем я бранной обязан судьбе,—
Все то я добыл лишь на вено тебе,
Звезда ты моя, Ярославна!»

Январь — февраль 1869 г.

ТРИ ПОБОИЩА

1

Ярились под Киевом волны Днепра,
За тучами тучи летели,
Гроза бушевала всю ночь до утра —
Княгиня вскочила с постели;

2

Вскочила княгиня в испуге от сна,
Волос не заплетши, умылась,
Пришла к Изяславу, от страха бледна:
«Мне, княже, недоброе снилось!

3

Мне снилось: от берега норской земли,
Где плещут варяжские волны,
На саксов готовятся плыть корабли,
Варяжскими гриднями полны.

4

То сват наш Гаральд собирается плыть —
Храни его бог от напасти! —
Мне виделось: воронов черная нить
Уселася с криком на снасти.

5

И бабище будто на камне сидит,
Считает суда и смеется:
„Плывите, плывите! — она говорит,—
Домой ни одно не вернется!

6

Гаральда-варяга в Британии ждет
Саксонец-Гаральд, его тезка;
Червонного меду он вам поднесет
И спать вас уложит он жестко!"

7

И дале мне снилось: у берега там,
У норской у пристани главной,
Сидит, волоса раскидав по плечам,
Золовка сидит Ярославна.

8

Глядит, как уходят в туман паруса
С Гаральдовой силою ратной,
И плачет, и рвет на себе волоса,
И кличет Гаральда обратно...

9

Проснулася я — и доселе вдали
Все карканье воронов внемлю —
Прошу тебя, княже, скорее пошли
Проведать в ту норскую землю!»

10

И только княгиня домолвила речь,
Невестка их, Гида, вбежала;
Жемчужная бармица падает с плеч,
Забыла надеть покрывало.

11

«Князь-батюшка-деверь, испугана я,
Когда бы беды не случилось!
Княгиня-невестушка, лебедь моя,
Мне ночесь недоброе снилось!

12

Мне снилось: от берега франкской земли,
Где плещут нормандские волны,
На саксов готовятся плыть корабли,
Нормандии рыцарей полны.

13

То князь их Вильгельм собирается плыть —
Я будто слова его внемлю,—
Он хочет отца моего погубить,
Присвоить себе его землю!

14

И бабище злое бодрит его рать,
И молвит: „Я воронов стаю
Прикликаю саксов заутра клевать,
И ветру я вам намахаю!"

15

И пологом стала махать на суда,
На каждом ветрило надулось,
И двинулась всех кораблей череда —
И тут я в испуге проснулась».

16

И только лишь Гида домолвила речь,
Бежит, запыхаяся, гриден:

«Бери, государь, поскорее свой меч,
Нам ворог под Киевом виден!

17

На вышке я там, за рекою, стоял,
Стоял на слуху́ я, на страже,
Я многие тысячи их насчитал:
То половцы близятся, княже!»

18

На бой Изяслав созывает сынов,
Он братьев скликает на сечу,
Он трубит к дружине — ему не до снов —
Он половцам едет навстречу.

19

По синему морю клубится туман,
Всю даль облака застилают,
Из разных слетаются во́роны стран,
Друг друга, кружась, вопрошают:

20

«Откуда летишь ты? поведай-ка нам!»
«Лечу я от города Йорка!
На битву обоих Гаральдов я там
Смотрел из подне́бесья зорко:

21

Был целою выше варяг головой,
Чернела как туча кольчуга,
Свистел его в саксах топор боевой,
Как в листьях осенняя вьюга;

22

Копнами валил он тела на тела,
Кровь до моря с поля струилась —
Пока, провизжав, не примчалась стрела
И в горло ему не вонзилась.

23

Упал он, почуя предсмертную тьму,
Упал он как пьяный на брашно;
Хотел я спуститься на темя ему,
Но очи глядели так страшно!

24

И долго над местом кружился я тем,
И поздней дождался я ночи,
И сел я варягу Гаральду на шлем
И выклевал грозные очи!»

25

По синему морю клубится туман,
Слетается воронов боле:
«Откуда летишь ты?» — «Я, кровию пьян,
Лечу от Гастингского поля!

26

Не стало у саксов вчера короля,
Лежит меж своих он, убитый,
Пирует норманн, его землю деля,
И мы пировали там сыто!

27

Победно от Йорка шла сакская рать,
Теперь они смирны и тихи,

И труп их Гаральда не могут сыскать
Меж трупов бродящие мнихи.

28

Но сметил я место, где наземь он пал,
И битва когда отшумела,
И месяц как щит над побоищем встал,
Я сел на Гаральдово тело;

29

Недвижные были черты хороши,
Нахмурены гордые брови —
Любуясь на них, я до жадной души
Напился Гаральдовой крови!»

30

По синему морю клубится туман,
Всю даль облака застилают,
Из разных слетаются во́роны стран,
Друг друга, кружась, вопрошают:

31

«Откуда летишь ты?» — «Из русской земли!
Я был на пиру в Заднепровье;
Там все Изяслава полки полегли,
Все поле упитано кровью!

32

С рассветом на половцев князь Изяслав
Там выехал, грозен и злобен,
Свой меч двоеручный высоко подъяв,
Святому Георгью подобен;

33

Но к ночи, руками за гриву держась,
Конем увлекаемый с бою,
Уж по полю мчался израненный князь,
С закинутой навзничь главою;

34

И, каркая, долго летел я над ним
И ждал, чтоб он наземь свалился,
Но был он, должно быть, судьбою храним
Иль богу, скача, помолился;

35

Упал лишь над самым Днепром он с коня,
В ладью рыбаки его взяли,
А я полетел, неудачу кляня,
Туда, где другие лежали».

36

Поют во Софийском соборе попы,
По князе идет панихида,
Рыдает княгиня средь плача толпы,
Рыдает Гаральдовна Гида,

37

И с ними другого Гаральда вдова
Рыдает, стеня, Ярославна,
Рыдает: «О, горе! зачем я жива,
Коль сгинул Гаральд мой державный!»

38

И Гида рыдает: «О, горе! убит
Отец мой, норманном сраженный!

В плену его веси, и взяты на щит
Саксонские девы и жены!»

39

Княгиня рыдает: «О князь Изяслав!
В неравном посечен ты споре!
Победы обычной в бою не стяжав,
Погиб ты, о, горе, о, горе!»

40

Печерские иноки, выстроясь в ряд,
Протяжно поют: аллилуйя!
А братья княжие друг друга корят,
И жадные во́роны с кровель глядят,
Усобицу близкую чуя...

Февраль — март 1869 г.

ПЕСНЯ О ПОХОДЕ ВЛАДИМИРА НА КОРСУНЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

«Добро,— сказал князь, когда выслушал он
Улики царьградского мниха,—
Тобою, отец, я теперь убежден,
Виновен, что мужем был стольких я жен,
Что жил и беспутно и лихо.

2

Что богом мне был то Перун, то Велес,
Что силою взял я Рогнеду,
Досель надо мною, знать, тешился бес,
Но мрак ты рассеял, и я в Херсонес
Креститься, в раскаянье, еду!»

3

Царьградский философ и мних тому рад,
Что хочет Владимир креститься;
«Смотри ж,— говорит,— для небесных наград,
Чтоб в райский, по смерти, войти вертоград,
Ты должен душою смириться!»

4

«Смирюсь,— говорит ему князь,— я готов —
Но только смирюсь без урону!
Спустить в Черторой десять сотен стругов;
Коль выкуп добуду с корсунских купцов,
Я города пальцем не трону!»

5

Готовы стругѝ, паруса подняты,
Плывут к Херсонесу варяги,
Поморье, где южные рдеют цветы,
Червленые вскоре покрыли щиты
И с русскими вранами стяги.

6

И князь повещает корсунцам: «Я здесь!
Сдавайтесь, прошу вас смиренно,
Не то, не взыщите, собью вашу спесь
И город по камням размыкаю весь —
Креститься хочу непременно!»

7

Увидели греки в заливе суда,
У стен уж дружина толпится,
Пошли толковать и туда и сюда:
«Настала, как есть, христианам беда,
Приехал Владимир креститься!

8

И прений-то с нами не станет держать,
В риторике он ни бельмеса,
А просто обложит нас русская рать
И будет, пожалуй, три года стоять
Да грабить края Херсонеса!»

9

И в мудрости тотчас решает сенат,
Чтоб русским отверзлись ворота;
Владимир приему радушному рад,
Вступает с дружиной в испуганный град
И молвит сенату: «Ну, то-то!»

10

И шлет в Византию послов ко двору:
«Цари Константин да Василий!
Смиренно я сватаю вашу сестру,
Не то вас обоих дружиной припру.
Так вступим в родство без насилий!»

11

И вот императоры держат совет,
Толкуют в палате престольной:
Им плохо пришлося, им выбора нет —
Владимиру шлют поскорее ответ:
«Мы очень тобою довольны!

12

Крестися и к нам приезжай в добрый час,
Тебя повенчаем мы с Анной!»
Но он к императорам: «Вот тебе раз!
Вы шутите, что ли? Такая от вас
Мне отповедь кажется странна!

13

К вам ехать отсюда какая мне стать?
Чего не видал я в Царьграде?
Царевну намерен я здесь ожидать —
Не то приведу я вам целую рать,
Коль видеть меня вы так рады!»

14

Что делать с Владимиром: вынь да положь!
Креститься хочу да жениться!
Не лезть же царям, в самом деле, на нож?
Пожали плечами и молвят: «Ну что ж?
Приходится ехать, сестрица!»

15

Корабль для нее снаряжают скорей,
Узорные ладят ветрила,
Со причтом на палубе ждет архирей,
Сверкает на солнце парча стихарей,
Звенят и дымятся кадила.

16

В печали великой по всходне крутой
Царевна взошла молодая,
Прислужницы деву накрыли фатой —
И волны запенил корабль золотой,
Босфора лазурь рассекая.

17

Увидел Владимир вдали паруса
И хмурые брови раздвинул,
Почуялась сердцу невесты краса,
Он гребнем свои расчесал волоса
И корзно княжое накинул.

18

На пристань он сходит царевну встречать,
И лик его светел и весел,
За ним вся корсунская следует знать,
И руку спешит он царевне подать,
И в пояс поклон ей отвесил.

19

И шествуют рядом друг с другом они,
В одеждах блестящих и длинных,
Каменья оплечий горят как огни,
Идут под навесом шелко́вым, в тени,
К собору, вдоль улиц старинных.

20

И молвит, там голову князь преклоня:
«Клянуся я в вашем синклите
Дружить Византии от этого дня!
Крестите ж, отцы-иереи, меня,
Да, чур, по уставу крестите!»

21

Свершился в соборе крещенья обряд,
Свершился обряд обвенчанья,
Идет со княгиней Владимир назад,
Вдоль улиц старинных, до светлых палат,
Кругом их толпы ликованье.

22

Сидят за честны́м они рядом столом,
И вот, когда звон отзвонили,
Владимир взял чашу с хиосским вином:
«Хочу, чтоб меня поминали добром
Шурья Константин да Василий:

23

То правда ль, я слышал, замкнули Босфор
Дружины какого-то Фоки?»
«Воистину правда!» — ответствует двор.
«Но кто ж этот Фока?» — «Мятежник и вор!»
«Отделать его на все боки!»

24

Отделали русские Фоку как раз;
Цари Константин и Василий
По целой империи пишут приказ:
«Владимир-де нас от погибели спас —
Его чтоб все люди честили!»

25

И князь говорит: «Я построю вам храм
На память, что здесь я крестился,
А город Корсунь возвращаю я вам
И выкуп обратно всецело отдам —
Зане я душою смирился!»

26

Застольный гремит, заливаяся, хор,
Шипучие пенятся вина,
Веселием блещет Владимира взор,
И строить готовится новый собор
Крещеная с князем дружина.

27

Привозится яшма водой и гужом,
И мрамор привозится белый,
И быстро господень возносится дом,
И ярко на поле горят золотом
Иконы мусийского дела.

28

И взапуски князя синклит и сенат,
И сколько там греков ни сталось,
Всю зиму пирами честят да честят,
Но молвит Владимир: «Пора мне назад,
По Киеве мне встосковалось!

29

Вы, отроки-други, спускайте ладьи,
Трубите дружине к отбою!
Кленовые весла берите свои —
Уж в Киеве, чаю, поют соловьи
И в рощах запахло весною!

30

Весна, мне неведомых полная сил,
И в сердце моем зеленеет!
Что нудою я и насильем добыл,
Чем сам овладеть я оружием мнил,
То мною всесильно владеет!

31

Спускайте ж ладьи, бо и ночью и днем
Я гласу немолчному внемлю:
Велит он в краю нам не мешкать чужом,
Да свет, озаряющий нас, мы внесем
Торжественно в русскую землю!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

По лону днепровских сияющих вод,
Где, празднуя жизни отраду,
Весной все гремит, и цветет, и поет,
Владимир с дружиной обратно плывет
Ко стольному Киеву-граду.

2

Все звонкое птаство летает кругом,
Ликуючи в тысячу глоток,

А князь многодумным поникнул челом,
Свершился в могучей душе перелом —
И взор его мирен и кроток.

3

Забыла княгиня и слезы и страх;
Одеждой алмазной блистая,
Глядит она с юным весельем в очах,
Как много пестреет цветов в камышах,
Как плещется лебедей стая.

4

Как рощи навстречу несутся ладьям,
Как берег проносится мимо,
И, лик наклоняя к зеркальным водам,
Глядит, как ее отражается там
Из камней цветных диадима.

5

Великое слово корсунцам храня,
Князь не́ взял с них денег повинных,
Но город поднес ему, в честь того дня,
Из бронзы коринфской четыре коня
И статуй немало старинных.

6

И кони, и белые статуи тут,
Над поездом выся громаду,
Стоймя на ладьях, неподвижны, плывут,
И волны Днепра их, дивуясь, несут
Ко стольному Киеву-граду.

7

Плывет и священства и дьяконства хор
С ладьею Владимира рядом;

Для Киева синий покинув Босфор,
Они оглашают днепровский простор
Уставным демественным ладом.

8

Когда ж умолкает священный канон,
Запев зачинают дружины,
И с разных кругом раздаются сторон
Заветные песни минувших времен
И дней богатырских былины.

9

Так вверх по Днепру, по широкой реке,
Плывут их ладей вереницы,
И вот перед ними, по левой руке,
Все выше и выше растет вдалеке
Град Киев с горой Щековицей.

10

Владимир с княжого седалища встал,
Прервалось весельщиков пенье,
И миг тишины и молчанья настал —
И князю, в сознании новых начал,
Открылося новое зренье:

11

Как сон, вся минувшая жизнь пронеслась,
Почуялась правда господня,
И брызнули слезы впервые из глаз,
И мнится Владимиру: в первый он раз
Свой город увидел сегодня.

12

Народ, издалёка их поезд узнав,
Столпился на берег — и много,

Скитавшихся робко без крова и прав,
Пришло христиан из пещер и дубрав,
И славят спасителя бога.

13

И пал на дружину Владимира взор:
«Вам, други, доселе со мною
Стяжали победы лишь меч да топор,
Но время настало, и мы с этих пор
Сильны еще силой иною!

14

Что́ смутно в душе мне сказалось моей,
То ясно вы ныне познайте:
Дни правды дороже воинственных дней!
Гребите же, други, гребите сильней,
На весла дружней налегайте!»

15

Вскипела, под полозом пенясь, вода,
Отхлынув, о берег забила,
Стянулася быстро ладей череда,
Передние в пристань вбежали суда,
И с шумом упали ветрила.

16

И на берег вышел, душой возрожден,
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внес он закон —
— Дела стародавних, далеких времен,
Преданья невянущей славы!

Март — апрель 1869 г.

ГАКОН СЛЕПОЙ

1

«В деснице жива еще прежняя мочь,
И крепки по-прежнему плечи;
Но очи одела мне вечная ночь —
Кто хочет мне, други, рубиться помочь?
Вы слышите крики далече?
Схватите ж скорей за поводья коня,
Помчите меня
В кипение сечи!»

2

И отроки с двух его взяли сторон,
И, полный безумного гнева,
Слепой между ними помчался Гакон
И врезался в сечу, и, ей опьянен,
Он рубит средь гула и рева
И валит ряды, как в лесу бурелом,
Крестит топором
И вправо и влево.

3

Но гуще и гуще все свалка кипит,
Враги не жалеют урона,

Отрезан Гакон и от русских отбит,
И, видя то, князь Ярослав говорит:
«Нужна свояку оборона!
Вишь, вражья его как осыпала рать!
Пора выручать
Слепого Гакона!»

4

И с новой напер на врагов он толпой,
Просек через свалку дорогу,
Но вот на него налетает слепой,
Топор свой подъявши. «Да стой же ты, стой!
Никак, ошалел он, ей-богу!
Ведь был ты без нас бы иссечен и стерт,
Что ж рубишь ты, черт,
Свою же подмогу?»

5

Но тот расходился, не внемлет словам,
Удар за ударом он садит,
Молотит по русским щитам и броням,
Дробит и сечет шишаки пополам,
Никто с разъяренным не сладит.
Насилу опомнился старый боец,
Утих наконец
И бороду гладит.

6

Дружина вздохнула, врагов разогнав;
Побито, посечено вволю,
Лежат перемешаны прав и неправ,
И смотрит с печалию князь Ярослав
На злую товарищей долю;
И едет он шагом, сняв острый шелом,
С Гаконом вдвоем,
По бранному полю...

Декабрь 1869 или январь 1870 г.

РОМАН ГАЛИЦКИЙ

К Роману Мстиславичу в Галич послом
Прислал папа римский легата.
И вот над Днестром, среди светлых хором,
В венце из царьградского злата,
Князь слушает, сидя, посольскую речь,
Глаза опустив, опершися на меч.

И молвит легат: «Далеко́ ты,
О княже, прославлен за доблесть свою!
Ты в русском краю
Как солнце на всех изливаешь щедроты,
Врагам ты в бою
Являешься божиим громом;
Могучей рукой ты Царьград поддержал,
В земле половецкой не раз испивал
От синего Дона шеломом;
Ты храбр аки тур и сердит аки рысь —
Но ждет тебя бо́льшая слава:
Лишь римскому папе душой покорись,
Святое признай его право!
Он может по воле решить и вязать,
На дом он на твой призовет благодать,
На недругов божье проклятье!
Прими ж от него королевскую власть,

К стопам его пасть
Спеши — и тебе он отверзет объятья,
И, сыном коль будешь его нареком,
Тебя опояшет духовным мечом!»

Замолк. И, лукавую выслушав речь,
Роман на свой меч
Взглянул, и его вполовину
Он выдвинул вон из нарядных ножон:
«Скажи своему господину:
Когда так духовным мечом он силен,
То он и хвалить его волен;
Но пусть он владеет по-прежнему им,
А я вот и этим железным своим
Доволен!
А впрочем, за ласку к Червонной Руси
Поклон ему наш отнеси!»

Начало 1870 г.

БОРИВОЙ

ПОМОРСКОЕ СКАЗАНИЕ

1

К делу церкви сердцем рьяный,
Папа шлет в Роскильду слово
И поход на бодричаны
Проповедует крестовый:

2

«Встаньте! Вас теснят не в меру
Те язычники лихие,
Подымайте стяг за веру,—
Отпускаю вам грехи я.

3

Генрик Лев на бой великий
Уж поднялся, мною званый,
Он идет от Брунзовика
Грянуть с тылу в бодричаны.

4

Все, кто в этом деле сгинет,
Кто падет под знаком крестным,
Прежде чем их кровь остынет,—
Будут в царствии небесном».

5

И лишь зов проникнул в дони,
Первый встал епископ Эрик;
С ним монахи, вздевши брони,
Собираются на берег.

6

Дале Свен пришел, сын Нилса,
В шишаке своем крылатом;
С ним же вместе ополчился
Викинг Кнут, сверкая златом;

7

Оба царственного рода,
За престол тягались оба,
Но для славного похода
Прервана меж ними злоба.

8

И, как птиц приморских стая,
Много панцирного люду,
И грохоча и блистая,
К ним примкнулось отовсюду.

9

Все струги, построясь рядом,
Покидают вместе берег,

И, окинув силу взглядом,
Говорит епископ Эрик:

10

«С нами бог! Склонил к нам папа
Преподобного Егорья,—
Разгромим теперь с нахрапа
Все славянское поморье!»

11

Свен же молвит: «В бранном споре
Не боюся никого я,
Лишь бы только в синем море
Нам не встретить Боривоя».

12

Но, смеясь, с кормы высокой
Молвит Кнут: «Нам нет препоны:
Боривой теперь далёко
Бьется с немцем у Арконы!»

13

И в веселии все трое,
С ними грозная дружина,
Все плывут в могучем строе
К башням города Волына.

14

Вдруг, поднявшись над кормою,
Говорит им Свен, сын Нилса:
«Мне сдалось: над той скалою
Словно лес зашевелился».

15

Кнут, вглядевшись, отвечает:
«Нет, не лес то шевелится,—
Щёгол множество кивает,
О косицу бьет косица».

16

Встал епископ торопливо,
С удивлением во взоре:
«Что мне чудится за диво:
Кони ржут на синем море!»

17

Но епископу в смятенье
Отвечает бледный инок:
«То не ржанье,— то гуденье
Боривоевых волынок».

18

И внезапно, где играют
Всплески белые прибоя,
Из-за мыса выбегают
Волнорезы Боривоя.

19

Расписными парусами
Море синее покрыто,
Развилось по ветру знамя
Из божницы Святовита,

20

Плещут весла, блещут брони,
Топоры звенят стальные,

И, как бешеные кони,
Ржут волынки боевые.

21

И, начальным правя дубом,
Сам в чешуйчатой рубахе,
Боривой кивает чубом:
«Добрый день, отцы монахи!

22

Я вернулся из Арконы,
Где поля от крови рдеют,
Но немецкие знамена
Под стенами уж не веют.

23

В клочья ту порвавши лопать,
Заплатили долг мы немцам
И пришли теперь отхлопать
Вас по бритым по гуменцам!»

24

И под всеми парусами
Он ударил им навстречу:
Сшиблись вдруг ладьи с ладьями —
И пошла меж ними сеча.

25

То взлетая над волнами,
То спускаяся в пучины,
Бок о бок сцепясь баграми,
С криком режутся дружины;

26

Брызжут искры, кровь струится,
Треск и вопль в бою сомкнутом,
До заката битва длится,—
Не сдаются Свен со Кнутом.

27

Но напрасны их усилья:
От ударов тяжкой стали
Позолоченные крылья
С шлема Свена уж упали;

28

Пронзена в жестоком споре
Кнута крепкая кольчуга,
И бросается он в море
С опрокинутого струга;

29

А епископ Эрик, в схватке
Над собой погибель чуя,
Перепрыгнул без оглядки
Из своей ладьи в чужую;

30

Голосит: «Не пожалею
На икону ничего я,
Лишь в Роскильду поскорее
Мне б уйти от Боривоя!»

31

И гребцы во страхе тоже,
Силу рук своих удвоя,

Голосят: «Спаси нас, боже,
Защити от Боривоя!»

32

«Утекай, клобучье племя! —
Боривой кричит вдогоню,—
Вам вздохнуть не давши время,
Скоро сам я буду в дони!

33

К вам средь моря иль средь суши
Проложу себе дорогу
И заране ваши души
Обрекаю Чернобогу!»

34

Худо доням вышло, худо
В этой битве знаменитой;
В этот день морские чуда
Нажрались их трупов сыто,

35

И ладей в своем просторе
Опрокинутых немало
Почервоневшее море
Вверх полозьями качало.

36

Генрик Лев, идущий смело
На Волын к потехе ратной,
Услыхав про это дело,
В Брунзовик пошел обратно.

37

И от бодричей до Ретры,
От Осны до Дубовика,
Всюду весть разносят ветры
О победе той великой.

38

Шумом полн Волын веселым,
Вкруг Перуновой божницы
Хороводным ходят колом
Дев поморских вереницы;

39

А в Роскильдовском соборе
Собираются монахи,
Восклицают: «Горе, горе!»
И молебны служат в страхе.

40

И епископ с клирной силой,
На коленях в церкви стоя,
Молит: «Боже, нас помилуй!
Защити от Боривоя!»

Лето 1870 г.

РУГЕВИТ

1

Над древними подъемляся дубами,
Он остров наш от недругов стерег;
В войну и мир равно честимый нами,
Он зорко вкруг глядел семью главами,
Наш Ругевит, непобедимый бог.

2

Курился дым ему от благовоний,
Его алтарь был зеленью обвит,
И много раз на кучах вражьих броней
У ног своих закланных видел доней
Наш грозный бог, наш славный Ругевит.

3

В годину бурь, крушенья избегая,
Шли корабли под сень его меча;
Он для своих защита был святая,
И ласточек доверчивая стая
В его брадах гнездилась, щебеча.

4

И мнили мы: «Жрецы твердят недаром,
Что если враг попрет его порог,
Он оживет, и вспыхнет взор пожаром,
И семь мечей подымет в гневе яром
Наш Ругевит, наш оскорбленный бог».

5

Так мнили мы,— но роковая сила
Уж обрекла нас участи иной;
Мы помним день: заря едва всходила,
Нежданные к нам близились ветрила,
Могучий враг на Ругу шел войной.

6

То русского шел правнук Мономаха,
Владимир шел в главе своих дружин,
На ругичан он первый шел без страха,
Король Владимир, правнук Мономаха,
Варягов князь и доней властелин.

7

Мы помним бой, где мы не устояли,
Где Яромир Владимиром разбит;
Мы помним день, где наши боги пали,
И затрещал под звоном вражьей стали,
И рухнулся на землю Ругевит.

8

Четырнадцать волов, привычных к плугу,
Дубовый вес стащить едва могли;
Рога склонив, дымяся от натугу,
Под свист бичей они его по лугу
При громких криках доней волокли.

9

И, на него взошед с крестом в деснице,
Держась за свой вонзенный в бога меч,
Епископ Свен, как вождь на колеснице,
Так от ворот разрушенной божницы
До волн морских себя заставил влечь.

10

И к берегу, рыдая, все бежали,
Мужи и старцы, женщины с детьми;
Был вой кругом. В неслыханной печали:
«Встань, Ругевит! — мы вслед ему кричали,—
Воспрянь, наш бог, и доней разгроми!»

11

Но он не встал. Где об утес громадный
Дробясь, кипит и пенится прибой,
Он с крутизны низвергнут беспощадно;
Всплеснув, валы его схватили жадно
И унесли, крутя перед собой.

12

Так поплыл прочь от нашего он края
И отомстить врагам своим не мог
Дивились мы, друг друга вопрошая:
«Где ж мощь его? Где власть его святая?
Наш Ругевит ужели был не бог?»

13

И, пробудясь от первого испугу,
Мы не нашли былой к нему любви
И разошлись в раздумии по лугу,
Сказав: «Плыви, в беде не спасший Ругу,
Дубовый бог, плыви себе, плыви!»

Лето 1870 г.

УШКУЙНИК

Одолела сила-удаль меня, молодца,
Не чужая, своя удаль богатырская!
А и в сердце тая удаль-то не вме́стится,
А и сердце-то от удали разо́рвется!

Пойду к батюшке на удаль горько плакаться,
Пойду к матушке на силу в ноги кланяться:
Отпустите свое детище дрочёное,
Новгородским-то порядкам неученое,

Отпустите поиграти игры детские:
Те ль обозы бить низо́вые, купецкие,
Ба́грить на море кораблики урманские,
Да на Волге жечь остроги басурманские!

Осень 1870 г.

ПОТОК-БОГАТЫРЬ

1

Зачинается песня от древних затей,
От веселых пиров и обедов,
И от русых от кос, и от черных кудрей,
И от тех ли от ласковых дедов,
Что с потехой охотно мешали дела;
От их времени песня теперь повела,
От того ль старорусского краю,
А чем кончится песня — не знаю.

2

У Владимира Солнышка праздник идет,
Пированье идет, ликованье,
С молодицами гридни ведут хоровод,
Гуслей звон и кимвалов бряцанье.
Молодицы что светлые звезды горят,
И под топот подошв, и под песенный лад,
Изгибаяся, ходят красиво,
Молодцы выступают на диво.

3

Но Поток-богатырь всех других превзошел:
Взглянет — искрами словно обмечет:

Повернется направо — что сизый орел,
Повернется налево — что кречет;
Подвигается мерно и взад и вперед,
То притопнет ногою, то шапкой махнет,
То вдруг станет, тряхнувши кудрями,
Пожимает на месте плечами.

4

И дивится Владимир на стройную стать,
И дивится на светлое око:
«Никому,— говорит,— на Руси не плясать
Супротив молодого Потока!»
Но уж поздно, встает со княгинею князь,
На три стороны в пояс гостям поклонясь,
Всем желает довольным остаться —
Это значит: пора расставаться.

5

И с поклонами гости уходят домой,
И Владимир княгиню уводит,
Лишь один остается Поток молодой,
Подбочася, по-прежнему ходит,
То притопнет ногою, то шапкой махнет,
Не заметил он, как отошел хоровод,
Не слыхал он Владимира ласку,
Продолжает по-прежнему пляску.

6

Вот уж месяц из-за́ лесу кажет рога,
И туманом подернулись балки,
Вот и в ступе поехала баба-яга,
И в Днепре заплескались русалки,
В Заднепровье послышался лешего вой,
По конюшням дозором пошел домовой,
На трубе ведьма пологом машет,
А Поток себе пляшет да пляшет.

7

Сквозь царьградские окна в хоромную сень
Смотрят светлые звезды, дивяся,
Как по белым стенам богатырская тень
Ходит взад и вперед, подбочася.
Перед самой зарей утомился Поток,
Под собой уже резвых не чувствует ног,
На мостницы как сноп упадает,
На полтысячи лет засыпает.

8

Много снов ему снится в полтысячи лет:
Видит славные схватки и сечи,
Красных девиц внимает радушный привет
И с боярами судит на вече;
Или видит Владимира вежливый двор,
За ковшами веселый ведет разговор,
Иль на ловле со князем гуторит,
Иль в совете настойчиво спорит.

9

Пробудился Поток на Москве на реке,
Пред собой видит терем дубовый;
Под узорным окном, в закутно́м цветнике,
Распускается розан махровый;
Полюбился Потоку красивый цветок,
И понюхать его норовится Поток,
Как в окне показалась царевна,
На Потока накинулась гневно:

10

«Шеромыжник, болван, неученый холоп!
Чтоб тебя в турий рог искривило!
Поросенок, теленок, свинья, эфиоп,
Чертов сын, неумытое рыло!

Кабы только не этот мой девичий стыд,
Что иного словца мне сказать не велит,
Я тебя, прощелыгу, нахала,
И не так бы еще обругала!»

11

Испугался Поток, не на шутку струхнул:
«Поскорей унести бы мне ноги!»
Вдруг гремят тулумбасы; идет караул,
Гонит палками встречных с дороги;
Едет царь на коне, в зипуне из парчи,
А кругом с топорами идут палачи,—
Его милость сбираются тешить,
Там кого-то рубить или вешать.

12

И во гневе за меч ухватился Поток:
«Что за хан на Руси своеволит?»
Но вдруг слышит слова: «То земной едет бог,
То отец наш казнить нас изволит!»
И на улице, сколько там было толпы,
Воеводы, бояре, монахи, попы,
Мужики, старики и старухи —
Все пред ним повалились на брюхи.

13

Удивляется притче Поток молодой:
«Если князь он, иль царь напоследок,
Что ж метут они землю пред ним бородой?
Мы честили князей, но не эдак!
Да и полно, уж вправду ли я на Руси?
От земного нас бога господь упаси!
Нам Писанием велено строго
Признавать лишь небесного бога!»

14

И пытает у встречного он молодца:
    «Где здесь, дядя, сбирается вече?»
Но на том от испугу не видно лица:
    «Чур меня,— говорит,— человече!»
И пустился бежать от Потока бегом;
У того ж голова заходила кругом,
    Он на землю как сноп упадает,
    Лет на триста еще засыпает.

15

Пробудился Поток на другой на реке,
    На какой? не припомнит преданье.
Погуляв себе взад и вперед в холодке,
    Входит он во просторное зданье,
Видит: судьи сидят, и торжественно тут
Над преступником гласный свершается суд.
    Несомненны и тяжки улики,
    Преступленья ж довольно велики:

16

Он отца отравил, пару теток убил,
    Взял подлогом чужое именье
Да двух братьев и трех дочерей задушил —
    Ожидают присяжных решенья.
И присяжные входят с довольным лицом:
«Хоть убил,— говорят,— не виновен ни в чем!»
    Тут платками им слева и справа
    Машут барыни с криками: браво!

17

И промолвил Поток: «Со присяжными суд
    Был обычен и нашему миру,
Но когда бы такой подвернулся нам шут,
    В триста кун заплатил бы он виру!»

А соседи, косясь на него, говорят:
«Вишь, какой затесался сюда ретроград!
Отсталóй он, то видно по платью,
Притеснять хочет меньшую братью!»

18

Но Поток из их слов ничего не поймет,
И в другое он здание входит;
Там какой-то аптекарь, не то патриот,
Пред толпою ученье проводит:
Что, мол, нету души, а одна только плоть
И что если и впрямь существует господь,
То он только есть вид кислорода,
Вся же суть в безначалье народа.

19

И, увидя Потока, к нему свысока
Патриот обратился сурово:
«Говори, уважаешь ли ты мужика?»
Но Поток вопрошает: «Какого?»
«Мужика вообще, что смиреньем велик!»
Но Поток говорит: «Есть мужик и мужик:
Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю!»

20

«Феодал! — закричал на него патриот,—
Знай, что только в народе спасенье!»
Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ,
Так за что ж для меня исключенье?»
Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот!
Править Русью призвáн только черный народ!
То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!»

21

Тут все подняли крик, словно дернул их бес,
Угрожают Потоку бедою.
Слышно: *почва, гуманность, коммуна, прогресс,*
И что кто-то *заеден средою.*
Меж собой вперерыв, наподобье галчат,
Все об *общем* каком-то о *деле* кричат,
И Потока с язвительным тоном
Называют *остзейским бароном.*

22

И подумал Поток: «Уж, господь борони,
Не проснулся ли слишком я рано?
Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они
Обожали московского хана,
А сегодня велят мужика обожать!
Мне сдается, такая потребность лежать
То пред тем, то пред этим на брюхе
На вчерашнем основана духе!»

23

В третий входит он дом, и объял его страх:
Видит, в длинной палате вонючей,
Все острижены вкруг, в сюртуках и в очках,
Собралися красавицы кучей.
Про какие-то женские споря права,
Совершают они, засуча рукава,
Пресловутое *общее дело:*
Потрошат чье-то мертвое тело.

24

Ужаснулся Поток, от красавиц бежит,
А они восклицают ехидно:
«Ах, какой он *пошляк*! ах, как он *неразвит*!
Современности вовсе не видно!»

Но Поток говорит, очутясь на дворе:
«То ж бывало у нас и на Лысой Горе,
Только ведьмы хоть голы и босы,
Но, по крайности, есть у них косы!»

25

И что видеть и слышать ему довелось:
И тот суд, и о боге ученье,
И в сиянье мужик, и девицы без кос —
Всё приводит его к заключенью:
«Много разных бывает на свете чудес!
Я не знаю, что значит какой-то прогресс,
Но до здравого русского веча
Вам еще, государи, далече!»

26

И так сделалось гадко и тошно ему,
Что он на́земь как сноп упадает
И под слово *прогресс*, как в чаду и дыму,
Лет на двести еще засыпает.
Пробужденья его мы теперь подождем;
Что, проснувшись, увидит, о том и споем,
А покудова он не проспится,
Наудачу нам петь не годится.

Начало 1871 г.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

1

Под броней с простым набором,
Хлеба кус жуя,
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Илья;

2

Едет бором, только слышно,
Как бряцает бронь,
Топчет папоротник пышный
Богатырский конь.

3

И ворчит Илья сердито:
«Ну, Владимир, что ж?
Посмотрю я, без Ильи-то
Как ты проживешь?

4

Двор мне, княже, твой не диво!
Не пиров держусь!

Я мужик неприхотливый,
Был бы хлеба кус!

5

Но обнес меня ты чарой
В очередь мою —
Так шагай же, мой чубарый,
Уноси Илью!

6

Без меня других довольно:
Сядут — полон стол!
Только лакомы уж больно,
Любят женский пол!

7

Все твои богатыри-то,
Значит, молодежь;
Вот без старого Ильи-то
Как ты проживешь!

8

Тем-то я их боле стóю,
Что забыл уж баб,
А как тресну булавою,
Так еще не слаб!

9

Правду молвить, для княжого
Не гожусь двора;
Погулять по свету снова
Без того пора!

10

Не терплю богатых сеней,
Мраморных тех плит;

От царьградских от курений
Голова болит!

11

Душно в Киеве, что в скрине,
Только киснет кровь!
Государыне-пустыне
Поклонюся вновь!

12

Вновь изведаю я, старый,
Волюшку мою —
Ну же, ну, шагай, чубарый,
Уноси Илью!»

13

И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать;

14

Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор.

Май <?> 1871 г.

* * *

1

Порой веселой мая
По лугу вертограда,
Среди цветов гуляя,
Сам-друг идут два лада.

2

Он в мурмолке червленой,
Каменьем корзно шито,
Тесьмою золоченой
Вкрест голени обвиты;

3

Она же, молодая,
Вся в ткани серебристой;
Звенят на ней, сверкая,
Граненые мониста,

4

Блестит венец наборный,
А хвост ее понявы,

Шурша фатой узорной,
Метет за нею травы.

5

Ей весело, невесте,
«О милый! — молвит другу,—
Не лепо ли нам вместе
В цветах идти по лугу?»

6

И взор ее он встретил,
И стан ей обнял гибкий.
«О милая! — ответил
Со страстною улыбкой,—

7

Здесь рай с тобою сущий!
Воистину все лепо!
Но этот сад цветущий
Засеют скоро репой!»

8

«Как быть такой невзгоде! —
Воскликнула невеста,—
Ужели в огороде
Для репы нету места?»

9

А он: «Моя ты лада!
Есть место репе, точно,
Но сад испортить надо
Затем, что он цветочный!»

10

Она ж к нему: «Что ж будет
С кустами медвежины,
Где каждым утром будит
Нас рокот соловьиный?»

11

«Кусты те вырвать надо
Со всеми их корнями,
Индеек здесь, о лада,
Хотят кормить червями!»

12

Подняв свои ресницы,
Спросила тут невеста:
«Ужель для этой птицы
В курятнике нет места?»

13

«Как месту-то не быти!
Но соловьев, о лада,
Скорее истребити
За бесполезность надо!»

14

«А роща, где в тени мы
Скрываемся от жара,
Ее, надеюсь, мимо
Пройдет такая кара?»

15

«Ее порубят, лада,
На здание такое,

Где б жирные говяда
Кормились на жаркое;

16

Иль даже выйдет проще,
О жизнь моя, о лада,
И будет в этой роще
Свиней пастися стадо».

17

«О друг ты мой единый! —
Спросила тут невеста,—
Ужель для той скотины
Иного нету места?»

18

«Есть много места, лада,
Но наш приют тенистый
Затем изгадить надо,
Что в нем свежо и чисто!»

19

«Но кто же люди эти,—
Воскликнула невеста,—
Хотящие, как дети,
Чужое гадить место?»

20

«Чужим они, о лада,
Не многое считают:
Когда чего им надо,
То тащут и хватают».

21

«Иль то матерьялисты,—
Невеста вновь спросила,—
У коих трубочисты
Суть выше Рафаила?»

22

«Им имена суть многи,
Мой ангел серебристый,
Они ж и демагоги,
Они ж и анархисты.

23

Толпы их все грызутся,
Лишь свой откроют форум,
И порознь все клянутся
In verba вожакорум.

24

В одном согласны все лишь:
Коль у других именье
Отымешь и разделишь,
Начнется вожделенье.

25

Весь мир желают сгладить
И тем внести равéнство,
Что всё хотят загадить
Для общего блаженства!»

26

«Поведай, шуток кроме,—
Спросила тут невеста,—

Им в сумасшедшем доме
Ужели нету места?»

27

«О свет ты мой желанный!
Душа моя ты, лада!
Уж очень им пространный
Построить дом бы надо!

28

Вопрос: каким манером
Такой им дом построить?
Дозволить инженерам —
Премного будет стоить;

29

А земству предоставить
На их же иждивенье,
То значило б оставить
Постройку без движенья!»

30

«О друг, что ж делать надо,
Чтоб не погибнуть краю?»
«Такое средство, лада,
Мне кажется, я знаю:

31

Чтоб русская держава
Спаслась от их затеи,
Повесить Станислава
Всем вожакам на шеи!

32

Тогда пойдет все гладко
И станет все на место!»
«Но это средство гадко!» —
Воскликнула невеста.

33

«Ничуть не гадко, лада,
Напротив, превосходно:
Народу без наклада,
Казне ж весьма доходно».

34

«Но это средство скверно!» —
Сказала дева в гневе.
«Но это средство верно!» —
Жених ответил деве.

35

«Как ты безнравствен, право! —
В сердцах сказала дева,—
Ступай себе направо,
А я пойду налево!»

36

И оба, вздевши длани,
Расстались рассержёны,
Она в сребристой ткани,
Он в мурмолке червленой.

37

«К чему ж твоя баллада?» —
Иная спросит дева.

— О жизнь моя, о лада,
Ей-ей, не для припева!

38

Нет, полн иного чувства,
Я верю реалистам:
Искусство для искусства
Равняю с птичьим свистом;

39

Я, новому ученью
Отдавшись без раздела,
Хочу, чтоб в песнопенье
Всегда сквозило дело.

40

Служите ж делу, струны!
Уймите праздный ропот!
Российская коммуна,
Прими мой первый опыт!

Июнь <?> 1871 г.

СВАТОВСТВО

1

По вешнему по складу
Мы песню завели,
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!

2

Поведай, песня наша,
На весь на русский край,
Что месяцев всех краше
Веселый месяц май!

3

В лесах, в полях отрада,
Все вербы расцвели —
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!

4

Затем так бодр и весел
Владимир, старый князь,

На подлокотни кресел
Сидит облокотясь.

5

И с ним, блестя нарядом,
В красе седых кудрей,
Сидит княгиня рядом
За пряжей за своей;

6

Кружась, жужжит и пляшет
Ее веретено,
Черемухою пашет
В открытое окно;

7

И тут же молодые,
Потупившие взгляд,
Две дочери княжие
За пяльцами сидят;

8

Сидят они так тихо,
И взоры в ткань ушли,
В груди ж поется лихо:
Ой ладо, лель-люли!

9

И вовсе им не шьется,
Хоть иглы изломай!
Так сильно сердце бьется
В веселый месяц май!

10

Когда ж берет из мочки
Княгиня волокно,
Украдкой обе дочки
Косятся на окно.

11

Но вот, забыв о пряже,
Княгиня молвит вдруг:
«Смотри, два гостя, княже,
Подъехали сам-друг!

12

С коней спрыгнули смело
У самого крыльца,
Узнать я не успела
Ни платья, ни лица!»

13

А князь смеется: «Знаю!
Пусть входят молодцы,
Не дальнего, чай, краю
Залетные птенцы!»

14

И вот их входит двое,
В лохмотьях и тряпьях,
С пеньковой бородою,
В пеньковых волосах;

15

Вошедши, на икону
Крестятся в красный кут,

А после по поклону
Хозяевам кладут.

16

Князь просит их садиться,
Он хитрость их проник,
Заране веселится
Обману их старик.

17

Но он обычай знает
И речь заводит сам:
«Отколе,— вопрошает,—
Пожаловали к нам?»

18

«Мы, княже-господине,
Мы с моря рыбаки,
Сейчас завязли в тине
Среди Днепра-реки!

19

Двух рыбок златоперых
Хотели мы поймать,
Да спрятались в кокорах,
Пришлося подождать!»

20

Но князь на это: «Братья,
Неправда, ей-же-ей!
Не мокры ваши платья,
И с вами нет сетей!

21

Днепра ж светлы стремнины,
Чиста его вода,
Не видано в нем тины
От веку никогда!»

22

На это гости: «Княже,
Коль мы не рыбаки,
Пожалуй, скажем глаже:
Мы брыньские стрелки!

23

Стреляем зверь да птицы
По дебрям по лесным,
А ноне две куницы
Пушистые следим;

24

Трущобой шли да дромом,
Досель удачи нет,
Но нас к твоим хоромам
Двойной приводит след!»

25

А князь на это: «Что вы!
Трущобой вы не шли,
Лохмотья ваши новы
И даже не в пыли!

26

Куниц же бьют зимою,
А ноне месяц май,

За зверью за иною
Пришли ко мне вы, чай!»

27

«Ну, княже,— молвят гости,—
Тебя не обмануть!
Так скажем уж попрости,
Кто мы такие суть:

28

Мы бедные калики,
Мы старцы-гусляры,
Но петь не горемыки,
Где только есть пиры!

29

Мы скрозь от Новаграда
Сюда с припевом шли:
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!

30

И если бы две свадьбы
Затеял ты сыграть,
Мы стали распевать бы
Да струны разбирать!»

31

«Вот это,— князь ответил,—
Другой выходит стих,
Но гуслей не заметил
При вас я никаких;

32

А что с припевом шли вы
Сквозь целый русский край,
Оно теперь не диво,
В веселый месяц май!

33

Теперь в ветвях березы
Поют и соловьи,
В лугах поют стрекозы,
В полях поют ручьи,

34

И много, в небе рея,
Поет пернатых стай —
Всех месяцев звончее
Веселый месяц май!

35

Но строй гуслярный, други,
Навряд ли вам знаком:
Вы носите кольчуги,
Вы рубитесь мечом!

36

В мешке не спрятать шила,
Вас выдал речи звук:
Пленкович ты Чурило,
А ты Степаныч Дюк!»

37

Тут с них лохмотья спали,
И, светлы как заря,

Два славные предстали
Пред ним богатыря;

38

Их бороды упали,
Смеются их уста,
Подобная едва ли
Встречалась красота.

39

Их кровь от сил избытка
Играет горячо,
Корсунская накидка
Надета на плечо;

40

Коты из аксамита
С камением цветным,
А бёрца вкрест обвиты
Обором золотным;

41

Орлиным мечут оком
Не взоры, но лучи;
На поясе широком
Крыжатые мечи.

42

С притворным со смущеньем
Глядят на них княжны,
Как будто превращеньем
И впрямь удивлены;

43

И взоры тотчас тихо
Склонили до земли,
А сердце скачет лихо:
Ой ладо, лель-люли!

44

Княгиня ж молвит: «Знала
Я это наперед,
Недаром куковала
Кукушка у ворот,

45

И снилось мне с полночи,
Что, голову подняв
И в лес уставя очи,
Наш лает волкодав!»

46

Но, вид приняв суровый,
Пришельцам молвит князь:
«Ответствуйте: почто вы
Вернулись, не спросясь?

47

Указан был отселе
Вам путь на девять лет —
Каким же делом смели
Забыть вы мой запрет?»

48

«Не будь, о княже, гневен!
Твой двор чтоб видеть вновь,

Армянских двух царевен
Отвергли мы любовь!

49

Зане твоих издавна
Мы любим дочерей!
Отдай же их, державный,
За нас, богатырей!»

50

Но, вид храня суровый,
А сам в душе смеясь:
«Мне эта весть не нова,—
Ответил старый князь.—

51

От русской я державы
Велел вам быть вдали,
А вы ко мне лукаво
На промысел пришли!

52

Но рыб чтоб вы не смели
Ловить в моем Днепру,
Все глуби я и мели
Оцепами запру!

53

Чтоб впредь вы не дерзали
Следить моих куниц,
Ограду я из стали
Поставлю круг границ;

54

Ни неводом вам боле,
Ни сетью не ловить —
Но будет в вашей воле
Добром их приманить!

55

Коль быть хотят за вами,
Никто им не мешай!
Пускай решают сами
В веселый месяц май!»

56

Услыша слово это,
С Чурилой славный Дюк
От дочек ждут ответа,
Сердец их слышен стук.

57

Что дочки им сказали —
Кто может, отгадай!
Мы слов их не слыхали
В веселый месяц май!

58

Мы слов их не слыхали,
Нам свист мешал дроздов,
Нам иволги мешали
И рокот соловьев!

59

И звонко так в болоте
Кричали журавли,

Что мы, при всей охоте,
Расслышать не могли!

60

Такая нам досада,
Расслышать не могли!
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!

Июнь <?> *1871 г.*

АЛЕША ПОПОВИЧ

1

Кто веслом так ловко правит
Через аир и купырь?
Это тот Попович славный,
Тот Алеша-богатырь!

2

За плечами видны гусли,
А в ногах червленый щит,
Супротив его царевна
Полоненная сидит.

3

Под себя поджала ножки,
Летник свой подобрала
И считает робко взмахи
Богатырского весла.

4

«Ты почто меня, Алеша,
В лодку песней заманил?

У меня жених есть дома,
Ты ж, похитчик, мне не мил!»

5

Но, смеясь, Попович молвит:
«Не похитчик я тебе!
Ты взошла своею волей,
Покорись своей судьбе!

6

Ты не первая попалась
В лодку, девица, мою:
Знаменитым птицеловом
Я слыву в моем краю!

7

Без силков и без приманок
Я не раз меж камышей
Голубых очеретянок
Песней лавливал моей!

8

Но в плену, кого поймаю,
Без нужды я не морю;
Покорися же, царевна,
Сдайся мне, богатырю!»

9

Но она к нему: «Алеша,
Тесно в лодке нам вдвоем,
Тяжела ей будет ноша,
Вместе ко дну мы пойдем!»

10

Он же к ней: «Смотри, царевна,
Видишь там, где тот откос,
Как на солнце быстро блещут
Стаи легкие стрекоз?

11

На лозу когда бы сели,
Не погнули бы лозы;
Ты же в лодке не тяжеле
Легкокрылой стрекозы».

12

И душистый гнет он аир,
И, скользя очеретом,
Стебли длинные купавок
Рвет сверкающим веслом.

13

Много певников нарядных
В лодку с берега глядит,
Но Поповичу царевна,
Озираясь, говорит:

14

«Птицелов ты беспощадный,
Иль тебе меня не жаль?
Отпусти меня на волю,
Лодку к берегу причаль!»

15

Он же, в берег упираясь
И осокою шурша,

Повторяет только: «Сдайся,
Сдайся, девица-душа!

16

Я люблю тебя, царевна,
Я хочу тебя добыть,
Вольной волей иль неволей
Ты должна меня любить».

17

Он весло свое бросает,
Гусли звонкие берет —
Дивным пением дрожащий
Огласился очерет.

18

Звуки льются, звуки тают...
То не ветер ли во ржи?
Не крылами ль задевают
Медный колокол стрижи?

19

Иль в тени журчат дубравной
Однозвучные ключи?
Иль ковшей то звон заздравный?
Иль мечи бьют о мечи?

20

Пламя ль блещет? Дождь ли льется?
Буря ль встала, пыль крутя?
Конь ли по полю несется?
Мать ли пестует дитя?

21

Или то воспоминанье,
Отголосок давних лет?
Или счастья обещанье?
Или смерти то привет?

22

Песню кто уразумеет?
Кто поймет ее слова?
Но от звуков сердце млеет
И кружится голова.

23

Их услыша, присмирели
Пташек резвые четы,
На тростник стрекозы сели,
Преклонилися цветы:

24

Погремок, пестрец, и шильник,
И болотная заря
К лодке с берега нагнулись
Слушать песнь богатыря.

25

Так с царевной по теченью
Он уносится меж трав,
И она внимает пенью,
Руку белую подняв.

26

Что внезапно в ней свершилось?
Тискованье ль улеглось?

Сокровенное ль открылось?
Невозможное ль сбылось?

27

Словно давние печали
Разошлися как туман,
Словно все преграды пали
Или были лишь обман!

28

Взором любящим невольно
В лик его она впилась,
Ей и радостно и больно,
Слезы капают из глаз.

29

Любит он иль лицемерит —
Для нее то все равно,
Этим звукам сердце верит
И дрожит, побеждено.

30

И со всех сторон их лодку
Обняла речная тишь,
И куда ни обернешься —
Только небо да камыш...

Лето 1871 г.

САДКО

1

Сидит у царя водяного Садко
И с думою смотрит печальной,
Как моря пучина над ним высоко
Синеет сквозь терем хрустальный.

2

Там ходят как тени над ним корабли,
Товарищи там его ищут,
Там берег остался цветущей земли,
Там птицы порхают и свищут;

3

А здесь на него любопытно глядит
Белуга, глазами моргая,
Иль мелкими искрами мимо бежит
Снятков серебристая стая;

4

Куда он ни взглянет, все синяя гладь,
Все воду лишь видит да воду,

И песни устал он на гуслях играть
Царю водяному в угоду.

5

А царь, улыбаясь, ему говорит:
«Садко, мое милое чадо,
Поведай, зачем так печален твой вид?
Скажи мне, чего тебе надо?

6

Кутья ли с шафраном моя не вкусна?
Блины с инбирем не жирны ли?
Аль в чем неприветна царица-жена?
Аль дочери чем досадили?

7

Смотри, как алмазы здесь ярко горят,
Как много здесь яхонтов алых!
Сокровищ ты столько нашел бы навряд
В хваленых софийских подвалах!»

8

«Ты гой еси, царь-государь водяной,
Морское пресветлое чудо!
Я много доволен твоею женой,
И мне от царевен не худо;

9

Вкусны и кутья, и блины с инбирем,
Одно, государь, мне обидно:
Куда ни посмотришь, все мокро кругом,
Сухого местечка не видно!

10

Что пользы мне в том, что сокровищ полны
Подводные эти хоромы?
Увидеть бы мне хотя б зелень сосны!
Прилечь хоть на ворох соломы!

11

Богатством своим ты меня не держи;
Все роскоши эти и неги
Я б отдал за крик перепелки во ржи,
За скрып новгородской телеги!

12

Давно так не видно мне божьего дня,
Мне запаху здесь только тина;
Хоть дегтем повеяло б раз на меня,
Хоть дымом курного овина!

13

Когда же я вспомню, что этой порой
Весна на земле расцветает,
И сам уж не знаю, что станет со мной:
За сердце вот так и хватает!

14

Теперь у нас пляски в лесу в молодом,
Забыты и стужа и слякоть —
Когда я подумаю только о том,
От грусти мне хочется плакать!

15

Теперь, чай, и птица, и всякая зверь
У нас на земле веселится;

Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь
Синеет в лесу медуница!

16

Во свежем, в зеленом, в лесу молодом
Березой душистою пахнет —
И сердце во мне, лишь помыслю о том,
С тоски изнывает и чахнет!»

17

«Садко, мое чадо, городишь ты вздор!
Земля нестерпима от зною!
Я в этом сошлюся на целый мой двор,
Всегда он согласен со мною!

18

Мой терем есть моря великого пуп;
Твой жеребий, стало быть, светел;
А ты непонятлив, несведущ и глуп,
Я это давно уж заметил!

19

Ты в думе пригоден моей заседать,
Твою возвеличу я долю
И сан водяного советника дать
Тебе непременно изволю!»

20

«Ты гой еси, царь-государь водяной!
Премного тебе я обязан,
Но почести я недостоин морской,
Уж очень к земле я привязан;

21

Бывало, не все там норовилось мне,
Не по сердцу было иное;
С тех пор же, как я очутился на дне,
Мне все стало мило земное;

22

Припомнился пес мне, и грязен и хил,
В репьях и в сору извалялся;
На пир я в ту пору на званый спешил,
А он мне под ноги попался;

23

Брюзгливо взглянув, я его отогнал,—
Ногой оттолкнул его гордо —
Вот этого пса я б теперь целовал
И в темя, и в очи, и в морду!»

24

«Садко, мое чадо, на кую ты стать
О псе вспоминаешь сегодня?
Зачем тебе грязного пса целовать?
На то мои дочки пригодней!

25

Воистину, чем бы ты им не жених?
Я вижу, хоть в ус и не дую,
Пошла за тебя бы любая из них,
Бери ж себе в жены любую!»

26

«Ты гой еси, царь-государь водяной,
Морское пресветлое чудо!

Боюся, от брака с такою женой
Не вышло б душе моей худо!

27

Не спорю, они у тебя хороши
И цвет их очей изумрудный,
Но только колючи они, как ерши,
Нам было б сожительство трудно!

28

Я тем не порочу твоих дочерей,
Но я бы не то что любую,
А всех их сейчас променял бы, ей-ей,
На первую девку рябую!»

29

«Садко, мое чадо, уж очень ты груб,
Не нравится речь мне такая;
Когда бы твою не ценил я игру б,
Ногой тебе дал бы пинка я!

30

Но печени как-то сегодня свежо,
Веселье в утробе я чую;
О свадьбе твоей потолкуем ужо,
Теперь же сыграй плясовую!»

31

Ударил Садко по струна́м трепака,
Сам к черту шлет царскую ласку,
А царь, ухмыляясь, уперся в бока,
Готовится, дрыгая, в пляску;

32

Сперва лишь на месте поводит усо́м,
Щетинистой бровью кивает,
Но вот запыхтел и надулся, как сом,
Все боле его разбирает;

33

Похаживать начал, плечьми шевеля,
Подпрыгивать мимо царицы,
Да вдруг как пойдет выводить вензеля,
Так все затряслись половицы.

34

«Ну,— мыслит Садко,— я тебя заморю!»
С досады быстрей он играет,
Но, как ни частит, водяному царю
Все более сил прибывает:

35

Пустился навыверт пятами месить,
Закидывать ногу за ногу;
Откуда взялася, подумаешь, прыть?
Глядеть индо страшно, ей-богу!

36

Бояре в испуге ползут окарачь,
Царица присела аж на пол,
Пищат-ин царевны, а царь себе вскачь
Знай чешет ногами оба́ пол.

37

То, выпятя грудь, на придворных он прет,
То, скорчившись, пятится боком,

Ломает коленца и взад и вперед,
Валяет загребом и скоком;

38

И все веселей и привольней ему,
Коленца выходят все круче —
Темнее становится все в терему,
Над морем сбираются тучи...

39

Но шибче играет Садко, осерча,
Сжав зубы и брови нахмуря,
Он злится, он дергает струны сплеча —
Вверху подымается буря...

40

Вот дальними грянул раскатами гром,
Сверкнуло в пучинном просторе,
И огненным светом зардела кругом
Глубокая празелень моря.

41

Вот крики послышались там высоко:
То гибнут пловцы с кораблями —
Отчаянней бьет пятернями Садко,
Царь бешеней месит ногами;

42

Вприсядку понес его черт ходуном,
Он фыркает, пышет и дует:
Гремит плясовая, колеблется дом,
И море ревет и бушует...

43

И вот пузыри от подстенья пошли,
Садко уже видит сквозь стены:
Разбитые ко дну летят корабли,
Крутяся средь ила и пены;

44

Он видит: моряк не один потонул,
В нем сердце исполнилось жали,
Он сильною хваткой за струны рванул —
И, лопнув, они завизжали.

45

Споткнувшись, на месте стал царь водяной,
Ногою подъятой болтая:
«Никак, подшутил ты, Садко, надо мной?
Противна мне шутка такая!

46

Не в пору, невежа, ты струны порвал,
Как раз когда я расплясался!
Такого колена никто не видал,
Какое я дать собирался!

47

Зачем здоровее ты струн не припас?
Как буду теперь без музыки?
Аль ты, неумытый, плясать в сухопляс
Велишь мне, царю и владыке?»

48

И плесом чешуйным в потылицу царь
Хватил его, ярости полный,
И вот завертелся Садко как кубарь,
И вверх понесли его волны...

49

Сидит в Новеграде Садко невредим,
С ним вящие все уличане;
На скатерти браной шипит перед ним
Вино в венецейском стакане;

50

Степенный посадник, и тысяцкий тут,
И старых посадников двое,
И с ними кончанские старосты пьют
Здоровье Садку круговое.

51

«Поведай, Садко, уходил ты куда?
На чудскую Емь аль на Балты?
Где бросил свои расшивные суда?
И бѐз вести где пропадал ты?»

52

Поет и на гуслях играет Садко,
Поет про царя водяного:
Как было там жить у него нелегко
И как уж он пляшет здорово;

53

Поет про поход без утайки про свой,
Какая чему была чередь,—
Качают в сомнении все головой,
Не могут рассказу поверить.

Ноябрь 1871 г.— март 1872 г.

КАНУТ

1

Две вести ко князю Кануту пришли:
Одну, при богатом помине,
Шлет сват его Магнус; из русской земли
Другая пришла от княгини.

2

С певцом своим Магнус словесную весть
Без грамоты шлет харатейной:
Он просит Канута, в услугу и в честь,
Приехать на съезд на семейный;

3

Княгиня ж ко грамоте тайной печать
Под многим привесила страхом,
И вслух ее строки Канут прочитать
Велит двум досужим монахам.

4

Читают монахи: «Супруг мой и князь!
Привиделось мне сновиденье:

Поехал в Роскильду, в багрец нарядясь,
На Магнуса ты приглашенье;

5

Багрец твой стал кровью в его терему —
Супруг мой, молю тебя слезно,
Не верь его дружбе, не езди к нему,
Любимый, желанный, болезный!»

6

Монахи с испугу речей не найдут:
«Святые угодники с нами!»
Взглянул на их бледные лица Канут,
Пожал, усмехаясь, плечами:

7

«Я Магнуса знаю, правдив он и прям,
Дружил с ним по нынешний день я —
Ужель ему веры теперь я не дам
Княгинина ради виденья!»

8

И берегом в путь выезжает морским
Канут, без щита и без брони,
Три отрока едут поодаль за ним,
Их весело топают кони.

9

Певец, что посылан его пригласить,
С ним едет по берегу рядом;
Тяжелую тайну клялся он хранить,
С опущенным едет он взглядом.

10

Дыханием теплым у моря весна
Чуть гривы коней их шевелит,
На мокрый песок набегает волна
И пену им под ноги стелет.

11

Но вот догоняет их отрок один,
С Канутом, сняв шлык, поравнялся:
«Уж нам не вернуться ли, князь-господин?
Твой конь на ходу расковался!»

12

«Пускай расковался! — смеется Канут,—
Мягка нам сегодня дорога,
В Роскильде коня кузнецы подкуют,
У свата, я чаю, их много!»

13

К болоту тропа, загибаясь, ведет,
Над ним, куда око ни глянет,
Вечерний туман свои нити прядет
И сизые полосы тянет.

14

От отроков вновь отделился один,
Равняет коня с господином:
«За этим туманищем, князь-господин,
Не видно твоей головы нам!»

15

«Пускай вам не видно моей головы —
Я, благо, живу без изъяна!

Опять меня целым увидите вы.
Как выедем мы из тумана!»

16

Въезжают они во трепещущий бор,
Весь полный весеннего крика;
Гремит соловьиный в шиповнике хор,
Звездится в траве земляника;

17

Черемухи ветви душистые гнут,
Все дикие яблони в цвете;
Их запах вдыхаючи, мыслит Канут:
«Жить любо на божием свете!»

18

Украдкой певец на него посмотрел,
И жалость его охватила:
Так весел Канут, так доверчив и смел,
Кипит в нем так молодо сила;

19

Ужели сегодня во гроб ему лечь,
Погибнуть в подводе жестоком?
И хочется князя ему остеречь,
Спасти околичным намеком.

20

Былину старинную он затянул;
В зеленом, пустынном просторе
С припевом дубравный сливается гул:
«Ой море, ой синее море!

21

К царевичу славному теща и тесть
Коварной исполнены злости;
Изменой хотят они зятя известь,
Зовут его ласково в гости.

22

Но морю, что, мир обтекая, шумит,
Известно о их заговоре;
Не езди, царевич, оно говорит —
Ой море, ой синее море!

23

На верную смерть ты пускаешься в путь,
Твой тесть погубить тебя хочет,
Тот меч, что он завтра вонзит тебе в грудь,
Сегодня уж он его точит!

24

Страшению моря царевич не внял,
Не внял на великое горе,
Спускает ладью он на пенистый вал —
Ой море, ой синее море!

25

Плывет он на верную гибель свою,
Беды над собою не чает,
И скорбно его расписную ладью
И нехотя море качает...»

26

Певец в ожидании песню прервал,
Украдкой глядит на Канута;

Беспечно тот едет себе вперевал,
Рвет ветки с черемухи гнутой;

27

Значение песни ему невдомек,
Он весел, как был и с почину,
И, видя, как он от догадки далек,
Певец продолжает былину:

28

«В ладье не вернулся царевич домой,
Наследную вотчину вскоре
Сватья разделили его меж собой —
Ой море, ой синее море!

29

У берега холм погребальный стоит,
Никем не почтён, не сторожен,
В холме том убитый царевич лежит,
В ладью расписную положен;

30

Лежит с погруженным он в сердце мечом,
Не в бармах, не в царском уборе,
И тризну свершает лишь море по нем —
Ой море, ой синее море!»

31

Вновь очи певец на Канута поднял:
Тот свежими клена листами
Гремучую сбрую коня разубрал,
Утыкал очёлок цветами;

32

Глядит он на мошек толкущийся рой
В лучах золотого захода
И мыслит, воздушной их тешась игрой:
«Нам ясная завтра погода!»

33

Былины значенье ему невдогад,
Он едет с весельем во взоре
И сам напевает товарищу в лад:
«Ой море, ой синее море!»

34

Его не спасти! Ему смерть суждена!
Влечет его темная сила!
Дыханьем своим молодая весна,
Знать, разум его опьянила!

35

Певец замолчал. Что свершится, о том
Ясней намекнуть он не смеет,
Поют соловьи, заливаясь, кругом,
Шиповник пахучий алеет;

36

Не чует погибели близкой Канут,
Он едет к беде неминучей,
Кругом соловьи, заливаясь, поют,
Шиповник алеет пахучий...

Декабрь <?> 1872 г.

СЛЕПОЙ

1

Князь выехал рано средь гридней своих
В сыр-бор полеванья изведать;
Гонял он и вепрей, и туров гнедых,
Но время доспело, звон рога утих,
Пора отдыхать и обедать.

2

В логу они свежем под дубом сидят
И брашна примаются рушать;
И князь говорит: «Мне отрадно звучат
Ковши и братины, но песню бы рад
Я в зелени этой послушать!»

3

И отрок озвался: «За речкою там
Убогий мне песенник ведом;
Он слеп, но горазд ударять по струнам»;
И князь говорит: «Отыщи его нам,
Пусть тешит он нас за обедом!»

4

Ловцы отдохнули, братины допив,
Сидеть им без дела не любо,
Поехали дале, про песню забыв,—
Гусляр между тем на княжой на призыв
Бредет ко знакомому дубу.

5

Он щупает посохом корни дерев,
Плетется один чрез дубраву,
Но в сердце звучит вдохновенный напев,
И дум благодатных уж зреет посев,
Слагается песня на славу.

6

Пришел он на место: лишь дятел стучит,
Лишь в листьях стрекочет сорока —
Но в сторону ту, где, не видя, он мнит,
Что с гриднями князь в ожиданье сидит,
Старик поклонился глубоко:

7

«Хвала тебе, княже, за ласку твою,
Бояре и гридни, хвала вам!
Начать песнопенье готов я стою —
О чем же я, старый и бедный, спою
Пред сонмищем сим величавым?

8

Что в вещем сказалося сердце моем,
То выразить речью возьмусь ли?»
Пождал — и, не слыша ни слова кругом,
Садится на кочку, поросшую мхом,
Персты возлагает на гусли.

9

И струн переливы в лесу потекли,
И песня в глуши зазвучала...
Все мира явленья вблизи и вдали:
И синее море, и роскошь земли,
И цветных камений начала,

10

Что в недрах подземия блеск свой таят,
И чудища в море глубоком,
И в темном бору заколдованный клад,
И витязей бой, и сверкание лат —
Всё видит духовным он оком.

11

И подвиги славит минувших он дней,
И всё, что достойно, венчает:
И доблесть народов, и правду князей —
И милость могучих он в песне своей
На малых людей призывает.

12

Привет полоненному шлет он рабу,
Укор градоимцам суровым,
Насилье ж над слабым, с гордыней на лбу,
К позорному он пригвождает столбу
Грозящим пророческим словом.

13

Обильно растет его мысли зерно,
Как в поле ячмень золотистый;
Проснулось, что в сердце дремало давно —
Что было от лет и от скорбей темно,
Воскресло прекрасно и чисто.

14

И лик озарен его тем же огнем,
Как в годы борьбы и надежды,
Явилася власть на челе поднятом,
И кажутся царской хламидой на нем
Лохмотья раздранной одежды.

15

Не пелось ему еще так никогда,
В таком расцветанье богатом
Еще не сплеталася дум череда —
Но вот уж вечерняя в небе звезда
Зажглася над алым закатом.

16

К исходу торжественный клонится лад,
И к небу незрящие взоры
Возвел он, и, духом могучим объят,
Он песнь завершил — под перстами звучат
Последние струн переборы.

17

Но мертвою он тишиной окружен,
Безмолвье пустынного лога
Порой прерывает лишь горлицы стон,
Да слышны сквозь гуслей смолкающий звон
Призывы далекого рога.

18

На диво ему, что собранье молчит,
Поник головою он думной —
И вот закачалися ветви ракит,
И тихо дубрава ему говорит:
«Ты гой еси, дед неразумный!

19

Сидишь одинок ты, обманутый дед,
На месте ты пел опустелом!
Допиты братины, окончен обед,
Под дубом души человеческой нет,
Разъехались гости за делом!

20

Они средь моей, средь зеленой красы
Порскают, свой лов продолжая;
Ты слышишь, как, в след утыкая носы,
По зверю вдали заливаются псы,
Как трубит охота княжая!

21

Ко сбору ты, старый, прийти опоздал,
Ждать некогда было боярам,
Ты песней награды себе не стяжал,
Ничьих за нее не услышишь похвал,
Трудился, убогий, ты даром!»

22

«Ты гой еси, гой ты, дубравушка-мать,
Сдается, ты правду сказала!
Я пел одинок, но тужить и роптать
Мне, старому, было б грешно и негоже —
Наград мое сердце не ждало!

23

Воистину, если б очей моих ночь
Безлюдья от них и не скрыла,
Я песни б не мог и тогда перемочь,
Не мог от себя отогнать бы я прочь,
Что́ душу мою охватило!

24

Пусть по следу псы, заливаясь, бегут,
Пусть ловлею князь удоволен!
Убогому петь не тяжелый был труд,
А песня ему не в хвалу и не в суд,
Зане он над нею не волен!

25

Она, как река в половодье, сильна,
Как росная ночь, благотворна,
Тепла, как душистая в мае весна,
Как солнце приветна, как буря грозна,
Как лютая смерть необорна!

26

Охваченный ею не может молчать,
Он раб ему чуждого духа,
Вожглась ему в грудь вдохновенья печать,
Неволей иль волей он должен вещать,
Чтó слышит подвластное ухо!

27

Не ведает горный источник, когда
Потоком он в степи стремится,
И бьет и кипит его, пенясь, вода,
Придут ли к нему пастухи и стада
Струями его освежиться!

28

Я мнил: эти гусли для князя звучат,
Но песня, по мере как пелась,
Невидимо свой расширяла охват,
И вольный лился без различия лад
Для всех, кому слушать хотелось!

29

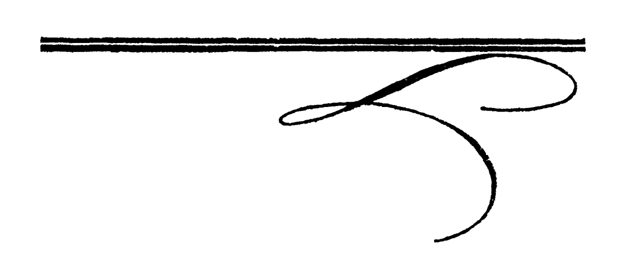
И кто меня слушал, привет мой тому!
Земле-государыне слава!
Ручью, что ко слову журчал моему!
Вам, звездам, мерцавшим сквозь синюю тьму!
Тебе, мать сырая дубрава!

30

И тем, кто не слушал, мой также привет!
Дай бог полевать им не даром!
Дай князю без горя прожить много лет,
Простому народу без ну́жды и бед,
Без скорби великим боярам!»

Январь 1873 г.

Сатирические и юмористические стихотворения



БЛАГОРАЗУМИЕ

Поразмыслив аккуратно,
Я избрал себе дорожку
И иду по ней без шума,
Понемножку, понемножку!

Впрочем, я ведь не бесстрастен,
Я не холоден душою,
И во мне ведь закипает
Ретивое, ретивое!

Если кто меня обидит,
Не спущу я, как же можно!
Из себя как раз я выйду,
Осторожно, осторожно!

Без ума могу любить я,
Но любить, конечно, с толком,
Я готов и правду резать,
Тихомолком, тихомолком!

Если б брат мой захлебнулся,
Я б не стал махать руками,
Тотчас кинулся бы в воду,
С пузырями, с пузырями!

Рад за родину сразиться!
Пусть услышу лишь картечь я,
Грудью лягу в чистом поле,
Без увечья, без увечья!

Послужу я и в синклите,
Так чтоб ведали потомки;
Но уж если пасть придется —
Так соломки, так соломки!

Кто мне друг, тот друг мне вечно,
Все родные сердцу близки,
Всем союзникам служу я,
По-австрийски, по-австрийски!

Конец 1853 или начало 1854 г.

<А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВУ>

Вхожу в твой кабинет,
Ищу тебя, бездельник,
Тебя же нет как нет,
Знать, нынче понедельник.

Пожалуй приезжай
Ко мне сегодня с братом:
Со мной откушать чай
И утку с кресс-салатом.

Венгерское вино
Вас ждет (в бутылке ль, в штофе ль —
Не знаю), но давно
Заказан уж картофель.

Я в городе один,
А мать живет на даче,
Из-за таких причин
Жду ужину удачи.

Армянский славный край
Лежит за Араратом,
Пожалуй приезжай
Ко мне сегодня с братом!

1854

* * *

Исполнен вечным идеалом,
Я не служить рожден, а петь!
Не дай мне, Феб, быть генералом,
Не дай безвинно поглупеть!

О Феб всесильный! на параде
Услышь мой голос свысока:
Не дай постичь мне, бога ради,
Святой поэзии носка!

5 октября 1856 г.

ВЕСЕННИЕ ЧУВСТВА НЕОБУЗДАННОГО ДРЕВНЕГО

Дождусь ли той истории,
Когда придет весна
И молодой цикории
Засветит желтизна!

Уже любовной жаждою
Вся грудь моя горит,
И вспрыгнуть щепка каждая
На щепку норовит.

Земля цветами новыми
Покрылася опять,
Пошли быки с коровами
В зеленый луг гулять,

И, силой обаятельной
За стадом их влеком,
Готов я бессознательно
Сам сделаться быком!

Февраль 1859 г.

<К. К. ПАВЛОВОЙ>

Прошу простить великодушно,
Что я, как старый генерал,
В борьбе суровой с жизнью душной,
Моим посланьем опоздал!
(Сравненье здесь с главою рати,
Без предыдущего звена,
Хоть Вам покажется некстати,
Но рифма мне была нужна.)
Итак, без дальних отступлений,
Желаю Вам на Новый год
Поболе новых вдохновений,
Помене тягостных забот.
Для Вас дай бог, чтоб в этом годе
Взошла счастливая заря!

P. S.

Со мной о Вашем переводе
Из драмы «Фауст» говоря,
Упомянули Вы недавно
(Сереброукий Вас прости!),
Что всё бы шло довольно плавно,
Но трудно стих перевести,
Где Фауст, в яром озлобленье,

Кляня всё то, что deus vult [1],
Вдруг говорит для заключенья:
«Und fluch vor Allem der Geduld!»
Вращаясь в Фебовом синклите,
Быть может, стал я слишком лих,
Но как Вам кажется, скажите,
Нельзя ли тот строптивый стих
(Храня при том с почтеньем эха
Оригинала глубину)
Перевести не без успеха:
«Терпенье глупое кляну»?

Начало 1860-х годов <?>

---

[1] Бог хочет (*лат.*).— *Ред.*

БУНТ В ВАТИКАНЕ

Взбунтовалися кастраты,
Входят в папины палаты:
«Отчего мы не женаты?
        Чем мы виноваты?»

Говорит им папа строго:
«Это что за синагога?
Не боитеся вы бога?
        Прочь! Долой с порога!»

Те к нему: «Тебе-то ладно,
Ты живешь себе прохладно,
А вот нам так безотрадно,
        Очень уж досадно!

Ты живешь себе по воле,
Чай, натер себе мозоли,
А скажи-ка: таково ли
        В нашей горькой доле?»

Говорит им папа: «Дети,
Было прежде вам глядети,
Потеряв же вещи эти,
        Надобно терпети!

Жалко вашей мне утраты;
Я, пожалуй, в виде платы,
Прикажу из лучшей ваты
Вставить вам заплаты!»

Те к нему: «На что нам вата?
Это годно для халата!
Не мягка, а жестковата
Вещь, что нам нужна-то!»

Папа к ним: «В раю дам место,
Будет каждому невеста,
В месяц по два пуда теста.
Посудите: вес-то!»

Те к нему: «Да что нам в тесте,
Будь его пудов хоть двести,
С ним не вылепишь невесте
То, чем жить с ней вместе!»

«Эх, нелегкая пристала! —
Молвил папа с пьедестала,—
Уж коль с воза что упало,
Так пиши: пропало!

Эта вещь,— прибавил папа,—
Пропади хоть у Приапа,
Нет на это эскулапа,
Эта вещь — не шляпа!

Да и что вы в самом деле?
Жили б вы в моей капелле,
Под начальством Антонелли,
Да кантаты пели!»

«Нет,— ответствуют кастраты,—
Пий ты этакий девятый,
Мы уж стали сиповаты,
Поючи кантаты!

А не хочешь ли для дива
Сам пропеть нам «Casta diva»?
Да не грубо, а пискливо,
Тонко особливо!»

Испугался папа: «Дети,
Для чего ж мне тонко пети?
Да и как мне разумети
Предложенья эти?»

Те к нему: «Проста наука,
В этом мы тебе порука,
Чикнул раз, и вся тут штука —
Вот и бритва! Ну-ка!»

Папа ж думает: «Оно-де
Было б даже не по моде
Щеголять мне в среднем роде!»
Шлет за Де-Мероде.

Де-Мероде ж той порою,
С королем готовясь к бою,
Занимался под горою
Папской пехтурою:

Все в подрясниках шелко́вых,
Ранцы их из шкурок новых,
Шишек полные еловых,
Сам в чулках лиловых.

Подбегает Венерати:
«Вам,— кричит,— уж не до рати!
Там хотят, совсем некстати,
Папу холощати!»

Искушенный в ратном строе,
Де-Мерод согнулся втрое,
Видит, дело-то плохое,
Молвит: «Что такое?»

Повторяет Венерати:
«Вам теперь уж не до рати,
Там хотят, совсем некстати,
Папу холощати!»

Вновь услышав эту фразу,
Де-Мероде понял сразу,
Говорит: «Оно-де с глазу;
Слушаться приказу!»

Затрубили тотчас трубы,
В войске вспыхнул жар сугубый,
Так и смотрят все, кому бы
Дать прикладом в зубы?

Де-Мероде, в треуголке,
В рясе только что с иголки,
Всех везет их в одноколке
К папиной светелке.

Лишь вошли в нее солдаты,
Испугалися кастраты,
Говорят: «Мы виноваты!
Будем петь без платы!»

Добрый папа на свободе
Вновь печется о народе,
А кастратам Де-Мероде
Молвит в этом роде:

«Погодите вы, злодеи!
Всех повешу за ... я!»
Папа ж рек, слегка краснея:
«Надо быть умнее!» [1]

---

[1] Вариант для дам

. . . .
А кастратам Де-Мероде
Молвит в этом роде:

«Всяк, кто в этот бунт замешан,
Заслужил бы быть повешен!»
Папа ж рек, совсем утешен:
«Я один безгрешен!»

И конец настал всем спорам;
Прежний при дворе декорум,
И пищат кастраты хором
Вплоть ad finem seculorum!..[1]

Февраль — март 1864 г.

[1] До скончания веков *(лат.)*.— *Ред.*

<Б. М. МАРКЕВИЧУ>

Ты, что, в красе своей румяной,
Предмет восторженной молвы,
Всегда изящный, вечно рьяный,
Цветешь на берегах Невы,

Когда к тебе недавно, сдуру,
Я обратил наивный зов
Держать из дружбы корректуру
Моих неизданных стихов,

Едва их удостоив взгляда,
Должно быть полусонный, ты
С небрежной ленью Алкивьяда
Переворачивал листы.

Сменив Буткова на Каткова,
Отверг ты всякий ложный стыд.
Тебе смысл здравый не окова,
Тебя нелепость не страшит.

И я, тобою искаженный,
С *изнеможением в кости*,
Спешу, смиренный и согбенный,
Тебе спасибо принести;

Для каждого стиха errata [1]
С утра до вечера пишу,
С супружней кротостью Сократа
Твою ксантиппость я сношу.

Ругню, вранье, толчки, побои
Приняв, безропотно стою,
Смиренно под твои помои
Склоняю голову мою,

И в благодарности не шаток,
И твердо веря в связь сердец,
Плету тебе из опечаток
Неувядаемый венец.

Они, роскошные, как злаки,
Пестрят читающего путь —
Подобно им, отличья знаки
Твою да испещряют грудь,

И да цветут твои потомки,
На удивление стране,
Так многочисленны, так громки,
Так полновесны, как оне!

1 мая 1867 г.

---

[1] Опечатки *(лат.)*.— *Ред.*

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО ОТ ГОСТОМЫСЛА ДО ТИМАШЕВА

Вся земля наша велика и обильна,
а наряда в ней нет.

Нестор, летопись, стр. 8

1

Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.

2

А эту правду, детки,
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка-де, вишь, нет.

3

И стали все под стягом,
И молвят: «Как нам быть?

Давай пошлем к варягам:
Пускай придут княжить.

4

Ведь немцы тороваты,
Им ведом мрак и свет,
Земля ж у нас богата,
Порядка в ней лишь нет».

5

Посланцы скорым шагом
Отправились туда
И говорят варягам:
«Придите, господа!

6

Мы вам отсыплем злата,
Что киевских конфет;
Земля у нас богата,
Порядка в ней лишь нет».

7

Варягам стало жутко,
Но думают: «Что ж тут?
Попытка ведь не шутка —
Пойдем, коли зовут!»

8

И вот пришли три брата,
Варяги средних лет,
Глядят — земля богата,
Порядка ж вовсе нет.

9

«Ну,— думают,— команда!
Здесь ногу сломит черт,
Es ist ja eine Schande,
Wir müssen wieder fort» [1].

10

Но братец старший Рюрик
«Постой,— сказал другим,—
Fortgeh'n wär' ungebürlich,
Vielleicht ist's nicht so schlimm [2].

11

Хоть вшивая команда,
Почти одна лишь шваль;
Wir bringen's schon zustande,
Versuchen wir einmal» [3].

12

И стал княжить он сильно,
Княжил семнадцать лет,
Земля была обильна,
Порядка ж нет как нет!

13

За ним княжил князь Игорь,
А правил им Олег,
Das war ein großer Krieger [4]
И умный человек.

---

[1] Ведь это позор — мы должны убраться прочь (*нем.*).— *Ред*

[2] Уйти было бы неприлично, может быть, это не так уж плохо (*нем.*).— *Ред.*

[3] Мы справимся, давайте попробуем (*нем.*).— *Ред.*

[4] Это был великий воин (*нем.*).— *Ред.*

14

Потом княжила Ольга,
А после Святослав;
So ging die Reihenfolge [1]
Языческих держав.

15

Когда ж вступил Владимир
На свой отцовский трон,
Da endigte für immer
Die alte Religion [2].

16

Он вдруг сказал народу:
«Ведь наши боги дрянь,
Пойдем креститься в воду!»
И сделал нам Иордань.

17

«Перун уж очень гадок!
Когда его спихнем,
Увидите, порядок
Какой мы заведем!»

18

Послал он за попами
В Афины и Царьград,
Попы пришли толпами,
Крестятся и кадят,

---

[1] Такова была последовательность (*нем.*).— *Ред*
[2] Тогда пришел конец старой религии (*нем.*).— *Ред.*

19

Поют себе умильно
И полнят свой кисет;
Земля, как есть, обильна,
Порядка только нет.

20

Умре Владимир с горя,
Порядка не создав.
За ним княжить стал вскоре
Великий Ярослав.

21

Оно, пожалуй, с этим
Порядок бы и был;
Но из любви он к детям
Всю землю разделил.

22

Плоха была услуга,
А дети, видя то,
Давай тузить друг друга:
Кто как и чем во что!

23

Узнали то татары:
«Ну,— думают,— не трусь!»
Надели шаровары,
Приехали на Русь.

24

«От вашего, мол, спора
Земля пошла вверх дном,

Постойте ж, мы вам скоро
Порядок заведем».

25

Кричат: «Давайте дани!»
(Хоть вон святых неси.)
Тут много всякой дряни
Настало на Руси.

26

Что день, то брат на брата
В орду несет извет;
Земля, кажись, богата —
Порядка ж вовсе нет.

27

Иван явился Третий;
Он говорит: «Шалишь!
Уж мы теперь не дети!»
Послал татарам шиш.

28

И вот земля свободна
От всяких зол и бед
И очень хлебородна,
А все ж порядка нет.

29

Настал Иван Четвертый,
Он Третьему был внук;
Калач на царстве тертый
И многих жен супруг.

30

Иван Васильич Грозный
Ему был имярек
За то, что был серьезный,
Солидный человек.

31

Приемами не сладок,
Но разумом не хром;
Такой завел порядок,
Хоть покати шаром!

32

Жить можно бы беспечно
При этаком царе;
Но ах! ничто не вечно —
И царь Иван умре!

33

За ним царить стал Федор,
Отцу живой контраст;
Был разумом не бодор,
Трезвонить лишь горазд.

34

Борис же, царский шурин,
Не в шутку был умен,
Брюнет, лицом недурен,
И сел на царский трон.

35

При нем пошло всё гладко,
Не стало прежних зол,

Чуть-чуть было порядка
В земле он не завел.

36

К несчастью, самозванец,
Откуда ни возьмись,
Такой задал нам танец,
Что умер царь Борис.

37

И, на Бориса место
Взобравшись, сей нахал
От радости с невестой
Ногами заболтал.

38

Хоть был он парень бравый
И даже не дурак,
Но под его державой
Стал бунтовать поляк.

39

А то нам не по сердцу;
И вот однажды в ночь
Мы задали им перцу
И всех прогнали прочь.

40

Взошел на трон Василий,
Но вскоре всей землей
Его мы попросили,
Чтоб он сошел долой.

41

Вернулися поляки,
Казаков привели;
Пошел сумбур и драки:
Поляки и казаки,

42

Казаки и поляки
Нас паки бьют и паки;
Мы ж без царя как раки
Горюем на мели.

43

Прямые были страсти —
Порядка ж ни на грош.
Известно, что без власти
Далёко не уйдешь.

44

Чтоб трон поправить царский
И вновь царя избрать,
Тут Минин и Пожарский
Скорей собрали рать.

45

И выгнала их сила
Поляков снова вон,
Земля же Михаила
Взвела на русский трон.

46

Свершилося то летом;
Но был ли уговор —

История об этом
Молчит до этих пор.

47

Варшава нам и Вильна
Прислали свой привет;
Земля была обильна —
Порядка ж нет как нет.

48

Сев Алексей на царство,
Тогда роди Петра.
Пришла для государства
Тут новая пора.

49

Царь Петр любил порядок,
Почти как царь Иван,
И так же был не сладок,
Порой бывал и пьян.

50

Он молвил: «Мне вас жалко,
Вы сгинете вконец;
Но у меня есть палка,
И я вам всем отец!..

51

Не далее как к святкам
Я вам порядок дам!»
И тотчас за порядком
Уехал в Амстердам.

52

Вернувшися оттуда,
Он гладко нас обрил,
А к святкам, так что чудо,
В голландцев нарядил.

53

Но это, впрочем, в шутку,
Петра я не виню:
Больному дать желудку
Полезно ревеню.

54

Хотя силён уж очень
Был, может быть, прием;
А все ж довольно прочен
Порядок стал при нем.

55

Но сон объял могильный
Петра во цвете лет,
Глядишь, земля обильна,
Порядка ж снова нет.

56

Тут кротко или строго
Царило много лиц,
Царей не слишком много,
А более цариц.

57

Бирон царил при Анне;
Он сущий был жандарм,

Сидели мы как в ванне
При нем, daß Gott erbarm! [1]

58

Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет.

59

Какая ж тут причина
И где же корень зла,
Сама Екатерина
Постигнуть не могла.

60

«Madame, при вас на диво
Порядок расцветет,—
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот,—

61

Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать».

62

«Messieurs,— им возразила
Она,— vous me comblez» [2],—
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.

---

[1] Помилуй бог! *(нем.)*.— *Ред.*
[2] Господа, вы слишком добры ко мне *(франц.)*.— *Ред.*

63

За ней царить стал Павел,
Мальтийский кавалер,
Но не совсем он правил
На рыцарский манер.

64

Царь Александер Первый
Настал ему взамен,
В нем слабы были нервы,
Но был он джентльмен.

65

Когда на нас в азарте
Стотысячную рать
Надвинул Бонапарте,
Он начал отступать.

66

Казалося, ну, ниже
Нельзя сидеть в дыре,
Ан глядь: уж мы в Париже,
С Louis le Désiré.

67

В то время очень сильно
Расцвел России цвет,
Земля была обильна,
Порядка ж нет как нет.

68

Последнее сказанье
Я б написал мое,

Но чаю наказанье,
Боюсь monsieur Veillot.

69

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

70

Оставим лучше троны,
К министрам перейдем.
Но что я слышу? стоны,
И крики, и содом!

71

Что вижу я! Лишь в сказках
Мы зрим такой наряд;
На маленьких салазках
Министры все катят.

72

С горы со криком громким
In corpore [1], сполна,
Скользя, свои к потомкам
Уносят имена.

73

Се Норов, се Путятин,
Се Панин, се Метлин,
Се Брок, а се Замятнин,
Се Корф, се Головнин.

---

[1] В полном составе (*лат*).— *Ред.*

74

Их много, очень много,
Припомнить всех нельзя,
И вниз одной дорогой
Летят они, скользя.

75

Я грешен: летописный
Я позабыл свой слог;
Картине живописной
Противостать не мог.

76

Лиризм, на все способный,
Знать, у меня в крови;
О Нестор преподобный,
Меня ты вдохнови.

77

Поуспокой мне совесть,
Мое усердье зря,
И дай мою мне повесть
Окончить не хитря.

78

Итак, начавши снова,
Столбец кончаю свой
От рождества Христова
В год шестьдесят восьмой.

79

Увидя, что всё хуже
Идут у нас дела,
Зело изрядна мужа
Господь нам ниспосла.

80

На утешенье наше
Нам, аки свет зари,
Свой лик яви Тимашев —
Порядок водвори.

81

Что аз же многогрешный
На бренных сих листах
Не дописах поспешно
Или переписах,

82

То, спереди и сзади
Читая во все дни,
Исправи правды ради,
Писанья ж не кляни.

83

Составил от былинок
Рассказ немудрый сей
Худый смиренный инок,
Раб божий Алексей.

1868

МЕДИЦИНСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Доктор божией коровке
Назначает рандеву,
Штуки столь не видел ловкой
С той поры, как я живу,
Ни во сне, ни наяву.
Веря докторской сноровке,
Затесалася в траву
К ночи божия коровка.
И, припасши булаву,
Врач пришел на рандеву.
У скалы крутой подножья
Притаясь, коровка божья
Дух не смеет перевесть,
За свою страшится честь.

Дщери нашей бабки Евы!
Так-то делаете все вы!
Издали́: «Mon coeur, mon tout» [1],—
А пришлось начистоту,
Вам и стыдно, и неловко;
Так и божия коровка —

---

[1] Сердце мое, жизнь моя (*франц*.) — *Ред.*

Подняла внезапно крик:
«Я мала, а он велик!»
Но, в любви не зная шутки,
Врач сказал ей: «Это дудки!
Мне ведь дело не ново,
Уж пришел я, так того!»

Кем наставлена, не знаю,
К чудотворцу Николаю
(Как то делалося встарь)
Обратилась божья тварь.
Грянул гром. В его компанье
Разлилось благоуханье —
И домой, не бегом, вскачь,
Устрашась, понесся врач,
Приговаривая: «Ловко!
Ну уж божия коровка!
Подстрекнул меня, знать, бес!»
— Сколько в мире есть чудес!

Октябрь <?> 1868 г.

2

Навозный жук, навозный жук,
Зачем, среди вечерней тени,
Смущает доктора твой звук?
Зачем дрожат его колени?

О врач, скажи, твоя мечта
Теперь какую слышит повесть?
Какого ропот живота
Тебе на ум приводит совесть?

Лукавый врач, лукавый врач!
Трепещешь ты не без причины —
Припомни стон, припомни плач
Тобой убитой Адольфины!

Твои уста, твой взгляд, твой нос
Ее жестоко обманули,

Когда с улыбкой ты поднес
Ей каломельные пилюли...

Свершилось! Памятен мне день —
Закат пылал на небе грозном —
С тех пор моя летает тень
Вокруг тебя жуком навозным...

Трепещет врач — навозный жук
Вокруг него, в вечерней тени,
Чертит круги — а с ним недуг,
И подгибаются колени...

Ноябрь <?> 1868 г.

3

«Верь мне, доктор (кроме шутки!),—
Говорил раз пономарь,—
От яиц крутых в желудке
Образуется янтарь!»

Врач, скептического складу,
Не любил духовных лиц
И причетнику в досаду
Проглотил пятьсот яиц.

Стон и вопли! Все рыдают,
Пономарь звонит сплеча —
Это значит: погребают
Вольнодумного врача.

Холм насыпан. На рассвете
Пир окончен в дождь и грязь,
И причетники мыслете
Пишут, за руки схватясь.

«Вот не ми́нули и сутки,—
Повторяет пономарь,—
А уж в докторском желудке
Так и сделался янтарь!»

Ноябрь <?> 1868 г.

4

БЕРЕСТОВАЯ БУДОЧКА

В берестовой сидя будочке,
Ногу на ногу скрестив,
Врач наигрывал на дудочке
Бессознательный мотив.

Он мечтал об операциях,
О бинтах, о ревене,
О Венере и о грациях...
Птицы пели в вышине.

Птицы пели и на тополе,
Хоть не ведали о чем,
И внезапно все захлопали,
Восхищенные врачом.

Лишь один скворец завистливый
Им сказал как бы шутя:
«Что́ на веточках повисли вы,
Даром уши распустя?

Песни есть и мелодичнее,
Да и дудочка слаба,—
И врачу была б приличнее
Оловянная труба!»

Между 1868 и 1870 гг.

5

Муха шпанская сидела
На сиреневом кусте,
Для таинственного дела
Доктор крался в темноте.

Вот присел он у сирени;
Муха, яд в себе тая,
Говорит: «Теперь для мщенья
Время вылучила я!»

Уязвленный мухой больно,
Доктор встал, домой спеша,
И на воздухе невольно
Выкидает антраша.

От людей ночные тени
Скрыли доктора полет,
И победу на сирени
Муха шпанская поет.

Между 1868 и 1870 гг.

* * *

Угораздило кофейник
С вилкой в роще погулять.
Набрели на муравейник;
Вилка ну его пырять!
Расходилась: я храбра-де!
Тычет вдоль и поперек.
Муравьи, спасенья ради,
Поползли куда кто мог;
А кофейнику потеха:
Руки в боки, кверху нос,
Надседается от смеха:
«Исполати! Аксиос!
Веселися, храбрый росс!»
Тут с него свалилась крышка,
Муравьев взяла одышка,
Все отчаялись — и вот —
Наползли к нему в живот.
Как тут быть? Оно не шутки:
Насекомые в желудке!
Он, схватившись за бока,
Пляшет с боли трепака.

Поделом тебе, кофейник!
Впредь не суйся в муравейник,
Не ходи как ротозей,
Умеряй характер пылкий,
Избирай своих друзей
И не связывайся с вилкой!

Ноябрь <?> 1868 г.

ПОСЛАНИЯ К Ф. М. ТОЛСТОМУ

1

Вкусив елей твоих страниц
И убедившися в их силе,
Перед тобой паду я ниц,
О Феофиле, Феофиле!

Дорогой двойственной ты шел,
Но ты от Януса отличен;
Как государственный орел,
Ты был двуглав, но не двуличен.

Твоих столь радужных цветов
Меня обманывала присма,
Но ты возрек — и я готов
Признать тиранство дуализма;

Сомкнем же наши мы сердца,
Прости упрек мой близорукий —
И будь от буйного стрельца
Тобой отличен Долгорукий!

Декабрь 1868 г.

2

Красный Рог, 14 января 1869 г.

В твоем письме, о Феофил
(Мне даже стыдно перед миром),
Меня, проказник, ты сравнил
Чуть-чуть не с царственным Шекспиром!

О Ростислав, такую роль,
Скажи, навязывать мне кстати ль?
Поверь, я понимаю соль
Твоей иронии, предатель!

Меня насмешливость твоя
Равняет с Лессингом. Ужели
Ты думал, что серьезно я
Поверю этой параллели?

Ты говоришь, о Феофил,
Что на немецком диалекте
«Лаокоона» он хвалил,
Как я «Феодора» в «Проекте»?

Увы, не Лессинг я! Зачем,
Глумясь, равнять пригорок с Этной?
Я уступаю место всем,
А паче братии газетной.

Не мню, что я Лаокоон,
Во змей упершийся руками,
Но скромно зрю, что осажден
Лишь дождевыми червяками!

Потом — подумать страшно — ах!
Скажи, на что это похоже?
Ты рассуждаешь о властях
Так, что мороз дерет по коже!

Подумай, ведь письмо твое
(Чего на свете не бывает!)
Могло попасть к m-r Veillot,
Который многое читает.

Нет, нет, все это дребедень!
Язык держать привык я строго
И повторяю каждый день:
Нет власти, аще не от бога!

Не нам понять высоких мер,
Творцом внушаемых вельможам,
Мы из истории пример
На этот случай выбрать можем:

Перед Шуваловым свой стяг
Склонял великий Ломоносов —
Я ж друг властей и вечный враг
Так называемых вопросов!

* * *

Сидит под балдахином
Китаец Цу-Кин-Цын
И молвит мандаринам:
«Я главный мандарин!

Велел владыко края
Мне ваш спросить совет:
Зачем у нас в Китае
Досель порядка нет?»

Китайцы все присели,
Задами потрясли,
Гласят: «Затем доселе
Порядка нет в земли,

Что мы ведь очень млады,
Нам тысяч пять лишь лет;
Затем у нас нет складу,
Затем порядку нет!

Клянемся разным чаем,
И желтым и простым,
Мы много обещаем
И много совершим!»

«Мне ваши речи милы,—
Ответил Цу-Кин-Цын,—
Я убеждаюсь силой
Столь явственных причин.

Подумаешь: пять тысяч,
Пять тысяч только лет!»
И приказал он высечь
Немедля весь совет.

Апрель <?> 1869 г.

ПЕСНЯ О КАТКОВЕ, О ЧЕРКАССКОМ, О САМАРИНЕ, О МАРКЕВИЧЕ И О АРАПАХ

1

Друзья, ура единство!
Сплотим святую Русь!
Различий, как бесчинства,
Народных я боюсь.

2

Катков сказал, что, дискать,
Терпеть их — это грех!
Их надо тискать, тискать
В московский облик всех!

3

Ядро у нас — славяне;
Но есть и вотяки,
Башкирцы, и армяне,
И даже калмыки;

4

Есть также и грузины
(Конвоя цвет и честь!),
И латыши, и финны,
И шведы также есть;

5

Недавно и ташкентцы
Живут у нас в плену;
Признаться ль? Есть и немцы
Но это: entre nous! [1]

6

Страшась с Катковым драки,
Я на ухо шепну:
У нас есть и поляки,
Но также: entre nous;

7

И многими иными
Обилен наш запас;
Как жаль, что между ними
Арапов нет у нас!

8

Тогда бы князь Черкасской,
Усердием велик,
Им мазал белой краской
Их неуказный лик;

---

[1] Между нами! (*франц.*) — *Ред.*

9

С усердьем столь же смелым,
И с помощью воды,
Самарин тер бы мелом
Их черные зады;

10

Катков, наш герцог Алба,
Им удлинял бы нос,
Маркевич восклицал бы:
«Осанна! Аксиос!»

Апрель или май 1869 г.

* * *

Стасюлевич и Маркевич
        Вместе побранились;
Стасюлевич и Маркевич
        Оба осрамились.

«Ты поляк,— гласит Маркевич,—
        В этом я уверен!»
Отвечает Стасюлевич:
        «Лжешь как сивый мерин!»

Говорит ему Маркевич:
        «Судишь ты превратно!»
Отвечает Стасюлевич:
        «То донос печатный!»

Размышляет Стасюлевич:
        «Классицизм нам кстати ль?»
Говорит ему Маркевич:
        «Стало, ты предатель!»

Октябрь <?> 1869 г.

* * *

Как-то Карп Семенович
        Сорвался с балкона,
И на нем суконные
        Были панталоны.

Ах, в остережение
        Дан пример нам оный:
Братья, без медления
        Снимем панталоны!

22 декабря 1869 г.

* * *

Рука Алкида тяжела,
Ужасны Стимфалидов стаи,
Смертельна Хирона стрела,
Широко лоно Пазифаи.

Из первых Аристогитон
С Гармодием на перекличке,
И снисходительно Платон
Их судит странные привычки.

Гомера знали средь Афин
Рабы и самые рабыни,
И каждый римский гражданин
Болтал свободно по-латыни.

22 декабря 1869 г.

МУДРОСТЬ ЖИЗНИ

1

Если хочешь быть майором,
То в сенате не служи,
Если ж служишь, то по шпорам
Не вздыхай и не тужи.

2

Будь доволен долей малой,
Тщись расходов избегать,
Руки мой себе, пожалуй,
Мыла ж на ноги не трать.

3

Будь настойчив в правом споре,
В пустяках уступчив будь,
Жилься до́красна в запоре,
А поноса вспять не нудь.

4

Замарав штаны малиной
Иль продрав их назади,

Их сымать не смей в гостиной,
Но в боскетную поди.

5

Если кто невольным звуком
Огласит твой кабинет,
Ты не вскакивай со стуком,
Восклицая: «Много лет!»

6

Будь всегда душой обеда,
Не брани чужие щи
И из уха у соседа
Дерзко ваты не тащи.

7

Восхищаяся соседкой,
По груди ее не гладь
И не смей ее салфеткой
Потный лоб свой обтирать.

8

От стола коль отлучиться
Повелит тебе нужда,
Тем пред дамами хвалиться
Ты не должен никогда.

9

Коль сосед болит утробой,
Ты его не осуждай,
Но болящему без злобы
Корша ведомость подай.

10

Изучай родню начальства,
Забавлять ее ходи,

Но игривость до нахальства
Никогда не доводи:

11

Не проси у тещи тряпки
Для обтирки сапогов
И не спрашивай у бабки,
Много ль есть у ней зубов?

12

Помни теток именины,
Чти в кузинах благодать
И не вздумай без причины
Их под мышки щекотать.

13

Будь с невестками попроще,
Но приличия блюди
И червей, гуляя в роще,
Им за шею не клади.

14

Не зови за куст умильно
Дочерей на пару слов
И с племянницы насильно
Не тащи ее чулков.

15

На тебя коль смотрят люди,
Не кричи: «Катай-валяй!»
И кормилицыной груди
У дити не отбивай.

16

Всем девицам будь отрада,
Рви в саду для них плоды,

Не показывай им зада
Без особенной нужды.

17

Проводя в деревне лето,
Их своди на скотный двор:
Помогает много это
Расширять их кругозор;

18

Но, желаньем подстрекаем
Их сюрпризом удивить,
Не давай, подлец, быка им
В виде опыта доить.

19

Также было б очень гадко
Перст в кулак себе совать
Под предлогом, что загадка
Им дается отгадать.

20

Вообще знай в шутках меру,
Сохраняй достойный вид,
Как прилично офицеру
И как служба нам велит.

21

Если мать иль дочь какая
У начальника умрет,
Расскажи ему, вздыхая,
Подходящий анекдот;

22

Но смотри, чтоб ловко было,
Не рассказывай, грубя:
Например, что вот кобыла
Также пала у тебя;

23

Или там, что без потерей
Мы на свете не живем
И что надо быть тетерей,
Чтоб печалиться о том;

24

Потому что, если пылок
Твой начальник и сердит,
Проводить тебя в затылок
Он курьеру повелит.

25

Предаваясь чувствам нежным,
Бисер свиньям не мечи —
Вслед за пахарем прилежным
Ходят жадные грачи.

Вторая половина 1870 г.

* * *

Все забыл я, все простил,
Все меня чарует,
И приказчик стал мне мил,
Что доход ворует,

И бредущий ревизор
Там через плотину,
И свинья, что о забор
С хрюком чешет спину,

Сердце так полно мое,
Так я стал незлобен,
Что и самого Вельо
Я б обнять способен!

14 мая 1871 г.

* * *

Я готов румянцем девичьим
Оттого покрыться,
Что Маркевич с Стасюлевичем
Долго так бранится.

Что б ему на Стасюлевича
Не грозиться палкой?
Стасюлевичу б Маркевича
Подарить фиалкой?

14 мая 1871 г.

<М. Н. ЛОНГИНОВУ>

Слава богу, я здоров,
Но ведь может же случиться,
Что к обители отцов
Мне придется отлучиться.

Если выйдет казус сей,
Что сведет мне поясницу,
Ты, прошу, жене моей
Выдай паспорт за границу.

Ты ей в том не откажи,
Ибо это будет верно,
Что стою я близ межи,
Преступить ее же скверно.

3 июля 1871 г.

ОТРЫВОК

(РЕЧЬ ИДЕТ О БАРОНЕ ВЕЛЬО)

1

Разных лент схватил он радугу,
Дело ж почты — дело дрянь:
Адресованные в Ладогу,
Письма едут в Еривань.

2

Телеграммы заблуждаются
По неведомым путям,
Иль совсем не получаются,
Иль со вздором пополам.

3

Пишет к другу друг встревоженный:
«Твоего взял сына тиф!»
Тот читает, что таможенный
Изменяется тариф.

4

Пишет в Рыльск Петров к Сазонову:
«Наши цены поднялись» —
Телеграмма ж к Артамонову
Так и катится в Тифлис.

5

Много вышло злополучия
Через это и вреда;
Одного такого случая
Не забуду никогда:

6

Телеграфною депешею
Городничий извещен,
Что «идет колонной пешею
На него Наполеон».

7

Город весь пришел в волнение,
Всполошился мал и стар;
Запирается правление,
Разбегается базар.

8

Пошептавшись, Фекла с Домною
Испекли по пирогу
И за дверию огромною
Припасают кочергу.

9

Сам помощник городничего
В них поддерживает дух

И к заставе с рынка птичьего
Инвалидов ставит двух.

10

Вся семья купцов Ворониных
Заболела наповал,
Поп о древних вавилонянах
В церкве проповедь сказал.

11

Городничиха сбирается
Уж на жертву, как Юдифь,
Косметйком натирается,
Городничий еле жив.

12

Недоступна чувству узкому,
Дочь их рядится сама;
Говорит: «К вождю французскому
Я хочу идти с мама́!

13

Вместе в жертву, чай, с охотою
Примет нас Наполеон;
Ах, зачем пришел с пехотою,
А не с конницею он!»

14

И в заставу, бредя кровию,
Мать и дочь идут пешком,
Тащут старую Прасковию
За собой с пустым мешком.

15

До зари за огородами
Вместе бродят дочь и мать,
Но грядущего с народами
Бонапарта не видать.

16

Неудачею печалимы,
Приплелись они домой:
«Ни вождя не отыскали мы,
Ни колонны никакой!

17

Видно, все, и с квартирьерами,
Провалились на мосту,
Что построен инженерами
О великом о посту!»

18

Городничий удивляется:
«Что же видели вы там?»
«Только видели: валяется
У заставы всякий хлам,

19

Да дорогой с поросятами
Шла Аверкина свинья;
Мы ее толкнули пятами
Мимоходом, дочь и я;

20

Да дьячок отца Виталия
С нами встретился, пострел,

Но и он-то нас, каналия,
Обесчестить не хотел!»

21

Городничий обижается:
«Вишь, мошенник, грубиян!
Пусть же мне не попадается
В первый раз, как будет пьян!

22

Но, однако же, вы видели
Аванпост или пикет?»
«Ах, папаша, нас обидели,
И пикета даже нет!»

23

Городничий изумляется,
Сам в уезд летит стремглав
И в Конторе там справляется,
Что́ сдано на телеграф?

24

Суть депеши скоро сыскана,
Просто значилося в ней:
«Под чиновника Распрыскина
Выдать тройку лошадей».

Сентябрь <?> 1871 г.

<Б. М. МАРКЕВИЧУ>

В награду дружеских усилий,
Вам проложивших новый путь,
С сим посылается Василий
Помочь вам в Брянске чем-нибудь.

Коляска ждет на полдороги
Питомца ветреного муз —
Да покровительствуют боги
Ее давно желанный груз!

Наперсник легкой Терпсихоры
Да скачет цел и невредим,
Да не подломятся рессоры
Близ грязных Выгоничь под ним!

Его румяные ланиты
И дорогие седины
Да увенчают и хариты,
И Рога Красного сыны!

28 июня 1872 г.

ПОСЛАНИЕ К М. Н. ЛОНГИНОВУ О ДАРВИНИСМЕ

Я враг всех так называемых вопросов.

Один из членов
Государственного совета.

Если у тебя есть фонтан, заткни его.

Кузьма Прутков.

1

Правда ль это, чтó я слышу?
Молвят óвамо и семо:
Огорчает очень Мишу
Будто Дарвина система?

2

Полно, Миша! Ты не сетуй!
Без хвоста твоя ведь ....,
Так тебе обиды нету
В том, что было до потопа.

3

Всход наук не в нашей власти,
Мы их зерна только сеем;
И Коперник ведь отчасти
Разошелся с Моисеем.

4

Ты ж, еврейское преданье
С видом нянюшки лелея,
Ты б уж должен в заседанье
Запретить и Галилея.

5

Если ж ты допустишь здраво,
Что вольны в науке мненья —
Твой контроль с какого права?
Был ли ты при сотворенье?

6

Отчего б не понемногу
Введены во бытиё мы?
Иль не хочешь ли уж богу
Ты предписывать приемы?

7

Способ, как творил создатель,
Что́ считал он боле кстати —
Знать не может председатель
Комитета о печати.

8

Ограничивать так смело
Всесторонность божьей власти —
Ведь такое, Миша, дело
Пахнет ересью отчасти!

9

Ведь подобные примеры
Подавать — неосторожно,
И тебя за скудость веры
В Соловки сослать бы можно!

10

Да и в прошлом нет причины
Нам искать большого ранга,
И, по мне, шматина глины
Не знатней орангутанга.

11

Но на миг положим даже:
Дарвин глупость порет просто —
Ведь твое гоненье гаже
Всяких глупостей раз во́ сто!

12

Нигилистов, что ли, знамя
Видишь ты в его системе?
Но святая сила с нами!
Что́ меж Дарвином и теми?

13

От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средины —
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины.

14

В них не знамя, а прямое
Подтвержденье дарвинисма,
И сквозят в их диком строе
Все симптомы атависма:

15

Грязны, неучи, бесстыдны,
Самомнительны и едки,
Эти люди очевидно
Норовят в свои же предки.

16

А что в Дарвина идеи
Оба пола разубра̀ны —
Это бармы архирея
Вздели те же обезьяны.

17

Чем же Дарвин тут виновен?
Верь мне: гнев в себе утиша,
Из-за взбалмошных поповен
Не гони его ты, Миша!

18

И еще тебе одно я
Здесь прибавлю, многочтимый:
Не китайскою стеною
От людей отделены мы;

19

С Ломоносовым наука
Положив у нас зачаток,
Проникает к нам без стука
Мимо всех твоих рогаток,

20

Льет на мир потоки света
И, следя, как в тьме лазурной

Ходят божии планеты
Без инструкции ценсурной,

21

Кажет нам, как та же сила,
Всё в иную плоть одета,
В область разума вступила,
Не спросясь у Комитета.

22

Брось же, Миша, устрашенья,
У науки нрав не робкий,
Не заткнешь ее теченья
Ты своей дрянною пробкой!

Конец 1872 г.

* * *

Боюсь людей передовых,
Страшуся милых нигилистов;
Их суд правдив, их натиск лих,
Их гнев губительно неистов;

Но вместе с тем бывает мне
Приятно, в званье ретрограда,
Когда хлестнет их по спине
Моя былина иль баллада.

С каким достоинством глядят
Они, подпрыгнувши невольно,
И, потираясь, говорят:
Нисколько не было нам больно!

Так в хату впершийся индюк,
Метлой пугнутый неучтивой,
Распустит хвост, чтоб скрыть испуг,
И забулдыкает спесиво.

Начало 1873 г.

СОН ПОПОВА

1

Приснился раз, бог весть с какой причины,
Советнику Попову странный сон:
Поздравить он министра в именины
В приемный зал вошел без панталон;
Но, впрочем, не забыто ни единой
Регалии; отлично выбрит он;
Темляк на шпаге; всё по циркуляру —
Лишь панталон забыл надеть он пару.

2

И надо же случиться на беду,
Что он тогда лишь свой заметил промах,
Как уж вошел. «Ну,— думает,— уйду!»
Не тут-то было! Уж давно в хоромах
Народу тьма; стоит он на виду,
В почетном месте; множество знакомых
Его увидеть могут на пути —
«Нет,— он решил,— нет, мне нельзя уйти!

3

А вот я лучше что-нибудь придвину
И скрою тем досадный мой изъян;

Пусть верхнюю лишь видят половину,
За нижнюю ж ответит мне Иван!»
И вот бочком прокрался он к камину
И спрятался по пояс за экран.
«Эх,— думает,— недурно ведь, канальство!
Теперь пусть входит высшее начальство!»

4

Меж тем тесней все становился круг
Особ чиновных, чающих карьеры;
Невнятный в зале раздавался звук,
И все принять свои старались меры,
Чтоб сразу быть замеченными. Вдруг
В себя втянули животы курьеры,
И экзекутор рысью через зал,
Придерживая шпагу, пробежал.

5

Вошел министр. Он видный был мужчина,
Изящных форм, с приветливым лицом,
Одет в визитку: своего, мол, чина
Не ставлю я пред публикой ребром.
Внушается гражданством дисциплина,
А не мундиром, шитым серебром.
Все зло у нас от глупых форм избытка,
Я ж века сын — так вот на мне визитка!

6

Не ускользнул сей либеральный взгляд
И в самом сне от зоркости Попова.
Хватается, кто тонет, говорят,
За паутинку и за куст терновый.
«А что́,— подумал он,— коль мой наряд
Понравится? Ведь есть же, право слово,
Свободное, простое что-то в нем!
Кто знает? Что ж? Быть может! Подождем!»

7

Министр меж тем стан изгибал приятно:
«Всех, господа, всех вас благодарю!
Прошу и впредь служить так аккуратно
Отечеству, престолу, алтарю!
Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна?
Я в переносном смысле говорю:
Мой идеал полнейшая свобода —
Мне цель народ — и я слуга народа!

8

Прошло у нас то время, господа,—
Могу сказать: печальное то время,—
Когда наградой пота и труда
Был произвол. Его мы свергли бремя.
Народ воскрес — но не вполне — да, да!
Ему вступить должны помочь мы в стремя,
В известном смысле сгладить все следы
И, так сказать, вручить ему бразды.

9

Искать себе не будем идеала,
Ни основных общественных начал
В Америке. Америка отстала:
В ней собственность царит и капитал.
Британия строй жизни запятнала
Законностью. А я уж доказал:
Законность есть народное стесненье,
Гнуснейшее меж всеми преступленье!

10

Нет, господа! России предстоит,
Соединив прошедшее с грядущим,
Создать, коль смею выразиться, вид,
Который называется присущим

Всем временам; и, став на свой гранит,
Имущим, так сказать, и неимущим
Открыть родник взаимного труда.
Надеюсь, вам понятно, господа?»

11

Раздался в зале шепот одобренья,
Министр поклоном легким отвечал,
И тут же, с видом, полным снисхожденья,
Он обходить обширный начал зал:
«Как вам? Что вы? Здорова ли Евгенья
Семеновна? Давно не заезжал
Я к вам, любезный Сидор Тимофеич!
Ах, здравствуйте, Ельпидифор Сергеич!»

12

Стоял в углу, плюгав и одинок,
Какой-то там коллежский регистратор.
Он и к тому, и тем не пренебрег:
Взял под руку его: «Ах, Антипатор
Васильевич! Что, как ваш кобелек?
Здоров ли он? Вы ездите в театр?
Что вы сказали? Все болит живот?
Ах, как мне жаль! Но ничего, пройдет!»

13

Переходя налево и направо,
Свои министр так перлы расточал;
Иному он подмигивал лукаво,
На консоме другого приглашал
И ласково смотрел и величаво.
Вдруг на Попова взор его упал,
Который, скрыт экраном лишь по пояс,
Исхода ждал, немного беспокоясь.

14

«Ба! Что я вижу! Тит Евсеич здесь!
Так, так и есть! Его мы точность знаем!
Но отчего ж он виден мне не весь?
И заслонен каким-то попугаем?
Престранная выходит это смесь!
Я любопытством очень подстрекаем
Увидеть ваши ноги. Да, да, да!
Я вас прошу, пожалуйте сюда!»

15

Колеблясь меж надежды и сомненья:
Как на его посмотрят туалет,
Попов наружу вылез. В изумленье
Министр приставил к глазу свой лорнет.
«Что́ это? Правда или наважденье?
Никак, на вас штанов, любезный, нет?»
И на чертах изящно-благородных
Гнев выразил ревнитель прав народных.

16

«Что это значит? Где вы рождены?
В Шотландии? Как вам пришла охота
Там, за экраном, снять с себя штаны?
Вы начитались, верно, Вальтер Скотта?
Иль классицизмом вы заражены?
И римского хотите патриота
Изобразить? Иль, боже упаси,
Собой бюджет представить на Руси?»

17

И был министр еще во гневе краше,
Чем в милости. Чреватый от громов
Взор заблестел. Он продолжал: «Вы наше
Доверье обманули. Много слов

Я тратить не люблю».— «Ва-ва-ва-ваше
Превосходительство! — шептал Попов.—
Я не сымал... Свидетели курьеры,
Я прямо так приехал из квартеры!»

18

«Вы, милостивый, смели, государь,
Приехать так? Ко мне? На поздравленье?
В день ангела? Безнравственная тварь!
Теперь твое я вижу направленье!
Вон с глаз моих! Иль нету — секретарь!
Пишите к прокурору отношенье:
Советник Тит Евсеев сын Попов
Все ниспровергнуть власти был готов.

19

Но, строгому благодаря надзору
Такого-то министра — имярек —
Отечество спаслось от заговору
И нравственность не сгинула навек.
Под стражей ныне шлется к прокурору
Для следствия сей вредный человек,
Дерзнувший снять публично панталоны,
Да поразят преступника законы!

20

Иль нет, постойте! Коль отдать под суд,
По делу выйти может послабленье,
Присяжные-бесштанники спасут
И оправдают корень возмущенья!
Здесь слишком громко нравы вопиют —
Пишите прямо в Третье отделенье:
Советник Тит Евсеев сын Попов
Все ниспровергнуть власти был готов.

21

Он поступил законам так противно,
На общество так явно поднял меч,
Что пользу можно б административно
Из неглиже из самого извлечь.
Я жертвую агентам по две гривны,
Чтобы его — но скрашиваю речь —
Чтоб мысли там внушить ему иные.
Затем ура! Да здравствует Россия!»

22

Министр кивнул мизинцем. Сторожа
Внезапно взяли под руки Попова.
Стыдливостью его не дорожа,
Они его от Невского, Садовой,
Средь смеха, крика, чуть не мятежа,
К Цепному мосту привели, где новый
Стоит, на вид весьма красивый, дом,
Своим известный праведным судом.

23

Чиновник по особым порученьям,
Который их до места проводил,
С заботливым Попова попеченьем
Сдал на руки дежурному. То был
Во фраке муж, с лицом, пылавшим рвеньем,
Со львиной физьономией, носил
Мальтийский крест и множество медалей,
И в душу взор его влезал всё далей!

24

В каком полку он некогда служил,
В каких боях отличен был как воин,
За что свой крест мальтийский получил
И где своих медалей удостоен —

Неведомо. Ехидно попросил
Попова он, чтобы тот был спокоен,
С улыбкой указал ему на стул
И в комнату соседнюю скользнул.

25

Один оставшись в небольшой гостиной,
Попов стал думать о своей судьбе:
«А казус вышел, кажется, причинный!
Кто б это мог вообразить себе?
Попался я в огонь, как сноп овинный!
Ведь искони того еще не бе,
Чтобы меня кто в этом виде встретил,
И как швейцар проклятый не заметил!»

26

Но дверь отверзлась, и явился в ней
С лицом почтенным, грустию покрытым,
Лазоревый полковник. Из очей
Катились слезы по его ланитам.
Обильно их струящийся ручей
Он утирал платком, узором шитым,
И про себя шептал: «Так! Это он!
Таким он был едва лишь из пелён!

27

О юноша! — он продолжал, вздыхая
(Попову было с лишком сорок лет),—
Моя душа для вашей не чужая!
Я в те года, когда мы ездим в свет,
Знал вашу мать. Она была святая!
Таких, увы! теперь уж боле нет!
Когда б она досель была к вам близко,
Вы б не упали нравственно так низко!

28

Но, юный друг, для набожных сердец
К отверженным не может быть презренья,
И я хочу вам быть второй отец,
Хочу вам дать для жизни наставленье.
Заблудших так приводим мы овец
Со дна трущоб на чистый путь спасенья.
Откройтесь мне, равно как на духу:
Что привело вас к этому греху?

29

Конечно, вы пришли к нему не сами,
Характер ваш невинен, чист и прям!
Я помню, как дитёй за мотыльками
Порхали вы средь кашки по лугам!
Нет, юный друг, вы ложными друзьями
Завлечены! Откройте же их нам!
Кто вольнодумцы? Всех их назовите
И собственную участь облегчите!

30

Что слышу я? Ни слова? Иль пустить
Уже успело корни в вас упорство?
Тогда должны мы будем приступить
Ко строгости, увы! и непокорство,
Сколь нам ни больно, в вас искоренить!
О юноша! Как сердце ваше черство!
В последний раз: хотите ли всю рать
Завлекших вас сообщников назвать?»

31

К нему Попов достойно и наивно:
«Я, господин полковник, я бы вам
Их рад назвать, но мне, ей-богу, дивно...
Возможно ли сообщничество там,

Где преступленье чисто негативно?
Ведь панталон-то не надел я сам!
И чем бы там меня вы ни пугали —
Другие мне, клянусь, не помогали!»

32

«Не мудрствуйте, надменный санкюлот!
Свою вину не умножайте ложью!
Сообщников и гнусный ваш комплот
Повергните к отечества подножью!
Когда б вы знали, что́ теперь вас ждет,
Вас проняло бы ужасом и дрожью!
Но дружбу вы чтоб ведали мою,
Одуматься я время вам даю!

33

Здесь, на столе, смотрите, вам готово
Достаточно бумаги и чернил:
Пишите же — не то, даю вам слово:
Чрез полчаса вас изо всех мы сил...»
Тут ужас вдруг такой объял Попова,
Что страшную он подлость совершил:
Пошел строчить (как люди в страхе гадки!)
Имен невинных многие десятки!

34

Явились тут на нескольких листах:
Какой-то Шмидт, два брата Шулаковы,
Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах,
Потанчиков, Гудим-Бодай-Корова,
Делаверганж, Шульгин, Страженко, Драх,
Грай-Жеребец, Бабков, Ильин, Багровый,
Мадам Гриневич, Глазов, Рыбин, Штих,
Бурдюк-Лишай — и множество других.

35

Попов строчил сплеча и без оглядки,
Попались в список лучшие друзья;
Я повторю: как люди в страхе гадки —
Начнут как бог, а кончат как свинья!
Строчил Попов, строчил во все лопатки,
Такая вышла вскоре ектенья,
Что, прочитав, и сам он ужаснулся,
Вскричал: фуй! фуй! задрыгал — и проснулся.

36

Небесный свод сиял так юн и нов,
Весенний день глядел в окно так весел,
Висела пара форменных штанов
С мундиром купно через спинку кресел;
И в радости уверился Попов,
Что их Иван там с вечера повесил —
Одним скачком покинул он кровать
И начал их в восторге надевать.

37

«То был лишь сон! О, счастие! о, радость!
Моя душа, как этот день, ясна!
Не сделал я Бодай-Корове гадость!
Не выдал я агентам Ильина!
Не наклепал на Савича! О, сладость!
Мадам Гриневич мной не предана!
Страженко цел, и братья Шулаковы
Постыдно мной не ввержены в оковы!»

38

Но ты, никак, читатель, восстаешь
На мой рассказ? Твое я слышу мненье:
Сей анекдот, пожалуй, и хорош,
Но в нем сквозит дурное направленье.

Всё выдумки, нет правды ни на грош!
Слыхал ли кто такое обвиненье,
Что, мол, такой-то — встречен без штанов,
Так уж и власти свергнуть он готов?

39

И где такие виданы министры?
Кто так из них толпе кадить бы мог?
Я допущу: успехи наши быстры,
Но где ж у нас министер-демагог?
Пусть проберут все списки и регистры,
Я пять рублей бумажных дам в залог;
Быть может, их во Франции немало,
Но на Руси их нет и не бывало!

40

И что это, помилуйте, за дом,
Куда Попов отправлен в наказанье?
Что за допрос? Каким его судом
Стращают там? Где есть такое зданье?
Что за полковник выскочил? Во всем,
Во всем заметно полное незнанье
Своей страны обычаев и лиц,
Встречаемое только у девиц.

41

А наконец, и самое вступленье:
Ну есть ли смысл, я спрашиваю, в том,
Чтоб в день такой, когда на поздравленье
К министру все съезжаются гуртом,
С Поповым вдруг случилось помраченье
И он таким оделся бы шутом?
Забыться может галстук, орден, пряжка —
Но пара брюк — нет, это уж натяжка!

И мог ли он так ехать? Мог ли в зал
Войти, одет как древние герои?
И где резон, чтоб за экран он стал,
Никем не зрим? Возможно ли такое?
Ах, батюшка-читатель, что́ пристал?
Я не Попов! Оставь меня в покое!
Резон ли в этом или не резон —
Я за чужой не отвечаю сон!

Лето 1873 г.

РОНДО

Ах, зачем у нас граф Пален
Так к присяжным параллелен!
Будь он боле вертикален,
Суд их боле был бы делен!

Добрый суд царем повелен,
А присяжных суд печален,
Всё затем, что параллелен
Через меру к ним граф Пален!

Душегубец стал нахален,
Суд стал вроде богаделен,
Оттого что так граф Пален
Ко присяжным параллелен.

Всяк боится быть застрелен,
Иль зарезан, иль подпален,
Оттого что параллелен
Ко присяжным так граф Пален.

Мы дрожим средь наших спален,
Мы дрожим среди молелен,

Оттого что так граф Пален
Ко присяжным параллелен!

Herr, erbarm' dich unsrer Seelen!
Habe Mitleid mit uns allen[1],
Да не будет параллелен
Ко присяжным так граф Пален!

---

[1] Господи, сжалься над нашими душами! Имей сострадание ко всем нам (*нем.*).— *Ред.*

<ВЕЛИКОДУШИЕ СМЯГЧАЕТ СЕРДЦА>

Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Деларю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю».
Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал,
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Тогда злодей, к нему зашедши справа,
Его пронзил,
А Деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.
Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа».
Злодей пал ниц и, слез проливши много,
Дрожал как лист,
А Деларю: «Ах, встаньте, ради бога!
Здесь пол нечист».
Но все у ног его в сердечной муке
Злодей рыдал,

А Деларю сказал, расставя руки:
«Не ожидал!
Возможно ль? Как?! Рыдать с такою силой? —
По пустякам?!
Я вам аренду выхлопочу, милый,—
Аренду вам!
Через плечо дадут вам Станислава
Другим в пример.
Я дать совет царю имею право:
Я камергер!
Хотите дочь мою просватать, Дуню?
А я за то
Кредитными билетами отслюню
Вам тысяч сто.
А вот пока вам мой портрет на память,—
Приязни в знак.
Я не успел его еще обрамить,—
Примите так!»
Тут едок стал и даже горче перца
Злодея вид.
Добра за зло испорченное сердце
Ах! не простит.
Высокий дух посредственность тревожит,
Тьме страшен свет.
Портрет еще простить убийца может,
Аренду ж — нет.
Зажглась в злодее зависти отрава
Так горячо,
Что, лишь надел мерзавец Станислава
Через плечо,—
Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осторожно,—
Хвать друга в зад!
Тот на пол лег, не в силах в страшных болях
На кресло сесть.
Меж тем злодей, отняв на антресолях
У Дуни честь,—

Бежал в Тамбов, где был, как губернатор,
Весьма любим.
Потом в Москве, как ревностный сенатор,
Был всеми чтим.
Потом он членом сделался совета
В короткий срок...
Какой пример для нас являет это,
Какой урок!

НАДПИСИ НА СТИХОТВОРЕНИЯХ А. С. ПУШКИНА

ПОДРАЖАНИЕ

(«Я видел смерть: она сидела...»)

. . . .

Прости, печальный мир, где темная стезя
Над бездной для меня лежала,
Где жизнь меня не утешала,
Где я любил, где мне любить нельзя!
Небес лазурная завеса,
Любимые холмы, ручья веселый глас,
Ты, утро — вдохновенья час,
Вы, тени мирные таинственного леса,
И всё — прости в последний раз!

Ты притворяешься, повеса,
Ты знаешь, баловень, дорогу на Парнас.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

. . . .

Приди, меня мертвит любовь!
В молчанье благосклонной ночи
Явись, волшебница! Пускай увижу вновь
Под грозным кивером твои небесны очи,
И плащ, и пояс боевой,
И бранной обувью украшенные ноги...

Не медли, поспешай, прелестный воин мой,
Приди, я жду тебя: здоровья дар благой
Мне снова ниспослали боги,
А с ним и сладкие тревоги
Любви таинственной и шалости младой.

По мне же, вид являет мерзкий
В одежде дева офицерской.

ИЗ ПИСЬМА

Есть в России город Луга
Петербургского округа.
Хуже б не было сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.

Город есть еще один,
Называется он Мглин,
Мил евреям и коровам,
Стоит Луги с Новоржевым.

ДОРИДЕ

Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая — харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.

Томительна харит повсюду неизбежность.

ВИНОГРАД

. . . .
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

Мне кажется, тому немалая досада,
Чей можно перст сравнить со гроздом винограда.

ЖЕЛАНИЕ

(«Кто видел край, где роскошью природы...»)

. . . .
И там, где мирт шумит над тихой урной,
Увижу ль вновь, сквозь темные леса,
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса?

Утихнут ли волненья жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?
Приду ли вновь под сладостные тени
Душой заснуть на лоне мирной лени?..

Пятьсот рублей я наложил бы пени
За урну, лень и миртовы леса.

На странице, где помещено обращенное к Е. А. Баратынскому четверостишие «Я жду обещанной тетради...», Толстой написал:

Вакх, Лель, хариты, томны урны,
Проказники, повесы, шалуны,
Цевницы, лиры, лень, Авзонии сыны,
Камены, музы, грации лазурны,
Питомцы, баловни луны,
Наперсники пиров, любимцы Цитереи
И прочие небрежные лакеи.

АКВИЛОН

Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник болотный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облако столь гневно гонишь?
. . . .
Как не наскучило вам всем
Пустое спрашивать у бури?
Пристали все: зачем, зачем? —
Затем, что то — в моей натуре!

ПРОРОК

. . . .
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!»

Вот эту штуку, пью ли, ем ли,
Всегда люблю я, ей-же-ей!

ЗОЛОТО И БУЛАТ

Всё мое,— сказало злато;
Всё мое,— сказал булат;
Всё куплю,— сказало злато;
Всё возьму,— сказал булат.

Ну, так что ж? — сказало злато;
Ничего! — сказал булат.
Так ступай! — сказало злато;
И пойду! — сказал булат.

В. С. ФИЛИМОНОВУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЭМЫ ЕГО «ДУРАЦКИЙ КОЛПАК»

. . . .
Итак, в знак мирного привета,
Снимая шляпу, бью челом,
Узнав философа-поэта
Под осторожным колпаком.

Сей Филимонов, помню это,
И в наш ходил когда-то дом:
Толстяк, исполненный привета,
С румяным ласковым лицом.

АНЧАР

. . . .
А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы,

Тургенев, ныне поседелый,
Нам это, взвизгивая смело,
В задорной юности читал.

ОТВЕТ

. . . .
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! В Москву, в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи — лед, сердца — гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.

Когда бы не было тут Пресни,
От муз с харитами хоть тресни.

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой:
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.

Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский,
В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее.

КОЗЬМА ПРУТКОВ

ЭПИГРАММА № 1

«Вы любите ли сыр?» — спросили раз ханжу,
«Люблю,— он отвечал,— я вкус в нем нахожу».

<1854>

ПИСЬМО ИЗ КОРИНФА

ГРЕЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Я недавно приехал в Коринф...
Вот ступени, а вот колоннада!
Я люблю здешних мраморных нимф
И истмийского шум водопада!

Целый день я на солнце сижу,
Трусь елеем вокруг поясницы,
Между камней паросских слежу
За извивом слепой медяницы;

Померанцы растут предо мной,
И на них в упоенье гляжу я;
Дорог мне вожделенный покой,
«Красота, красота!» — все твержу я...

А когда ниспускается ночь...
Мы в восторгах с рабынею млеем...
Всех рабов высылаю я прочь
И... опять натираюсь елеем...

<1854>

ИЗ ГЕЙНЕ

Вянет лист, проходит лето,
Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.

Погоди, безумный! снова
Зелень оживится...
Юнкер Шмидт! честно́е слово,
Лето возвратится.

<1854>

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИСПАНЦЕМ

Тихо над Альямброй,
Дремлет вся натура,
Дремлет замок Памбра,
Спит Эстремадура!

Дайте мне мантилью,
Дайте мне гитару,
Дайте Инезилью,
Кастаньетов пару.

Дайте руку верную,
Два вершка булату,
Ревность непомерную,
Чашку шоколаду.

Закурю сигару я,
Лишь взойдет луна...
Пусть дуэнья старая
Смотрит из окна.

За двумя решетками
Пусть меня клянет,
Пусть шевелит четками,
Старика зовет.

Слышу на балконе
Шорох платья... чу!
Подхожу я к донне,
Сбросил епанчу.

Погоди, прелестница,
Поздно или рано
Шелковую лестницу
Выну из кармана!

О сеньора милая!
Здесь темно и серо...
Страсть кипит унылая
В вашем кавальеро.

Здесь, перед бананами,—
Если не наскучу,—
Я между фонтанами
Пропляшу качучу.

И на этом месте,
Если вы мне рады,—
Будем петь мы вместе
Ночью серенады.

Будет в нашей власти
Толковать о мире,
О вражде, о страсти,
О Гвадалквивире,

Об улыбках, взорах,
Вечном идеале,
О тореадорах
И об Эскурьяле...

Тихо над Альямброй,
Дремлет вся натура,
Дремлет замок Памбра,
Спит Эстремадура.

<1854>

* * *

(ПОДРАЖАНИЕ ГЕЙНЕ)

На взморье, у самой заставы,
Я видел большой огород:
Растет там высокая спаржа,
Капуста там скромно растет.

Там утром всегда огородник
Лениво проходит меж гряд;
На нем неопрятный передник,
Угрюм его пасмурный взгляд.

Польет он из лейки капусту,
Он спаржу небрежно польет,
Нарежет зеленого луку
И после глубоко вздохнет.

Намедни к нему подъезжает
Чиновник на тройке лихой;
Он в теплых, высоких галошах,
На шее лорнет золотой.

«Где дочка твоя?» — вопрошает
Чиновник, прищурясь в лорнет;

Но, дико взглянув, огородник
Махнул лишь рукою в ответ.

И тройка назад поскакала,
Сметая с капусты росу;
Стоит огородник угрюмо
И пальцем копает в носу.

<1854>

ОСАДА ПАМБЫ

(РОМАНСЕРО. С ИСПАНСКОГО)

Девять лет дон Педро Гомец,
По прозванью: Лев Кастильи,
Осаждает замок Памбу,
Молоком одним питаясь.
И все войско дона Педра —
Девять тысяч кастильянцев —
Все, по данному обету,
Не касаются мясного,
Ниже хлеба не снедают,
Пьют одно лишь молоко...
Всякий день они слабеют,
Силы тратя попустому,
Всякий день дон Педро Гомец
О своем бессилье плачет,
Закрываясь епанчою.
Настает уж год десятый,—
Злые мавры торжествуют,
А от войска дона Педра
Налицо едва осталось
Девятнадцать человек!
Их собрал дон Педро Гомец
И сказал им: «Девятнадцать!
Разовьем свои знамена,

В трубы громкие взыграем
И, ударивши в литавры,
Прочь от Памбы мы отступим!
Хоть мы крепости не взяли,
Но поклясться можем смело
Перед совестью и честью,
Не нарушили ни разу
Нами данного обета:
Целых девять лет не ели,
Ничего не ели ровно,
Кроме только молока!»
Ободренные сей речью,
Девятнадцать кастильянцев,
Все, качаяся на седлах,
В голос слабо закричали:
«Sancto Jago Compostello![1]
Честь и слава дону Педру!
Честь и слава Льву Кастильи!»
А каплан его Диего
Так сказал себе сквозь зубы:
«Если б я был полководцем,
Я б обет дал есть лишь мясо,
Запивая сантуринским!»
И, услышав то, дон Педро
Произнес со громким смехом:
«Подарить ему барана —
Он изрядно подшутил!»

<1854>

---

[1] Святой Иаков Компостельский! — *Ред.*

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ГРЕК

Люблю тебя, дева, когда золотистый
И солнцем облитый ты держишь лимон,
И юноши зрю подбородок пушистый
Меж листьев аканфа и белых колонн!
Красивой хламиды тяжелые складки
        Упали одна за другой:
Так в улье шумящем вкруг раненой матки
        Снует озабоченный рой.

<1854>

ИЗ ГЕЙНЕ

Фриц Вагнер, студьозус из Иены,
Из Бонна Иеронимус Кох
Вошли в кабинет мой с азартом,—
Вошли, не очистив сапог.

«Здорово, наш старый товарищ!
Реши поскорее наш спор:
Кто доблестней, Кох или Вагнер?» —
Спросили с бряцанием шпор.

«Друзья! Вас и в Иене и в Бонне
Давно уже я оценил.
Кох логике славно учился,
А Вагнер искусно чертил».

Ответом моим недовольны,
«Решай поскорее наш спор!» —
Они повторяли с азартом
И с тем же бряцанием шпор.

Я комнату взглядом окинул
И, будто узором прельщен,

«Мне нравятся очень *обои*!» —
Сказал им и выбежал вон.

Понять моего каламбура
Из них ни единый не мог,
И долго стояли в раздумье
Студьозусы Вагнер и Кох.

<1854>

ЗВЕЗДА И БРЮХО

БАСНЯ

На небе вечерком светилася Звезда.
Был постный день тогда:
Быть может, пятница, быть может, середа.
В то время по саду гуляло чье-то Брюхо
И рассуждало так с собой,
Бурча и жалобно и глухо:
«Какой
Хозяин мой
Противный и несносный!
Затем что день сегодня постный,
Не станет есть, мошенник, до звезды!
Не только есть! Куды!
Не выпьет и ковша воды!
Нет, право, с ним наш брат не сладит...
Знай бродит по саду, ханжа,
На мне ладони положа...
Совсем не кормит,— только гладит!»
Меж тем ночная тень мрачней кругом легла.
Звезда, прищурившись, глядит на край окольный:
То спрячется за колокольней,
То выглянет из-за угла,
То вспыхнет ярче, то сожмется...
Над животом исподтишка смеется.

Вдруг Брюху ту Звезду случилось увидать,
Ан хвать!
Она уж кубарем несется
С небес долой
Вниз головой
И падает, не удержав полета,
Куда ж? в болото!
Как Брюху быть! кричит: ахти да ах!
И ну ругать Звезду в сердцах!
Но делать нечего! другой не оказалось...
И Брюхо, сколько ни ругалось,
Осталось
Хоть вечером, а натощах.

Читатель! басня эта
Нас учит не давать без крайности обета
Поститься до звезды,
Чтоб не нажить себе беды.
Но если уж пришло тебе хотенье
Поститься для душеспасенья,
То мой совет —
Я говорю тебе из дружбы —
Спасайся! слова нет!
Но главное: не отставай от службы!
Начальство, день и ночь пекущееся о нас,
Коли сумеешь ты прийтись ему по нраву,
Тебя, конечно, в добрый час
Представит к ордену святого Станислава.
Из смертных не один уж в жизни испытал,
Как награждают нрав почтительный и скромный.
Тогда в день постный, в день скоромный,
Сам будучи степенный генерал,
Ты можешь быть и с бодрым духом,
И с сытым брюхом,
Ибо кто ж запретит тебе всегда, везде
Быть при звезде?

1854

К МОЕМУ ПОРТРЕТУ

(КОТОРЫЙ БУДЕТ ИЗДАН ВСКОРЕ
ПРИ ПОЛНОМ СОБРАНИИ МОИХ СОЧИНЕНИЙ)

Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг; [1]
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке,
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке,—
Знай — это я!

Кого язвят со злостью, вечно новой
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой,—
Знай — это я:
В моих устах спокойная улыбка,
В груди — змея!..

<1856>

---

[1] Вариант: на коем фрак.— *Прим. Козьмы Пруткова.*

ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО

(КАК БУДТО ИЗ ГЕЙНЕ)

Помню я тебя ребенком,—
Скоро будет сорок лет! —
Твой передничек измятый,
Твой затянутый корсет...

Было так тебе неловко!..
Ты сказала мне тайком:
«Распусти корсет мне сзади,—
Не могу я бегать в нем!»

Весь исполненный волненья,
Я корсет твой развязал,—
Ты со смехом убежала,
Я ж задумчиво стоял...

<1860>

* * *

В борьбе суровой с жизнью душной
Мне любо сердцем отдохнуть,
Смотреть, как зреет хлеб насущный
Иль как мостят широкий путь.
Уму легко, душе отрадно,
Когда увесистый, громадный,
Блестящий искрами гранит
В куски под молотом летит!
Люблю подчас подсесть к старухам,
Смотреть на их простую ткань,
Люблю я слушать русским ухом
На сходках уличную брань!
Вот собрались.— Эй, ты, не мешкай!
— Да ты-то что ж? Небось устал!
— А где Ермил? — Ушел с тележкой!
— Эх, чтоб его! — Да чтоб провал....!
— Где тут провал? — Вот я те, леший!
— Куда полез? Знай, благо пеший!
— А где зипун? — Какой зипун?
— А мой! — Как твой? — Эх, старый лгун!
— Смотри задавят! — Тише, тише!
— Бревно несут! — Эй вы, на крыше!
— Вороны! — Митька! Амельян!
— Слепой! — Свинья! — Дурак! — Болван!

И все друг друга с криком вящим
Язвят в колене восходящем.

Ну что же, родные?
Довольно ругаться!
Пора нам за дело
Благое приняться!

Подымемте дружно
Чугунную бабу!
Всё будет досужно,
Лишь песня была бы!

Вот дуются жилы,
Знать, чуют работу!
И сколько тут силы!
И сколько тут поту!

На славу терпенье,
А нега на сором!
И дружное пенье
Вдруг грянуло хором:

«Как на сытном-то на рынке
Утонула баба в крынке,
Звали Мишку на поминки,
Хоронить ее на рынке,
Ой, дубинушка, да бухни!
Ой, зеленая, сама пойдет!

Да бум!
Да бум!
Да бум!»

Вот поднялась стопудовая баба,
Всё выше, выше, медленно, не вдруг...
— Тащи, тащи! Эй, Федька, держишь слабо!
— Тащи еще! — Пускай! — И баба: бух!
Раздался гул, и, берег потрясая,
На три вершка ушла в трясину свая!

Эх бабобитье! Всем по нраву!
Вот этак любо работать!
Споем, друзья, еще на славу!
И пенье грянуло опять:

«Как на сытном-то на рынке
Утонула баба в крынке» и пр.

Тащи! Тащи! — Тащи еще, ребята!
Дружней тащи! Еще, и дело взято!
Недаром в нас могучий русский дух!
Тащи еще! — Пускай! — И баба: бух!
Раздался гул, и, берег потрясая,
На два вершка ушла в трясину свая!

Начало 1860-х годов <?>

ЦЕРЕМОНИАЛ

ПОГРЕБЕНИЯ ТЕЛА В БОЗЕ УСОПШЕГО ПОРУЧИКА И КАВАЛЕРА ФАДДЕЯ КОЗЬМИЧА П.....

Составлен аудитором вместе с полковым адъютантом 22-го февраля 1821 года, в Житомирской губернии, близ города Радзивиллова.

Утверждаю. Полковник[1].

1

Впереди идут два горниста,
Играют отчетисто и чисто.

2

Идет прапорщик Густав Бауер,
На шляпе и фалдах несет трауер.

3

По обычаю, искони заведенному,
Идет маиор, пеший по-конному.

---

[1] Для себя я, разумеется, места не назначил. Как начальник, я должен быть в одно время везде и предоставляю себе разъезжать по линии и вдоль колонны.

4

Идет каптенармус во главе капральства,
Пожирает глазами начальство.

5

Два фурлейта ведут кобылу.
Она ступает тяжело и уныло.

6

Это та самая кляча,
На которой ездил виновник плача.

7

Идет с печальным видом казначей,
Проливает слезный ручей.

8

Идут хлебопеки и квартирьеры,
Хвалят покойника манеры.

9

Идет аудитор, надрывается,
С похвалою о нем отзывается.

10

Едет в коляске полковой врач,
Печальным лицом умножает плач.

11

На козлах сидит фершал из Севастополя,
Поет плачевно: «Не одна во поле...»

12

Идет с кастрюлею квартирмейстер,
Несет для кутьи крахмальный клейстер.

13

Идет маиорская Василиса,
Несет тарелку, полную риса.

14

Идет с блюдечком отец Герасим,
Несет изюму гривен на семь.

15

Идет первой роты фельдфебель,
Несет необходимую мебель.

16

Три бабы, с флером вокруг повойника,
Несут любимые блюда покойника:

17

Ножки, печенку и пупок под соусом;
Все три они вопят жалобным голосом.

18

Идут Буренин и Суворин,
Их плач о покойнике непритворен.

19

Идет, повеся голову, Корш,
Рыдает и фыркает, как морж.

20

Идут гуси, индейки и утки,
Здесь помещенные боле для шутки.

21

Идет мокрая от слез курица,
Не то смеется, не то хмурится.

22

Едет сама траурная колесница,
На балдахине поет райская птица.

23

Идет слабосильная команда с шанцевым
струментом,
За ней телега с кирпичом и цементом.

24

Между двух прохвостов идет уездный зодчий,
Рыдает изо всей мочи.

25

Идут четыре ветеринара,
С клистирами на случай пожара.

26

Гг. юнкера несут регалии:
Пряжку, темляк, репеек и так далее.

27

Идут гг. офицеры по два в ряд,
О новой вакансии говорят.

28

Идут славянофилы и нигилисты,
У тех и у других ногти не чисты.

29

Ибо, если они не сходятся в теории
вероятности,
То сходятся в неопрятности.

30

И поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее
Русского безбожия и православия.

31

На краю разверстой могилы
Имеют спорить нигилисты и славянофилы.

32

Первые утверждают, что кто умре́т,
Тот весь обращается в кислород.

33

Вторые — что он входит в небесные угодия
И делается братчиком Кирилла-Мефодия.

34

И что верные вести оттудова
Получила сама графиня Блудова.

35

Для решения этого спора
Стороны приглашают аудито́ра.

36

Аудитор говорит: «Рай-диди-рай!
Покойник отправился прямо в рай».

37

С этим отец Герасим соглашается,
И погребение совершается...

Исполнить, как сказано выше.
*Полковник ***.*

Примечание полкового адъютанта. После тройного залпа из ружей, в виде последнего салюта человеку и товарищу, г. полковник вынул из заднего кармана батистовый платок и, отерев им слезы, произнес следующую речь:

1

Гг. штаб- и обер-офицеры!
Мы проводили товарища до последней квартиры.

2

Отдадим же долг его добродетели:
Он умом равен Аристотелю.

3

Стратегикой уподоблялся на войне
Самому Кутузову и Жомини.

4

Бескорыстием был равен Аристиду —
Но его сразила простуда.

5

Он был красою человечества,
Помянем же добром его качества.

6

Гг. офицеры, после погребения
Прошу вас всех к себе на собрание.

7

Я поручил юнкеру фон Бокт
Устроить нечто вроде пикника.

8

Это будет и закуска, и вместе обед —
Итак, левое плечо вперед.

9

Заплатить придется очень мало,
Не более пяти рублей с рыла.

10

Разойдемся не прежде, как ввечеру —
Да здравствует Россия — ура!!

Примечание отца Герасима. Видяй сломицу в оке ближнего, не зрит в своем ниже бруса. Строг и свиреп быши к рифмам ближнего твоего, сам же, аки свинья непотребная, рифмы негодные и уху зело вредящие сплел еси. Иди в огонь вечный, анафема.

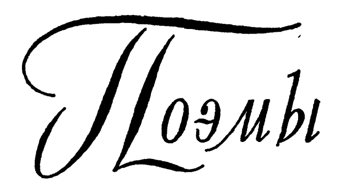
Примечание рукою полковника. Посадить Герасима под арест за эту отметку. Изготовить от моего имени отношение ко владыке, что Герасим искажает текст, называя сучец — сломицею. Это все равно, что если б я отворот назвал погонами.

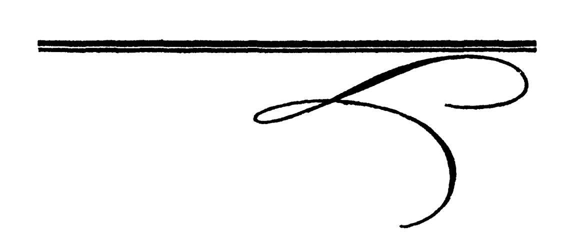
Доклад полкового адъютанта. Так как отец Герасим есть некоторым образом духовное лицо, находящееся в прямой зависимости от Консистории и Св. Синода, то не будет ли отчасти неловко подвергнуть его мере административной посаждением его под арест, установленный более для проступков по военной части.

Отметка полковника. А мне что за дело. Все-таки посадить после пикника.

Примечание полкового адъютанта. Узнав о намерении полковника, отец Герасим изготовил донос графу Арак-

чееву, в котором объяснял, что полковник два года не был на исповеди. О том же изготовил он донос и к архипастырю Фотию и прочел на пикнике полковнику отпуски. Однако, когда подали горячее, не отказался пить за здоровье полковника, причем полковник выпил и за его здоровье. Это повторялось несколько раз, и после бланманже и суфле-вертю, когда гг. офицеры танцевали вприсядку, полковник и отец Герасим обнялись и со слезами на глазах сделали три тура мазурки, а дело предали забвению. При этом был отдан приказ, чтобы гг. офицеры и юнкера, а равно и нижние чины не смели исповедоваться у посторонних иереев, а только у отца Герасима, под опасением для гг. офицеров трехнедельного ареста, для гг. юнкеров дежурств при помойной яме, а для нижних чинов телесного наказания.


Поэмы



ГРЕШНИЦА

1

Народ кипит, веселье, хохот,
Звон лютней и кимвалов грохот,
Кругом и зелень, и цветы,
И меж столбов, у входа дома,
Парчи тяжелой переломы
Тесьмой узорной подняты;
Чертоги убраны богато,
Везде горит хрусталь и злато,
Возниц и коней полон двор;
Теснясь за трапезой великой,
Гостей пирует шумный хор,
Идет, сливаяся с музыкой,
Их перекрестный разговор.

Ничем беседа не стеснима,
Они свободно говорят
О ненавистном иге Рима,
О том, как властвует Пилат,
О их старшин собранье тайном,
Торговле, мире, и войне,
И муже том необычайном,
Что появился в их стране.

2

«Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренью он учил,

Он все законы Моисея
Любви закону подчинил;
Не терпит гнева он, ни мщенья,
Он проповедует прощенье,
Велит за зло платить добром;
Есть неземная сила в нем,
Слепым он возвращает зренье,
Дарит и крепость и движенье
Тому, кто был и слаб и хром;
Ему признания не надо,
Сердец мышленье отперто,
Его пытующего взгляда
Еще не выдержал никто.
Целя недуг, врачуя муку,
Везде спасителем он был,
И всем простер благую руку,
И никого не осудил.
То, видно, богом муж избра́нный!
Он там, по о́нпол Иордана,
Ходил как посланный небес,
Он много там свершил чудес,
Теперь пришел он, благодушный,
На эту сторону реки,
Толпой прилежной и послушной
За ним идут ученики».

3

Так гости, вместе рассуждая,
За длинной трапезой сидят;
Меж ними, чашу осушая,
Сидит блудница молодая;
Ее причудливый наряд
Невольно привлекает взоры,
Ее нескромные уборы
О грешной жизни говорят;
Но дева падшая прекрасна;
Взирая на нее, навряд
Пред силой прелести опасной
Мужи и старцы устоят:
Глаза насмешливы и смелы,

Как снег Ливана, зубы белы,
Как зной, улыбка горяча;
Вкруг стана падая широко,
Сквозные ткани дразнят око,
С нагого спущены плеча.
Ее и серьги и запястья,
Звеня, к восторгам сладострастья,
К утехам пламенным зовут,
Алмазы блещут там и тут,
И, тень бросая на ланиты,
Во всем обилии красы,
Жемчужной нитью перевиты,
Падут роскошные власы;
В ней совесть сердца не тревожит,
Стыдливо не вспыхает кровь,
Купить за злато всякий может
Ее продажную любовь.

И внемлет дева разговорам,
И ей они звучат укором;
Гордыня пробудилась в ней,
И говорит с хвастливым взором:
«Я власти не страшусь ничьей;
Заклад со мной держать хотите ль?
Пускай предстанет ваш учитель,
Он не смутит моих очей!»

4

Вино струится, шум и хохот,
Звон лютней и кимвалов грохот,
Куренье, солнце и цветы;
И вот к толпе, шумящей праздно,
Подходит муж благообразный;
Его чудесные черты,
Осанка, поступь и движенья,
Во блеске юной красоты,
Полны огня и вдохновенья;
Его величественный вид
Неотразимой дышит властью,
К земным утехам нет участья,
И взор в грядущее глядит.

То муж на смертных непохожий,
Печать избранника на нем,
Он светел, как архангел божий,
Когда пылающим мечом
Врага в кромешные оковы
Он гнал по манию Иеговы.
Невольно грешная жена
Его величьем смущена
И смотрит робко, взор понизив,
Но, вспомня свой недавный вызов,
Она с седалища встает
И, стан свой выпрямивши гибкий
И смело выступив вперед,
Пришельцу с дерзкою улыбкой
Фиал шипящий подает.

«Ты тот, что учит отреченью —
Не верю твоему ученью,
Мое надежней и верней!
Меня смутить не мысли ныне,
Один скитавшийся в пустыне,
В посте проведший сорок дней!
Лишь наслажденьем я влекома,
С постом, с молитвой незнакома,
Я верю только красоте,
Служу вину и поцелуям,
Мой дух тобою не волнуем,
Твоей смеюсь я чистоте!»

И речь ее еще звучала,
Еще смеялася она,
И пена легкая вина
По кольцам рук ее бежала,
Как общий говор вкруг возник,
И слышит грешница в смущенье:
«Она ошиблась, в заблужденье
Ее привел пришельца лик —
То не учитель перед нею,
То Иоанн из Галилеи,
Его любимый ученик!»

5

Небрежно немощным обидам
Внимал он девы молодой,
И вслед за ним с спокойным видом
Подходит к храмине другой.
В его смиренном выраженье
Восторга нет, ни вдохновенья,
Но мысль глубокая легла
На очерк дивного чела.
То не пророка взгляд орлиный,
Не прелесть ангельской красы,
Делятся на две половины
Его волнистые власы;
Поверх хитона упадая,
Одела риза шерстяная
Простою тканью стройный рост,
В движеньях скромен он и прост;
Ложась вкруг уст его прекрасных,
Слегка раздвоена брада,
Таких очей благих и ясных
Никто не видел никогда.

И пронеслося над народом
Как дуновенье тишины,
И чудно благостным приходом
Сердца гостей потрясены.
Замолкнул говор. В ожиданье
Сидит недвижное собранье,
Тревожно дух переводя.
И он, в молчании глубоком,
Обвел сидящих тихим оком
И, в дом веселья не входя,
На дерзкой деве самохвальной
Остановил свой взор печальный.

6

И был тот взор как луч денницы,
И все открылося ему,
И в сердце сумрачном блудницы

Он разогнал ночную тьму;
И всё, что было там таимо,
В грехе что было свершено,
В ее глазах неумолимо
До глубины озарено;
Внезапно стала ей понятна
Неправда жизни святотатной,
Вся ложь ее порочных дел,
И ужас ею овладел.
Уже на грани сокрушенья,
Она постигла в изумленье,
Как много благ, как много сил
Господь ей щедро подарил
И как она восход свой ясный
Грехом мрачила ежечасно;
И, в первый раз гнушаясь зла,
Она в том взоре благодатном
И кару дням своим развратным,
И милосердие прочла.
И, чуя новое начало,
Еще страшась земных препон.
Она, колебляся, стояла...

И вдруг в тиши раздался звон
Из рук упавшего фиала...
Стесненной груди слышен стон,
Бледнеет грешница младая,
Дрожат открытые уста,
И пала ниц она, рыдая,
Перед святынею Христа.

1857 <?>

ИОАНН ДАМАСКИН

1

Любим калифом Иоанн;
Ему, что день, почет и ласка,
К делам правления призван
Лишь он один из христиан
Порабощенного Дамаска.
Его поставил властелин
И суд рядить, и править градом,
Он с ним беседует один,
Он с ним сидит в совете рядом;
Окружены его дворцы
Благоуханными садами,
Лазурью блещут изразцы,
Убра́ны стены янтарями;
В полдневный зной приют и тень
Дают навесы, шелком тканы,
В узорных банях ночь и день
Шумят студеные фонтаны.

Но от него бежит покой,
Он бродит сумрачен; не той
Он прежде мнил идти дорогой,
Он счастлив был бы и убогий,
Когда б он мог в тиши лесной,
В глухой степи, в уединенье,
Двора волнение забыть

И жизнь смиренно посвятить
Труду, молитве, песнопенью.

И раздавался уж не раз
Его красноречивый глас
Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной.
Упорно с ней боролся он,
И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
И как художества ограда,
Давно известен и почтен.

Но шум и блеск его тревожит,
Ужиться с ними он не может,
И, тяжкой думой обуян,
Тоска в душе и скорбь на лике,
Вошел правитель Иоанн
В чертог дамасского владыки.
«О государь, внемли! мой сан,
Величье, пышность, власть и сила,
Все мне несносно, все постыло.
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным бога славить!
В толпе вельмож всегда один,
Мученья полон я и скуки;
Среди пиров, в главе дружин,
Иные слышатся мне звуки;
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»

И тот просящему в ответ:
«Возвеселись, мой раб любимый!
Печали вечной в мире нет
И нет тоски неизлечимой!
Твоею мудростью одной
Кругом Дамаск могуч и славен.

Кто ныне нам величьем равен?
И кто дерзнет на нас войной?
А я возвышу жребий твой —
Недаром я окрест державен —
Ты примешь чести торжество,
Ты будешь мне мой брат единый:
Возьми полцарства моего,
Лишь правь другою половиной!»

К нему певец: «Твой щедрый дар,
О государь, певцу не нужен;
С иною силою он дружен;
В его груди пылает жар,
Которым зиждется созданье;
Служить творцу его призванье;
Его души незримый мир
Престолов выше и порфир.
Он не изменит, не обманет;
Все, что других влечет и манит:
Богатство, сила, слава, честь —
Все в мире том в избытке есть;
А все сокровища природы:
Степей безбрежный простор,
Туманный очерк дальних гор
И моря пенистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина —
То всё одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет!
О, верь, ничем тот не подкупен,
Кому сей чудный мир доступен,
Кому господь дозволил взгляд
В то сокровенное горнило,
Где первообразы кипят,
Трепещут творческие силы!
То их торжественный прилив
Звучит певцу в его глаголе —

О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»

И рек калиф: «В твоей груди
Не властен я сдержать желанье,
Певец, свободен ты, иди,
Куда влечет тебя призванье!»

И вот правителя дворцы
Добычей сделались забвенья;
Оделись пестрые зубцы
Травой и прахом запустенья;
Его несчетная казна
Давно уж нищим раздана,
Усердных слуг не видно боле,
Рабы отпущены на волю,
И не укажет ни один,
Куда их скрылся господин.
В хоромах стены и картины
Давно зака́ны паути́ной,
И мхом фонтаны заросли;
Плющи, ползущие по хорам,
От самых сводов до земли
Зеленым падают узором,
И мак спокойно полевой
Растет кругом на звонких плитах,
И ветер, шелестя травой,
В чертогах ходит позабытых.

2

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,

И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
Как горней бури приближенье,
Как натиск пенящихся вод,
Теперь в груди моей растет
Святая сила вдохновенья.
Уж на устах дрожит хвала
Всему, что благо и достойно,—
Какие ж мне воспеть дела?
Какие битвы или войны?
Где я для дара моего
Найду высокую задачу?
Чье передам я торжество
Иль чье падение оплачу?
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный;
Блажен, кто жизнию умел
Хоть раз коснуться правды вечной;
Блажен, кто истину искал,
И тот, кто, побежденный, пал
В толпе ничтожной и холодной,
Как жертва мысли благородной!
Но не для них моя хвала,
Не им восторга излиянья!
Мечта для песен избрала
Не их высокие деянья!
И не в венце сияет он,
К кому душа моя стремится;
Не блеском славы окружен,
Не на звенящей колеснице
Стоит он, гордый сын побед;
Не в торжестве величья — нет,—
Я зрю его передо мною
С толпою бедных рыбаков;
Он тихо, мирною стезею,
Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей своих отраду
В сердца простые он лиет,

Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет.

Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами, во плоти,
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
О мой господь, твои оковы,
Твоим страданием страдать,
И крест на плечи твой приять,
И на главу венец терновый!
О, если б мог я лобызать
Лишь край святой твоей одежды,
Лишь пыльный след твоих шагов,
О мой господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого
Отныне, вещие уста!
Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!

3

Часы бегут. Ночная тень
Не раз сменяла зной палящий,
Не раз, всходя, лазурный день
Свивал покров с природы спящей;
И перед странником вдали
И волновались и росли
Разнообразные картины:
Белели снежные вершины
Над лесом кедровым густым,
Иордан сверкал в степном просторе,
И Мертвое чернело море,
Сливаясь с небом голубым.
И вот, виясь в степи широкой,
Чертой изогнутой легло

Пред ним Кедронского потока
Давно безводное русло.

Смеркалось. Пар струился синий;
Кругом царила тишина;
Мерцали звезды; над пустыней
Всходила медленно луна.
Брегов сожженные стремнины
На дно сбегают крутизной,
Спирая узкую долину
Двойной отвесною стеной.
Внизу кресты, симво̀лы веры,
Стоят в обрывах здесь и там,
И видны странника очам
В утесах рытые пещеры.
Сюда со всех концов земли,
Бежав мирского треволненья,
Отцы святые притекли
Искать покоя и спасенья.
С краев до высохшего дна,
Где спуск крутой ведет в долину,
Руками их возведена
Из камней крепкая стена,
Отпор степному сарацину.
В стене ворота. Тесный вход
Над ними башня стережет.
Тропинка вьется над оврагом,
И вот, спускаясь по скалам,
При свете звезд, усталым шагом
Подходит странник к воротам.
«Тебя, безбурное жилище,
Тебя, познания купель,
Житейских помыслов кладбище
И новой жизни колыбель,
Тебя приветствую, пустыня,
К тебе стремился я всегда!
Будь мне убежищем отныне,
Приютом песен и труда!
Все попечения мирские
Сложив с себя у этих врат,
Приносит вам, отцы святые,
Свой дар и гусли новый брат!»

4

«Отшельники Кедронского потока,
Игумен вас сзывает на совет!
Сбирайтесь все: пришедший издалека
Вам новый брат приносит свой привет!
Велики в нем и вера и призванье,
Но должен он пройти чрез испытанье.

Из вас его вручаю одному:
Он тот певец, меж всеми знаменитый,
Что разогнал иконоборства тьму,
Чьим словом ложь попра́на и разбита,
То Иоанн, святых икон защита —
Кто хочет быть наставником ему?»

И лишь назвал игумен это имя,
Заволновался весь монахов ряд,
И на певца дивятся и глядят,
И пробегает шепот между ними.
Главами все поникнувши седыми,
С смирением игумну говорят:

«Благословен сей славный божий воин,
Благословен меж нас его приход,
Но кто же здесь учить того достоин,
Кто правды свет вокруг себя лиёт?
Чье слово нам как колокол звучало —
Того ль приять дерзнем мы под начало?»

Тут из толпы один выходит брат;
То черноризец был на вид суровый,
И строг его пытующий был взгляд,
И строгое певцу он молвил слово:
«Держать посты уставы нам велят,
Служенья ж мы не ведаем иного! —

Коль под моим началом хочешь быть,
Тебе согласен дать я наставленье,
Но должен ты отныне отложить
Ненужных дум бесплодное броженье;
Дух праздности и прелесть песнопенья
Постом, певец, ты должен победить!

Коль ты пришел отшельником в пустыню,
Умей мечты житейские попрать,
И на уста, смирив свою гордыню,
Ты наложи молчания печать!
Исполни дух молитвой и печалью —
Вот мой устав тебе в новоначалье».

Замолк монах. Нежданный приговор
Как гром упал средь мирного синклита.
Смутились все. Певца померкнул взор,
Покрыла бледность впалые ланиты.

И неподвижен долго он стоял,
Безмолвно опустив на землю очи,
Как будто бы ответа он искал,
Но отвечать недоставало мочи.

И начал он: «Моих всю бодрость сил,
И мысли все, и все мои стремленья —
Одной я только цели посвятил:
Хвалить творца и славить в песнопенье.

Но ты велишь скорбеть мне и молчать —
Твоей, отец, я повинуюсь воле:
Весельем сердце не взыграет боле,
Уста сомкнет молчания печать.

Так вот где ты таилось, отреченье,
Что̀ я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву ты, господь, его избрал!

Настаньте ж, дни молчания и муки!
Прости, мой дар! Ложись на гусли, прах!
А вы, в груди взлелеянные звуки,
Замрите все на трепетных устах!

Спустися, ночь, на горестного брата
И тьмой его от солнца отлучи!
Померкните, затмитесь без возврата,
Моих псалмов звенящие лучи!

Погибни, жизнь! Погасни, огнь алтарный!
Уймись во мне, взволнованная кровь!
Свети лишь ты, небесная любовь,
В моей ночи звездою лучезарной!

О мой господь! Прости последний стон
Последний сердца страждущего ропот!
Единый миг — замрет и этот шепот,
И встану я, тобою возрожден!

Свершилось. Мрака набегают волны.
Взор гаснет. Стынет кровь. Всему конец!
Из мира звуков ныне в мир безмолвный
Нисходит к вам развенчанный певец!»

5

В глубоком ущелье,
Как гнезда стрижей,
По желтым обрывам темнеют пустынные кельи,
Но речи не слышно ничьей;
Все тихо, пока не сберется к служенью
Отшельников рой;
И вторит тогда их обрядному пенью
Один отголосок глухой.
А там, над краями долины,
Безлюдной пустыни царит торжество,
И пальмы не видно нигде ни единой,
Все пусто кругом и мертво.
Как жгучее бремя,
Так небо усталую землю гнетет,
И кажется, будто бы время
Свой медленный звучно свершает над нею полет.
Порой отдаленное слышно рычанье
Голодного льва;
И снова наступит молчанье,
И снова шумит лишь сухая трава,
Когда из-под ка́мней змея выползая
Блеснет чешуей;
Крилами треща, саранча полевая
Взлетит иногда. Иль случится порой,

Пустыня проснется от дикого клика,
Посыпятся камни, и там, в вышине,
Дрожа и колеблясь, мохнатая пика
Покажется в небе. На легком коне
Появится всадник; над самым оврагом
Сдержав скакуна запененного лёт,
Проедет он мимо обители шагом
Да инокам сверху проклятье пошлет.
И снова все стихнет. Лишь в полдень орлицы
На крыльях недвижных парят,
Да вечером звезды горят,
И скучною тянутся длинные дни вереницей.

6

Порою в тверди голубой
Проходят тучи над долиной;
Они картину за картиной,
Плывя, свивают меж собой.
Так, в нескончаемом движенье,
Клубится предо мной всегда
Воспоминаний череда,
Погибшей жизни отраженья;
И льнут, и вьются без конца,
И вечно волю осаждают,
И онемевшего певца,
Ласкаясь, к песням призывают.
И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробужденью;
Так ждет лишь ветра дуновенья
Под пеплом тлеющий пожар —
Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И, в тишине, над чутким ухом
Дрожит созвучий мерный строй;
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы.
Но тщетно я, в бесплодной битве,
Твержу уставные слова

И заучённые молитвы —
Душа берет свои права!
Увы, под этой ризой черной,
Как в оны дни под багрецом,
Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно!
Юдоль, где я похоронил
Броженье деятельных сил,
Свободу творческого слова —
Юдоль молчанья рокового!
О, передай душе моей
Твоих стремнин покой угрюмый!
Пустынный ветер, о развей
Мои недремлющие думы!

7

Тщетно он просит и ждет от безмолвной юдоли покоя,
Ветер пустынный не может недремлющей думы развеять.
Годы проходят один за другим, всё бесплодные годы!
Все тяжелее над ним тяготит роковое молчанье.
Так он однажды сидел у входа пещеры, рукою
Грустные очи закрыв и внутренним звукам внимая.
К скорбному тут к нему подошел один черноризец,
Пал на колени пред ним и сказал: «Помоги, Иоанне!
Брат мой по плоти преставился; братом он был по душе мне!
Тяжкая горесть снедает меня; я плакать хотел бы —
Слезы не льются из глаз, но скипаются в горестном сердце.
Ты же мне можешь помочь: напиши лишь умильную песню,
Песнь погребальную милому брату, ее чтобы слыша,
Мог я рыдать, и тоска бы моя получила ослабу!»
Кротко взглянул Иоанн и печально в ответ ему молвил:
«Или не ведаешь ты, каким я связан уставом?
Строгое старец на песни мои наложил запрещенье!»
Тот же стал паки его умолять, говоря: «Не узнает
Старец о том никогда; он отсель отлучился на три дня,
Брата ж мы завтра хороним; молю тебя всею душою,
Дай утешение мне в беспредельно горькой печали!»

Паки ж отказ получив: «Иоанне! — сказал черноризец,—
Если бы был ты телесным врачом, а я б от недуга
Так умирал, как теперь умираю от горя и скорби,
Ты ли бы в помощи мне отказал? И не дашь ли ответа
Господу богу о мне, если ныне умру безутешен?»
Так говоря, колебал в Дамаскине он мягкое сердце.
Собственной полон печали, певец дал жалости место;
Черною тучей тогда на него низошло вдохновенье,
Образы мрачной явились толпой, и в воздухе звуки
Стали надгробное мерно гласить над усопшим рыданье.
Слушал певец, наклонивши главу, то незримое пенье,
Долго слушал, и встал, и, с молитвой вошедши в пещеру,
Там послушной рукой начертал, что ему прозвучало.
Так был нарушен устав, так прервано было молчанье.

Над вольной мыслью богу неугодны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!

Ужели вправду мнил ты, близорукий,
Сковать свои мечты?
Ужель попрать в себе живые звуки
Насильно думал ты?

С Ливанских гор, где в высоте лазурной
Белеет дальний снег,
В простор степей стремяся, ветер бурный
Удержит ли свой бег?

И потекут ли вспять струи потока,
Что между скал гремят?
И солнце там, поднявшись от востока,
Вернется ли назад?

8

Колоколов унылый звон
С утра долину оглашает.
Покойник в церковь принесен;
Обряд печальный похорон

Собор отшельников свершает.
Свечами светится алтарь,
Стоит певец с поникшим взором,
Поет напутственный тропарь,
Ему монахи вторят хором:

Тропарь

«Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели,—
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!

Как ярый витязь смерть нашла,
Меня как хищник низложила,
Свой зев разинула могила
И все житейское взяла.
Спасайтесь, сродники и чада,
Из гроба к вам взываю я,
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрите пламень ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем, как цветы,—
Почто же мы мятемся всуе?
Престолы наши суть гроба,
Чертоги наши — разрушенье,—
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!

Средь груды тлеющих костей
Кто царь? кто раб? судья иль воин?
Кто царства божия достоин?
И кто отверженный злодей?
О братья, где сребро и злато?
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Все пепел, дым, и пыль, и прах,
Все призрак, тень и привиденье —
Лишь у тебя на небесах,
Господь, и пристань и спасенье!
Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье —
Прими усопшего, господь,
В твои блаженные селенья!

И ты, предстательница всем!
И ты, заступница скорбящим!
К тебе о брате, здесь лежащем,
К тебе, святая, вопием!
Моли божественного сына,
Его, пречистая, моли,
Дабы отживший на земли
Оставил здесь свои кручины!
Все пепел, прах, и дым, и тень!
О други, призраку не верьте!
Когда дохнет в нежданный день
Дыханье тлительное смерти,
Мы все поляжем, как хлеба,
Серпом подрезанные в нивах,—
Прими усопшего раба,
Господь, в селениях счастливых!

Иду в незнаемый я путь,
Иду меж страха и надежды;
Мой взор угас, остыла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты вежды;
Лежу безгласен, недвижим,
Не слышу братского рыданья,
И от кадила синий дым
Не мне струит благоуханье;

Но вечным сном пока я сплю,
Моя любовь не умирает,
И ею, братья, вас молю,
Да каждый к господу взывает:
Господь! В тот день, когда труба
Вострубит мира преставленье,—
Прими усопшего раба
В твои блаженные селенья!»

9

Так он с монахами поет.
Но вот меж ними, гость нежданный,
Нахмуря брови, предстает
Наставник старый Иоанна.
Суровы строгие черты,
Главу подъемля величаво:
«Певец,— он молвит,— так ли ты
Блюдешь и чтишь мои уставы?
Когда пред нами братний прах,
Не петь, но плакать нам пристойно!
Изыди, инок недостойный,—
Не в наших жить тебе стенах!»

И, гневной речью пораженный,
Виновный пал к его ногам:
«Прости, отец! не знаю сам,
Как преступил твои законы!
Во мне звучал немолчный глас,
В неодолимой сердца муке
Невольно вырвалися звуки,
Невольно песня полилась!»
И ноги старца он объемлет:
«Прости вину мою, отец!»
Но тот раскаянью не внемлет,
Он говорит: «Беги, певец!
Досель житейская гордыня
Еще жива в твоей груди —
От наших келий отойди,
Не оскверняй собой пустыни!»

10

Прошла по лавре роковая весть,
Отшельников смутилося собранье:
«Наш Иоанн, Христовой церкви честь,
Наставника навлек негодованье!
Ужель ему придется перенесть,
Ему, певцу, позорное изгнанье?»
И жалостью исполнились сердца,
И все собором молят за певца.

Но, словно столб, наставник непреклонен,
И так в ответ просящим молвит он:
«Устав, что мной однажды узаконен,
Не будет даром ныне отменен.
Кто к гордости и к ослушанью склонен,
Того как терн мы вырываем вон.
Но если в нем неложны сожаленья,
Эпитимьей он выкупит прощенье:

Пусть он обходит лавры черный двор,
С лопатою обходит и с метлою;
Свой дух смирив, пусть всюду грязь и сор
Он непокорной выметет рукою.
Дотоль над ним мой крепок приговор,
И нет ему прощенья предо мною!»
Замолк. И, вняв безжалостный отказ,
Вся братия в печали разошлась.

Презренье, други, на певца,
Что̀ дар священный унижает,
Что̀ пред кумирами склоняет
Красу лаврового венца!
Что̀ гласу истины и чести
Внушенье выгод предпочел,
Что̀ угождению и лести
Бесстыдно продал свой глагол!
Из века в век звучать готово,
Ему на казнь и на позор,
Его бессовестное слово,
Как всенародный приговор.

Но ты, иной взалкавший пищи,
Ты, что молитвою влеком,
Высокий сердцем, духом нищий,
Живущий мыслью со Христом,
Ты, что пророческого взора
Пред блеском мира не склонял,—
Испить ты можешь без укора
Весь унижения фиал!

И старца речь дошла до Дамаскина.
Эпитимьи условия узнав,
Певец спешит свои загладить вины,
Спешит почтить неслыханный устав.
Сменила радость горькую кручину:
Без ропота лопату в руки взяв,
Певец Христа не мыслит о пощаде,
Но униженье терпит бога ради.

Тот, кто с вечною любовию
Воздавал за зло добром —
Избиен, покрытый кровию,
Венчан тѐрновым венцом —
Всех, с собой страданьем сближенных,
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных,
Осенил своим крестом.

Вы, чьи лучшие стремления
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавление —
К божью свету мы грядем!
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом!

11

Темнеет. Пар струится синий;
В ущелье мрак и тишина;

Мерцают звезды; и луна
Восходит тихо над пустыней.
В свою пещеру одинок
Ушел отшельник раздраженный.
Все спит. Луной посеребренный,
Иссякший видится поток.
Над ним скалистые вершины
Из мрака смотрят там и тут;
Но сердце старца не влекут
Природы мирные картины;
Оно для жизни умерло.
Согнувши строгое чело,
Он, чуждый миру, чуждый братьям,
Лежит, простерт перед распятьем.
В пыли седая голова,
И смерть к себе он призывает,
И шепчет мрачные слова,
И камнем в перси ударяет.
И долго он поклоны клал,
И долго смерть он призывал,
И наконец, в изнеможенье,
Безгласен, наземь он упал,
И старцу видится виденье:

Разверзся вдруг утесов свод,
И разлилось благоуханье,
И от невидимых высот
В пещеру падает сиянье.
И в трепетных его лучах,
Одеждой звездною блистая,
Явилась дева пресвятая
С младенцем спящим на руках.
Из света чудного слиянный,
Ее небесно-кроток вид.
«Почто ты гонишь Иоанна? —
Она монаху говорит.—
Его молитвенные звуки,
Как голос неба на земли,
В сердца послушные текли,
Врачуя горести и муки.
Почто ж ты, старец, заградил
Нещадно тот источник сильный,

Который мир бы напоил
Водой целебной и обильной?
На то ли жизни благодать
Господь послал своим созданьям,
Чтоб им бесплодным истязаньем
Себя казнить и убивать?
Он дал природе изобилье,
И бег струящимся рекам,
Он дал движенье облакам,
Земле цветы и птицам крылья.
Почто ж певца живую речь
Сковал ты заповедью трудной?
Оставь его глаголу течь
Рекой певучей неоскудно!
Да оросят его мечты,
Как дождь, житейскую долину;
Оставь земле ее цветы,
Оставь созвучья Дамаскину!»

Виденье скрылось в облаках,
Заря восходит из тумана...
Встает встревоженный монах,
Зовет и ищет Иоанна —
И вот обнял его старик:
«О сын смирения Христова!
Тебя душою я постиг —
Отныне петь ты можешь снова!
Отверзи вещие уста,
Твои окончены гоненья!
Во имя господа Христа,
Певец, святые вдохновенья
Из сердца звучного излей,
Меня ж, молю, прости, о чадо,
Что слову вольному преградой
Я был по грубости моей!»

12

Воспой же, страдалец, воскресную песнь!
Возрадуйся жизнию новой!

Исчезла коснения долгая плеснь,
Воскресло свободное слово!

Того, кто оковы души сокрушил,
Да славит немолчно созданье!
Да хвалят торжественно господа сил
И солнце, и месяц, и хоры светил,
И всякое в мире дыханье!

Блажен, кому ныне, господь, пред тобой
И мыслить и молвить возможно!
С бестрепетным сердцем и с теплой мольбой
Во имя твое он выходит на бой
Со всем, что неправо и ложно!

Раздайся ж, воскресная песня моя!
Как солнце взойди над землею!
Расторгни убийственный сон бытия
И, свет лучезарный повсюду лия,
Громи, что созиждено тьмою!

Не с диких падает высот,
Средь темных скал, поток нагорный;
Не буря грозная идет;
Не ветер прах вздымает черный;
Не сотни гнущихся дубов
Шумят главами вековыми;
Не ряд морских бежит валов,
Качая гребнями седыми,—

То Иоанна льется речь,
И, сил исполненная новых,
Она громит, как божий меч,
Во прах противников Христовых.

Не солнце красное встает;
Не утро светлое настало;
Не стая лебедей взыграла
Весной на лоне ясных вод;

Не соловьи, в стране привольной,
Зовут соседних соловьев;
Не гул несется колокольный
От многохрамных городов,—

То слышен всюду плеск народный,
То ликованье христиан,
То славит речию свободной
И хвалит в песнях Иоанн,
Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда.

1858 <?>

АЛХИМИК

НЕОКОНЧЕННАЯ ПОЭМА [1]

1

Дымясь, качалися кадила,
Хвалебный раздавался хор,
Алтарь сиял, органа сила
Священнопению вторила
И громом полнила собор.
И под его старинной сенью
На волны набожной толпы
От окон радужною тенью
Косые падали столпы;
А дале мрак ходил по храму,
Лишь чрез открытые врата,
Как сквозь узорчатую раму,
Синела неба красота,
Виднелся берег отдаленный,
И зелень лавров и олив,
И, белой пеной окаймленный,
Лениво плещущий залив.

---

[1] Основанием этому отрывку служит следующая легенда:
В 1250 году Раймунд Lullius, или Lulle, сенескалк Балеарских островов, проезжая верхом через площадь города Пальмы, увидел одну даму, входящую в собор. Красота ее так поразила его, что он, забыв всякое приличие и не сходя с лошади, последовал за нею. Такой соблазн наделал много шума, но с этой поры дон Раймунд не переставал преследовать своей любовью донью Элеонору (или, как называют ее другие, Амброзию De Castello). Чтобы от него избавиться, она обещала полюбить его, если он достанет ей жизненный эликсир. Дон Раймунд с радостью принял условие, сделался алхимиком, отправился в отдаленные края и обрекся целому ряду самых невероятных приключений.

И вот, когда замолкли хоры,
И с тихим трепетом в сердцах,
Склонив главы, потупя взоры,
Благоговейно пали в прах
Ряды молящихся густые,
И, прославляя бога сил,
Среди великой литургии
Епископ чашу возносил,—
Раздался шум. Невнятный ропот
Пронесся от открытых врат,
В испуге вдруг за рядом ряд,
Теснясь, отхлынул,— конский топот,—
Смятенье,— давка,— женский крик,—
И на коне во храм проник
Безумный всадник. Вся обитель,
Волнуясь, в клик слилась один:
«Кто он, святыни оскорбитель?
Какого края гражданин?
Египта ль он, Марокка ль житель
Или Гранады гордый сын,
Перед которою тряслися
Уж наши веси столько крат,
Иль не от хищного ль Туниса
К брегам причаливший пират?»

Но не языческого края
На нем одежда боевая:
Ни шлема с пестрою чалмой,
Ни брони с притчами Корана,
Ни сабли нет на нем кривой,
Ни золотого ятагана.
Изгибы белого пера
Над шапкой зыблются шелко́вой,
Прямая шпага у бедра,
На груди вышиты оковы,
И, сброшена с его плеча,
В широких складках величаво
Падет на сбрую епанча
С крестом зубчатым Калатравы.

Меж тем как, пеня удила,
Сердитый конь по звонким плитам

Нетерпеливым бьет копытом,
Он сам, не трогаясь с седла,
Толпе не внемля разъяренной
И как виденьем поражен,
Вперяет взор свой восхищенный
В толпу испуганную жен.
Кто ж он? И чьей красою чудной
Поступок вызван безрассудный?
Кто из красавиц этих всех
Его вовлек во смертный грех?
Их собралось сюда немало,
И юных женщин и девиц,
И не скрывают покрывала
Во храме божием их лиц;
И после первого смущенья
Участья шепот и прощенья
Меж них как искра пробежал,
Пошли догадка за догадкой,
И смех послышался украдкой
Из-за нарядных опахал.
Но, мыслью полная иною,
Одна, в сознанье красоты,
Спешила тканью кружевною
Покрыть виновные черты.

2

«Я сознаюсь в любви мятежной,
В тревоге чувств, в безумье дел —
Тому безумье неизбежно,
Кто раз, сеньора, вас узрел!
Пусть мой поступок без примера,
Пусть проклят буду я от всех —
Есть воле грань, есть силам мера;
Господь простит мой тяжкий грех,
Простит порыв мой дерзновенный,
Когда я, страстию горя,
Твой лик узнав благословенный,
Забыл святыню алтаря!
Но если нет уж мне прощенья,
Я не раскаиваюсь — знай,—
Я отрекаюсь от спасенья,
Моя любовь мне будет рай!

Я все попру, я все разрушу,
За миг блаженства отдаю
Мою измученную душу
И место в будущем раю!..
Сеньора, здесь я жду ответа,
Решите словом мой удел,
На край меня пошлите света,
Задайте ряд опасных дел,—
Я жду лишь знака, жду лишь взора,
Спешите участь мне изречь,—
У ваших ног лежат, сеньора,
Мой ум, и жизнь, и честь, и меч!»

Замолк. В невольном видит страхе
Она лежащего во прахе;
Ему ответить силы нет —
Какой безумцу дать ответ?
Не так он, как другие, любит,
Прямой отказ его погубит,
И чтоб снести его он мог,
Нужны пощада и предлог.
И вот она на вызов страстный,
Склонив приветливо свой взор,
С улыбкой тихой и прекрасной:
«Вставайте,— говорит,— сеньор!
Я вижу, вами овладела
Любовь без меры и предела,
Любить, как вы, никто б не мог,
Но краток жизни нашей срок;
Я вашу страсть делить готова,
Но этот пыл для мира новый
Мы заключить бы не могли
В условья бренные земли;
Чтоб огнь вместить неугасимый,
Бессмертны сделаться должны мы.
Оно возможно; жизни нить
Лишь стоит чарами продлить.
Я как-то слышала случайно,
Что достают для этой тайны
Какой-то корень, или злак,
Не знаю где, не знаю как,
Но вам по сердцу подвиг трудный —

Достаньте ж этот корень чудный,
Ко мне вернитесь — и тогда
Я ваша буду навсегда!»
И вспрянул он, блестя очами:
«Клянуся небом и землей
Исполнить заданное вами
Какою б ни было ценой!
И ведать отдыха не буду,
И всем страданьям обрекусь,
Но жизни тайну я добуду
И к вам с бессмертием вернусь!»

3

От берегов благоуханных,
Где спят лавровые леса,
Уходит в даль зыбей туманных
Корабль, надувши паруса.
На нем изгнанник молчаливый
Вдали желанный ловит сон,
И взор его нетерпеливый
В пространство синее вперен.
«Вы, моря шумного пучины,
Ты, неба вечного простор,
И ты, светил блестящий хор,
И вы, родной земли вершины,
Поля, и пестрые цветы,
И с гор струящиеся воды,
Отдельно взятые черты
Всецельно дышащей природы!
Какая вас связала нить
Одну другой светлей и краше?
Каким законом объяснить
Родство таинственное наше?
Ты, всесторонность бытия,
Неисчерпаемость явленья,
В тебе повсюду вижу я
Того же света преломленья.
Внутри души его собрать,
Его лучей блудящий пламень
В единый скоп всесильно сжать —
Вот Соломонова печать,
Вот Трисмегиста дивный камень!

Тот всеобъемлющий закон,
Которым все живет от века,
Он в нас самих — он заключен
Незримо в сердце человека!
Его любовь, и гнев, и страх,
Его стремленья и желанья,
Все, что кипит в его делах,
Чем он живит и движет прах,—
Есть та же сила мирозданья!
Не в пыльной келье мудреца
Я смысл ее найду глубокий —
В живые погрузить сердца
Я должен мысленное око!
Среди борьбы, среди войны,
Средь треволнения событий,
Отдельных жизней сплетены
Всечасно рвущиеся нити,
И кто бессмертье хочет пить
Из мимолетного фиала,
Тот микрокосма изучить
Спеши кипящие начала!
Есть край заветный и святой,
Где дважды жизненная сила
Себя двояко проявила
Недостижимой высотой:
Один, в полях Кампаньи дикой,
Предназначением храним,
Стоит торжественный, великий,
Несокрушимый, вечный Рим.
К нему, к подобию вселенной,
Теперь держать я должен путь,
В его движенье почерпнуть
Закон движенья неизменный.
Лети ж, корабль крылатый мой,
Лети в безбрежном просторе,
А ты, под верною кормой,
Шуми, шуми и пенься, море...»

. . . .
. . . .
. . . .

<1867>

ПОРТРЕТ

1

Воспоминаний рой, как мошек туча,
Вокруг меня снует с недавних пор.
Из их толпы цветистой и летучей
Составить мог бы целый я обзор,
Но приведу пока один лишь случай;
Рассудку он имел наперекор
На жизнь мою немалое влиянье —
Так пусть другим послужит в назиданье...

2

Известно, нет событий без следа:
Прошедшее, прискорбно или мило,
Ни личностям доселе никогда,
Ни нациям с рук даром не сходило.
Тому теперь,— но вычислять года
Я не горазд — я думаю, мне было
Одиннадцать или двенадцать лет —
С тех пор успел перемениться свет.

3

Подумать можно: протекло лет сò сто,
Так повернулось старое вверх дном.

А в сущности, все совершилось просто,
Так просто, что — но дело не о том!
У самого Аничковского моста
Большой тогда мы занимали дом:
Он был — никто не усумнится в этом,—
Как прочие, окрашен желтым цветом.

4

Заметил я, что желтый этот цвет
Особенно льстит сердцу патриота;
Обмазать вохрой дом иль лазарет
Неодолима русского охота;
Начальство также в этом с давних лет
Благонамеренное видит что-то,
И вохрятся в губерниях сплеча
Палаты, храм, острог и каланча.

5

Ревенный цвет и линия прямая —
Вот идеал изящества для нас.
Наследники Батыя и Мамая,
Командовать мы приучили глаз
И, площади за степи принимая,
Хотим глядеть из Тулы в Арзамас.
Прекрасное искать мы любим в пошлом —
Не так о том судили в веке прошлом.

6

В своем дому любил аристократ
Капризные изгибы и уступы,
Убра́нный медальонами фасад,
С гирляндами колонн ненужных купы,
На крыше ваз или амуров ряд,
На ворота́х причудливые группы.
Перенимать с недавних стали пор
У дедов мы весь этот милый вздор.

7

В мои ж года хорошим было тоном
Казарменному вкусу подражать,
И четырем или осьми колоннам
Вменялось в долг шеренгою торчать
Под неизбежным греческим фронтоном.
Во Франции такую благодать
Завел, в свой век воинственных плебеев,
Наполеон,— в России ж Аракчеев.

8

Таков и наш фасад был; но внутри
Характер свой прошедшего столетья
Дом сохранил. Покоя два иль три
Могли б восторга вызвать междометье
У знатока. Из бронзы фонари
В сенях висели, и любил смотреть я,
Хоть был тогда в искусстве не толков,
На лепку стен и форму потолков.

9

Родителей своих я видел мало;
Отец был занят; братьев и сестер
Я не знавал; мать много выезжала;
Ворчали вечно тетки; с ранних пор
Привык один бродить я в зал из зала
И населять мечтами их простор.
Так подвиги, достойные романа,
Воображать себе я начал рано.

10

Действительность, напротив, мне была
От малых лет несносна и противна.
Жизнь, как она вокруг меня текла,
Все в той же прозе движась беспрерывно,
Все, что зовут серьезные дела,—

Я ненавидел с детства инстинктивно.
Не говорю, чтоб в этом был я прав,
Но, видно, так уж мой сложился нрав.

11

Цветы у нас стояли в разных залах:
Желтофиолей много золотых
И много гиацинтов, синих, алых,
И палевых, и бледно-голубых;
И я, миров искатель небывалых,
Любил вникать в благоуханье их,
И в каждом запах индивидуальный
Мне музыкой как будто веял дальной.

12

В иные ж дни, прервав мечтаний сон,
Случалось мне очнуться, в удивленье,
С цветком в руке. Как мной был сорван он —
Не помнил я; но в чудные виденья
Был запахом его я погружен.
Так превращало мне воображенье
В волшебный мир наш скучный старый дом —
А жизнь меж тем шла прежним чередом.

13

Предметы те ж, зимою, как и летом,
Реальный мир являл моим глазам:
Учителя ходили по билетам
Всё те ж ко мне; порхал по четвергам
Танцмейстер, весь пропитанный балетом,
Со скрипкою пискливой, и мне сам
Мой гувернер в назначенные сроки
Преподавал латинские уроки.

14

Он немец был от головы до ног,
Учен, серьезен, очень аккуратен,

Всегда к себе неумолимо строг
И не терпел на мне чернильных пятен.
Но, признаюсь, его глубокий слог
Был для меня отчасти непонятен,
Особенно когда он объяснял,
Что̀ разуметь под словом «идеал».

15

Любезен был ему Страбон и Плиний,
Горация он знал до тошноты
И, что̀ у нас так редко видишь ныне,
Высоко чтил художества цветы,
Причем закон волнообразных линий
Мне поставлял условьем красоты,
А чтоб система не пропала праздно,
Он сам и ел и пил волнообразно.

16

Достоинством проникнутый всегда,
Он формою был много озабочен,
«Das Formlose[1] — о, это есть беда!» —
Он повторял и обижался очень,
Когда себе кто не давал труда
Иль не умел в формальностях быть точен;
А красоты классической печать
Наглядно мне давал он изучать.

17

Он говорил: «Смотрите, для примера
Я несколько приму античных поз:
Вот так стоит Милосская Венера;
Так очертанье Вакха создалось;
Вот этак Зевс описан у Гомера;
Вот понят как Праксителем Эрос,

---

[1] Бесформенное (*нем.*).— *Ред.*

А вот теперь я Аполлоном стану» —
И походил тогда на обезьяну.

18

Я думаю, поймешь, читатель, ты,
Что вряд ли мог я этим быть доволен,
Тем более что чувством красоты
Я от природы не был обездолен;
Но у кого все средства отняты,
Тот слышит звон, не видя колоколен;
А сло̀ва я хотя не понимал,
Но чуялся иной мне «идеал».

19

И я душой искал его пытливо —
Но что̀ найти вокруг себя я мог?
Старухи тетки не были красивы,
Величествен мой не был педагог —
И потому мне кажется не диво,
Что типами их лиц я пренебрег,
И на одной из стен большого зала
Тип красоты мечта моя сыскала.

20

То молодой был женщины портрет,
В грацьозной позе. Несколько поблёк он,
Иль, может быть, показывал так свет
Сквозь кружевные занавесы окон.
Грудь украшал ей розовый букет,
Напудренный на плечи падал локон,
И, полный роз, передник из тафты
За кончики несли ее персты.

21

Иные скажут: Живопись упадка!
Условная, пустая красота!

Быть может, так; но каждая в ней складка
Мне нравилась, а тонкая черта
Мой юный ум дразнила как загадка:
Казалось мне, лукавые уста,
Назло глазам, исполненным печали,
Свои края чуть-чуть приподымали.

22

И странно то, что было в каждый час
В ее лице иное выраженье;
Таких оттенков множество не раз
Подсматривал в один и тот же день я:
Менялся цвет неуловимый глаз,
Менялось уст неясное значенье,
И выражал поочередно взор
Кокетство, ласку, просьбу иль укор.

23

Ее судьбы не знаю я поныне:
Была ль маркиза юная она,
Погибшая, увы, на гильотине?
Иль, в Питере блестящем рождена,
При матушке цвела Екатерине,
Играла в ломбр, приветна и умна,
И средь огней потемкинского бала
Как солнце всех красою побеждала?

24

Об этом я не спрашивал тогда
И важную на то имел причину:
Преодолеть я тайного стыда
Никак не мог — теперь его откину;
Могу, увы, признаться без труда,
Что по уши влюбился я в картину,
Так, что страдала несколько латынь;
Уж кто влюблен, тот мудрость лучше кинь.

25

Наставник мой был мною недоволен,
Его чело стал омрачать туман;
Он говорил, что я ничем не болен,
Что это лень и что «wer will, der kann!» [1].
На этот счет он был многоглаголен
И повторял, что нам рассудок дан,
Дабы собой мы всё владели боле
И управлять учились нашей волей.

26

Был, кажется, поклонник Канта он,
Но этот раз забыл его ученье,
Что «Ding an sich» [2], лишь только воплощен,
Лишается свободного хотенья;
Я ж скоро был к той вере приведен,
Что наша воля плод предназначенья,
Зане я тщетно, сколько ни потел,
Хотел хотеть иное, чем хотел.

27

В грамматике, на место скучных правил,
Мне виделся все тот же милый лик;
Без счету мне нули наставник ставил,—
Их получать я, наконец, привык,
Прилежностью себя я не прославил
И лишь поздней добился и постиг,
В чем состоят спряжения красóты.
О классицизм, даешься не легко ты!

28

Все ж из меня не вышел реалист —
Да извинит мне Стасюлевич это!

---

[1] Кто хочет, тот может! (*нем.*).— *Ред.*
[2] Вещь в себе (*нем.*) — *Ред*

Недаром свой мне посвящала свист
Уж не одна реальная газета.
Я ж незлобив: пусть виноградный лист
Прикроет им небрежность туалета
И пусть Зевес, чья сила велика,
Их русского сподобит языка!

29

Да, классик я — но до известной меры:
Я б не хотел, чтоб почерком пера
Присуждены все были землемеры,
Механики, купцы, кондуктора
Виргилия долбить или Гомера;
Избави бог! Не та теперь пора;
Для разных нужд и выгод матерьяльных
Желаю нам поболе школ реальных.

30

Но я скажу: не паровозов дым
И не реторты движут просвещенье —
Свою к нему способность изощрим
Лишь строгой мы гимнастикой мышленья,
И мне сдается: прав мой омоним,
Что классицизму дал он предпочтенье,
Которого так прочно тяжкий плуг
Взрывает новь под семена наук.

31

Всё дело в мере. Впрочем, от предмета
Отвлекся я — вернусь к нему опять:
Те колебанья в линиях портрета
Потребностью мне стало изучать.
Ребячество, конечно, было это,
Но всякий вечер я, ложася спать,
Все думал: как по минованье ночи
Мой встретят взор изменчивые очи?

32

Меня влекла их странная краса,
Как путника студеный ключ в пустыне.
Вставал я в семь, а ровно в два часа,
Отдав сполна дань скуке и латыне,
Благословлял усердно небеса.
Обедали в то время в половине
Четвертого. В час этот, в январе,
Уж сумерки бывают на дворе.

33

И всякий день, собрав мои тетради,
Умывши руки, пыль с воротничка
Смахнув платком, вихры свои пригладя
И совершив два или три прыжка,
Я шел к портрету наблюдений ради;
Само собой, я шел исподтишка,
Как будто вовсе не было мне дела,
Ка́к на меня красавица глядела.

34

Тогда пустой почти был темен зал,
Но беглый свет горящего камина
На потолке расписанном дрожал
И на стене, где виделась картина;
Ручной орган на улице играл;
То, кажется, Моцарта каватина
Всегда в ту пору пела свой мотив,
И слушал я, взор в живопись вперив.

35

Мне чудилось в тех звуках толкованье
И тайный ключ к загадочным чертам;
Росло души неясное желанье,
Со счастьем грусть мешалась пополам;

То юности платил, должно быть, дань я.
Чего хотел, не понимал я сам,
Но что-то вслух уста мои шептали,
Пока меня к столу не призывали.

36

И, впечатленья дум моих храня,
Я нехотя глотал тарелку супа;
С усмешкой все глядели на меня,
Мое лицо, должно быть, было глупо.
Застенчивей стал день я ото дня,
Смотрел на всех рассеянно и тупо,
И на себя родителей упрек
Не раз своей неловкостью навлек.

37

Но было мне страшней всего на свете,
Чтоб из больших случайно кто-нибудь
Заговорить не вздумал о портрете
Иль, хоть слегка, при мне упомянуть.
От мысли той (смешны бывают дети!)
Уж я краснел, моя сжималась грудь,
И казни б я подвергся уголовной,
Чтоб не открыть любви моей греховной.

38

Мне памятно еще до этих пор,
Какие я выдумывал уловки,
Чтоб изменить искусно разговор,
Когда предметы делались неловки;
А прошлый век, Екатеринин двор,
Роброны, пудра, фижмы иль шнуровки,
И даже сам Державин, автор од,
Уж издали меня бросали в пот.

39

Читатель мой, скажи, ты был ли молод?
Не всякому известен сей недуг.
Пора, когда любви нас мучит голод,
Для многих есть не более как звук;
Нам на Руси любить мешает холод
И, сверх того, за службой недосуг:
Немногие у нас родятся наги —
Большáя часть в мундире и при шпаге.

40

Но если, свет увидя между нас,
Ты редкое являешь исключенье
И не совсем огонь в тебе погас
Тех дней, когда нам новы впечатленья,
Быть может, ты поймешь, как в первый раз
Он озарил мое уединенье,
Как с каждым днем он разгорался вновь
И как свою лелеял я любовь.

41

Была пора то дерзостных догадок,
Когда кипит вопросами наш ум;
Когда для нас мучителен и сладок
Бывает платья шелкового шум;
Когда души смущенной беспорядок
Нам не дает смирить прибоя дум
И, без руля волнами их несомы,
Мы взором ищем берег незнакомый.

42

О, чудное мерцанье тех времен,
Где мы себя еще не понимаем!
О, дни, когда, раскрывши лексикон,
Мы от иного слова замираем!

О, трепет чувств, случайностью рожден!
Душистый цвет, плодом незаменяем!
Тревожной жизни первая веха́:
Бред чистоты с предвкусием греха!

43

Внимал его я голосу послушно,
Как лепетанью веющего сна...
В среде сухой, придирчивой и душной
Мне стало вдруг казаться, что *она*
К моей любви не вовсе равнодушна
И без насмешки смотрит с полотна;
И вскоре я в том новом выраженье
Участие прочел и ободренье.

44

Мне взор ее, казалось, говорил:
«Не унывай, крепись, настало время —
У нас с тобой теперь довольно сил,
Чтоб наших пут обоим скинуть бремя;
Меня к холсту художник пригвоздил,
Ты ж за ребенка почитаем всеми,
Тебя гнетут — но ты уже большой,
Давно тебя постигла я душой!

45

Тебе дано мне оказать услугу,
Пойми меня — на помощь я зову!
Хочу тебе довериться как другу:
Я не портрет, я мыслю и живу!
В своих ты снах искал во мне подругу —
Ее найти ты можешь наяву!
Меня добыть тебе не трудно с бою —
Лишь доверши начатое тобою!»

46

Два целых дня ходил я как в чаду
И спрашивал себя в недоуменье:
«Как средство я спасти ее найду?
Откуда взять возможность и уменье?»
Так иногда лежащего в бреду
Задачи темной мучит разрешенье.
Я повторял: «Спасу ее — но как?
О, если б дать она могла мне знак!»

47

И в сумерки, в тот самый час заветный,
Когда шарманка пела под окном,
Я в зал пустой прокрался неприметно,
Чтобы мечтать о подвиге моем.
Но голову ломал себе я тщетно
И был готов ударить в стену лбом,
Как юного воображенья сила
Нежданно мне задачу разрешила.

48

При отблеске каминного огня
Картина как-то задрожала в раме,
Сперва взглянула словно на меня
Молящими и влажными глазами,
Потом, ресницы медленно склоня,
Свой взор на шкаф с узорными часами
Направила. Взор говорил: «Смотри!»
Часы тогда показывали: три.

49

Я понял все. Средь шума дня не смела
Одеться в плоть и кровь ее краса,
Но ночью — о, тогда другое дело!
В ночной тени возможны чудеса!

И на часы затем она глядела,
Чтоб этой ночью, ровно в три часа,
Когда весь дом покоится в молчанье,
Я к ней пришел на тайное свиданье.

50

Да, это так, сомнений боле нет!
Моей любви могущество без грани!
Коль захочу, я вызову на свет,
Что̀ так давно мне видится в тумане!
Но только ночью оживет портрет —
Как я о том не догадался ране?!
И сладостно и жутко стало мне,
И бегали мурашки по спине.

51

Остаток дня провел я благонравно,
Приготовлял глаголы, не тужа,
Долбил предлоги и зубрил исправно,
Какого каждый просит падежа;
Когда ходил, ступал легко и плавно,
Расположеньем старших дорожа,
И вообще старался в этот день я
Не возбудить чем-либо подозренья.

52

Сидели гости вечером у нас,
Я должен был, по принятой системе,
Быть налицо. Прескучная велась
Меж них беседа, и меня как бремя
Она гнела. Настал насилу час
Идти мне спать. Простившися со всеми,
Я радостно отправился домой —
Мой педагог последовал за мной.

53

Я тотчас лег и, будто утомленный,
Закрыл глаза, но долго он ходил
Пред зеркалом, наморща лоб ученый,
И свой вакштаф торжественно курил;
Но наконец снял фрак и панталоны,
В постелю влез и свечку погасил.
Должно быть, он заснул довольно сладко,
Меня ж трясла и била лихорадка.

54

Но время шло, и вот гостям пора
Настала разъезжаться. Понял это
Я из того, что стали кучера
Возиться у подъезда; струйки света
На потолке забегали; с двора
Последняя отъехала карета,
И в доме стихло всё. Свиданья ж срок —
Читатель помнит — был еще далек.

55

Теперь я должен — но не знаю, право,
Как оправдать себя во мненье дам?
На их участье потерял я право,
На милость их судьбу свою отдам!
Да, добрая моя страдает слава:
Как вышло то — не понимаю сам,—
Но, в ожиданье сладостного срока,
Я вдруг заснул постыдно и глубоко.

56

Что видел я в том недостойном сне,
Моя лишь смутно память сохранила,
Но что ж могло иное сниться мне,
Как не она, кем сердце полно было?

Уставшая скучать на полотне,
Она меня забвением корила,
И стала совесть так моя тяжка,
Что я проснулся, словно от толчка.

57

В раскаянье, в испуге и в смятенье,
Рукой неверной спичку я зажег;
Предметов вдруг зашевелились тени,
Но, к счастью, спал мой крепко педагог;
Я в радостном увидел удивленье,
Что не прошел назначенный мне срок:
До трех часов — оно, конечно, мало —
Пяти минут еще недоставало.

58

И поспешил скорей одеться я,
Чтоб искупить поступок непохвальный;
Держа свечу, дыханье притая,
Тихонько вышел я из нашей спальной;
Но голова кружилася моя,
И сердца стук мне слышался буквально,
Пока я шел чрез длинный комнат ряд,
На зеркала̀ боясь бросить взгляд.

59

Знал хорошо я все покои дома,
Но в непривычной тишине ночной
Мне все теперь казалось незнакомо;
Мой шаг звучал как будто бы чужой,
И странно так от тени переломы
По сторонам и прямо надо мной
То сталися, то на стену всползали —
Стараясь их не видеть, шел я дале.

60

И вот уже та роковая дверь —
Единый шаг — судьба моя решится,—
Но что-то вдруг нежданное теперь
Заставило меня остановиться.
Читатель-друг, ты верь или не верь —
Мне слышалось: «Не лучше ль воротиться?
Ты не таким из двери выйдешь той,
Каким войдешь с невинной простотой».

61

То ангела ль хранителя был голос?
Иль тайный страх мне на ухо шептал?
Но с опасеньем страсть моя боролась,
А ложный стыд желанье подстрекал.
«Нет! — я решил — и на затылке волос
Мой поднялся,— прийти я обещал!
Какое там ни встречу испытанье,
Мне честь велит исполнить обещанье!»

62

И повернул неверною рукою
Замковую я ручку. Отворилась
Без шума дверь: был сумрачен покой,
Но бледное сиянье в нем струилось;
Хрустальной люстры отблеск голубой
Мерцал в тени, и тихо шевелилась
Подвесок цепь, напоминая мне
Игру росы на листьях при луне.

63

И был ли то обман воображенья
Иль истина — по залу пронеслось
Как свежести какой-то дуновенье,
И запах мне почувствовался роз.

Чудесного я понял приближенье,
По телу легкий пробежал мороз,
Но превозмог я скоро слабость эту
И подошел с решимостью к портрету.

64

Он весь сиял, как будто от луны;
Малейшие подробности одежды,
Черты лица все были мне видны,
И томно так приподымались вежды,
И так глаза казалися полны
Любви и слез, и грусти и надежды,
Таким горели сдержанным огнем,
Как я еще не видывал их днем.

65

Мой страх исчез. Мучительно-приятно
С томящей негой жгучая тоска
Во мне в один оттенок непонятный
Смешалася. Нет в мире языка
То ощущенье передать; невнятно
Мне слышался как зов издалека,
Мне словно мир провиделся надзвездный —
И чуялась как будто близость бездны.

66

И думал я: нет, то была не ложь,
Когда любить меня ты обещала!
Ты для меня сегодня оживешь —
Я здесь — я жду — за чем же дело стало?
Я взор ее ловил — и снова дрожь,
Но дрожь любви, по жилам пробегала,
И ревности огонь, бог весть к кому,
Понятен стал безумью моему.

67

Возможно ль? как? Недвижна ты доселе?
Иль взоров я твоих не понимал?
Иль, чтобы мне довериться на деле,
Тебе кажусь ничтожен я и мал?
Иль я ребенок? Боже! Иль ужели
Твою любовь другой себе стяжал?
Кто он? когда? и по какому праву?
Пускай придет со мною на расправу!

68

Так проходил, средь явственного сна,
Все муки я сердечного пожара...
О бог любви! Ты молод, как весна,
Твои ж пути как мирозданье стары!
Но вот как будто дрогнула стена,
Раздался шип — и мерных три удара,
В ночной тиши отчетисто звеня,
Взглянуть назад заставили меня.

69

И их еще не замерло дрожанье,
Как изменился вдруг покоя вид:
Исчезли ночь и лунное сиянье,
Зажглися люстры; блеском весь облит,
Казалось, вновь, для бала иль собранья,
Старинный зал сверкает и горит,
И было в нем — я видеть мог свободно —
Всё так свежо и вместе старомодно.

70

Воскресшие убранство и красу
Минувших дней узнал я пред собою;
Мой пульс стучал, как будто бы несу
Я кузницу в груди; в ушах с прибою

Шумела кровь; так в молодом лесу
Пернатых гам нам слышится весною;
Так пчел рои, шмелям гудящим в лад,
В июльский зной над гречкою жужжат.

71

Что ж это? сон? и я лежу в постеле?
Но нет, вот раму щупает рука —
Я точно здесь — вот ясно проскрипели
На улице полозья... С потолка
Посыпалася известь; вот в панели
Как будто что-то треснуло слегка...
Вот словно шелком вдруг зашелестило...
Я поднял взор — и дух мне захватило.

72

Все в том же положении, она
Теперь почти от грунта отделялась;
Уж грудь ее, свечьми озарена,
По временам заметно подымалась;
Но отрешить себя от полотна
Она вотще как будто бы старалась,
И ясно мне все говорило в ней:
О, захоти, о, захоти сильней!

73

Все, что я мог сосредоточить воли,
Все на нее теперь я устремил —
Мой страстный взор живил ее все боле,
И видимо ей прибавлялось сил;
Уже одежда зыблилась, как в поле
Под легким ветром зыблется ковыль,
И все слышней ее шуршали волны,
И вздрагивал цветов передник полный.

74

«Еще, еще! хоти еще сильней!» —
Так влажные глаза мне говорили;
И я хотел всей страстию моей —
И от моих, казалося, усилий
Свободнее все делалося ей —
И вдруг персты передник упустили —
И ворох роз, покоившийся в нем,
К моим ногам посыпался дождем.

75

Движеньем плавным платье расправляя,
Она сошла из рамы на паркет;
С террасы в сад, дышать цветами мая,
Так девушка в шестнадцать сходит лет;
Но я стоял, еще не понимая,
Она ли то передо мной иль нет,
Стоял, немой от счастья и испуга —
И молча мы смотрели друг на друга.

76

Когда бы я гвардейский был гусар
Или хотя полковник инженерный,
Искусно б мой я выразил ей жар
И комплимент сказал бы ей примерный;
Но нѐ дан был развязности мне дар,
И стало так неловко мне и скверно,
Что я не знал, стоять или шагнуть,
А долг велел мне сделать что-нибудь.

77

И, мой урок припомня танцевальный,
Я для поклона сделал два шага;
Потом взял вбок; легко и натурально
Примкнулась к левой правая нога,

Отвисли обе руки вертикально,
И я пред ней согнулся как дуга.
Она ж, как скоро выпрямил я тело,
Насмешливо мне до полу присела.

78

Но между нас, теперь я убежден,
Происходило недоразуменье,
И мой она классический поклон,
Как видно, приняла за приглашенье
С ней танцевать. Я был тем удивлен,
Но вывести ее из заблужденья
Мешала мне застенчивость моя,
И руку ей, конфузясь, подал я.

79

Тут тихо, тихо, словно издалека,
Послышался старинный менуэт:
Под говор струй так шелестит осока,
Или, когда вечерний меркнет свет,
Хрущи, кружась над липами высоко,
Поют весне немолчный свой привет,
И чудятся нам в шуме их полета
И вьолончеля звуки и фагота.

80

И вот, держася за руки едва,
В приличном друг от друга расстоянье,
Под музыку мы двинулись сперва,
На цыпочках, в торжественном молчанье.
Но, сделавши со мною тура два,
Она вдруг стала, словно в ожиданье,
И вырвался из свежих уст ея
Веселый смех, как рокот соловья.

81

Поступком сим обиженный немало,
Я взор склонил, достоинство храня,
«О, не сердись, мой друг,— она сказала,—
И не кори за ветреность меня!
Мне так смешно! Поверь, я не встречала
Таких, как ты, до нынешнего дня!
Ужель пылал ты страстью неземною
Лишь для того, чтоб танцевать со мною?»

82

Что̀ отвечать на это — я не знал,
Но стало мне невыразимо больно:
Чего ж ей надо? В чем я оплошал?
И отчего она мной недовольна?
Не по ее ль я воле танцевал?
Так что же тут смешного? И невольно
Заплакал я, ища напрасно слов,
И ненавидеть был ее готов.

83

Вся кровь во мне кипела, негодуя,
Но вот нежданно, в этот самый миг,
Меня коснулось пламя поцелуя,
К моей щеке ее примкнулся лик;
Мне слышалось: «Не плачь, тебя люблю я!»
Неведомый восторг меня проник,
Я обмер весь — она же, с лаской нежной,
Меня к груди прижала белоснежной.

84

Мои смешались мысли. Но не вдруг
Лишился я рассудка и сознанья:
Я ощущал объятья нежных рук
И юных плеч живое прикасанье;
Мне сладостен казался мой недуг,
Приятно было жизни замиранье,
И медленно, блаженством опьянен,
Я погрузился в обморок иль сон...

85

Не помню, как я в этом самом зале
Пришел в себя — но было уж светло;
Лежал я на диване; хлопотали
Вокруг меня родные; тяжело
Дышалось мне, бессвязные блуждали
Понятья врозь; меня — то жаром жгло,
То вздрагивал я, словно от морозу,—
Поблекшую рука сжимала розу...

86

Свиданья был то несомненный след —
Я вспомнил ночь — забилось сердце шибко,
Украдкою взглянул я на портрет:
Вкруг уст как будто зыблилась улыбка,
Казался смят слегка ее букет,
Но стан уже не шевелился гибкий,
И полный роз передник из тафты
Держали вновь недвижные персты.

87

Меж тем родные — слышу их как ныне —
Вопрос решали: чем я занемог?
Мать думала — то корь. На скарлатине
Настаивали тетки. Педагог
С врачом упорно спорил по-латыне,
И в толках их, как я расслышать мог,
Два выраженья часто повторялись:
Somnambulus и febris cerebralis...[1]

Зима 1872 г.— осень 1873 г.

[1] Лунатик и мозговая горячка (*лат.*).— *Ред.*

ДРАКОН

РАССКАЗ XII ВЕКА. (С ИТАЛЬЯНСКОГО.)

Посвящается Я. П. Полонскому

1

В те дни, когда на нас созвездье Пса
Глядит враждебно с высоты зенита,
И свод небес как тяжесть оперся

2

На грудь земли, и солнце, мглой обвито,
Жжет без лучей, и бегают стада
С мычанием, ища от мух защиты,

3

В те дни любил с друзьями я всегда
Собора тень и вечную прохладу,
Где в самый зной дышалось без труда

4

И где нам был, средь отдыха, отрадой
Разнообразной живописи вид
И полусвет, не утомлявший взгляда.

5

Одна купель близ входа там стоит,
Старинная, из камня иссечёна,
Крылатым столб чудовищем обвит.

6

Раз, отдыхом и тенью освежёны,
Друзья купель рассматривали ту
И чудный столб с изгибами дракона.

7

Хвалили все размеров красоту
И мастера затейную работу;
Но я сказал: «Я вымыслов не чту;

8

Меня смешит ваятеля забота
Такую ложь передавать резцом»,—
И потрунить взяла меня охота.

9

Тут некий муж, отмеченный рубцом,
Дотоль стоявший молча возле двери,
Ко мне со строгим подошел лицом:

10

«Смеешься ты, художнику не веря,—
Так он сказал,— но если бы, как я,
Подобного ты в жизни встретил зверя,

11

Клянусь, прошла веселость бы твоя!»
Я ж отвечал: «Тебе я не в досаду
Сказал, что̀ думал, мысли не тая;

12

Но если впрямь такого в жизни гада
Ты повстречал, то (коль тебе не в труд),
Пожалуй, нам всё расскажи по ряду!»

13

И начал он: «В Ломбардии зовут
Меня Арнольфо. Я из Монцы родом,
И оружейник был до наших смут;

14

Когда ж совет в союз вошел с народом,
Из первых я на гибеллинов встал
И не одним горжусь на них походом.

15

Гиберто Кан стяг вольности держал;
То кондотьер был в битвах знаменитый,
Но близ Лугано, раненый, он пал.

16

Враги, наш полк преследуя разбитый,
Промчались мимо; и с вождем лишь я
Для помощи остался и защиты.

17

«Арнольфо,— мне сказал он,— смерть моя
Сейчас придет,— тебя ж надеждой рая
Молю: спеши в Кьявенну; пусть друзья

18

Ведут войска, минуты не теряя;
Они врасплох застанут вражью рать»,—
И перстень свой в залог он, умирая,

19

Мне передал. Я времени терять
Не много мог, чтобы исполнить дело,
И, в помощь взяв господню благодать,

20

А мертвое плащом покрывши тело,
Проведать шел, где отдохнут враги
И много ли из наших уцелело?

21

Шум сечи смолк, и вóроны круги
Над трупами уже чертили с криком —
Как за собой услышал я шаги.

22

То Гвидо был. Ко мне с беспечным ликом
За повод вел он сильного коня,
Им взятого в смятенье том великом.

23

Учеником жил прежде у меня
Он в мастерской, и ныне, после боя,
Меня нашел, любовь ко мне храня.

24

Когда ж узнал, послание какое
Вождем убитым мне поручено,
Идти к друзьям он вызвался со мною.

25

Я, преданность ценя его давно,
Тому был рад и думал: вместе оба
Вернее мы достигнем цели — но,

26

Когда бы знал, как близко нас ко гробу
Он подведет отвагой молодой,
Его любви я предпочел бы злобу.

27

Я был верхом; он следовал пешой;
Нерадостен был путь, и не веселье
Моей владело сумрачной душой.

28

В стране кьявеннской не бывал досель я,
Но Гвидо был. И, ведомых путей
С ним избегая, в тесное ущелье

29

Свернули мы, где солнечных лучей
Не пропускали тени вековые,
Навстречу ж нам, шумя, бежал ручей.

30

Лишь тут снял шлем с усталой головы я,
И в отдаленье ясно услыхал,
Как колокол звонил к «Ave Maria» [1].

31

И тяжело средь этих мрачных скал,
И душно так, как бы в свинцовом скрине,
Мне сделалось. «О Гвидо,— я сказал,—

---

[1] «Радуйся, Мария» (*лат.*).— *Ред.*

32

Недоброе предчувствие мне ныне
Сжимает грудь: боюся, что с пути
Собьемся мы тут, в каменной пустыне!»

33

«Маэстро,— мне ответил он,— прости;
Сюда свернув, ошибся я немного,
Иным ущельем было нам идти!»

34

И прежнюю отыскивать дорогу
Пустились мы; но, видно, взять у нас
Рассудок наш угодно было богу:

35

Куда ни направлялись, каждый раз
Ущелье мы, казалось, видим то же,
Их различать отказывался глаз,

36

Так меж собой они все были схожи:
Такая ж темь; такой же в ней ручей
Навстречу нам шумел в гранитном ложе;

37

И чем мы путь искали горячей,
Тем боле мы теряли направленье;
Без отдыха и не сомкнув очей,

38

Бродили мы всю ночь в недоуменье;
Когда ж, для нас незримая, заря
На высотах явила отраженье,

39

«Довольно нам,— сказал я,— рыскать зря!
Взойдем сперва на ближнюю вершину,
Чтоб местность обозреть». Так говоря,

40

Сошел с коня я. К дикому ясмину
Его за повод Гвидо привязал,
И, брони сняв, мы темную долину

41

Покинули. Держась за ребра скал,
Мы лезли вверх и лишь на полдороги,
Среди уступа, сделали привал.

42

От у́стали мои дрожали ноги;
Меж тем густой, поднявшися, туман
Долину скрыл и горные отроги.

43

И стал я думать, грустью обуян:
«Нет, не поспеть мне вовремя в Кьявенну
И не повесть друзей на вражий стан!»

44

В тумане тут, мне показалось, стену
Зубчатую увидел я. Она,
Согнутая во многие колена,

45

С крутой скалы спускалася до дна
Ущелия, наполненного мглою,
И им была от нас отделена.

46

«Друг,— я сказал,— ты с этою страною
Давно знаком; вглядись и распознай:
Какой я замок вижу предо мною?»

47

А он в ответ: «Мне ведом этот край,
Но замка нет отсюда до Кьявенны
Ни одного. Обмануты мы, чай,

48

Игрой тумана. Часто перемены
Он странные являет между гор
И создает то башни в них, то стены».

49

Так он ко мне. Но, устремив мой взор
Перед собой, я напрягал вниманье,
Туман же все редел с недавних пор;

50

И только он рассеялся — не зданье
Нам показал свободный солнца свет,
Но чудное в утесе изваянье:

51

Что̀ я стеной считал, то был хребет
Чудовища, какому и примера,
Я полагал, среди живущих нет.

52

И я, глазам едва давая веру,
Ко Гвидо обратился: «Должен быть
Сей памятник, столь дивного размера,

53

Тебе известен; он, конечно, нить
Нам в руки даст, чтоб выбраться отсюда,
Спеши ж по нем наш путь сообразить!»

54

Но он в ответ: «Клянусь, сего я чуда
Не знал досель, и никогда о нем
Не слыхивал от здешнего я люда.

55

Не христианским, думаю, резцом
Зверь вытесан. Мы древнего народа
Узнаем труд, коль ближе подойдем».

56

«А не могла ль,— заметил я,— природа
Подобие чудовища создать,
Как создает она иного рода

57

Диковины?» Но только лишь сказать
Я то успел, сам понял, сколь напрасна
Такая мысль. Не случая печать

58

Являли члены гадины ужасной,
Но каждая отчетливо в ней часть
Изваяна рукой казалась властной:

59

Сомкнутая, поднявшись, щучья пасть
Ждала как будто жертвы терпеливо,
Чтоб на нее, отверзшися, напасть;

60

Глаза глядели тускло и сонливо;
На вытянутой шее поднята,
Костлявая в зубцах торчала грива;

61

Скрещенные вдоль длинного хребта,
Лежали, в складках, кожаные крылья;
Под брюхом лап виднелася чета.

62

Спинных чешуй казалось изобилье
Нескладной кучей раковин морских
Иль старой черепицей, мхом и пылью

63

Покрытою. А хвост, в углах кривых,
Терялся в темной бездне. И когда бы
Я должен был решить: к числу каких

64

Тот зверь пород принадлежит, то я бы
Его крылатой щукою назвал
Иль помесью от ящера и жабы.

65

И сам себя еще я вопрошал:
К чему мог быть тот памятник воздвигнут?
Как вдруг от страшной мысли задрожал:

66

Внезапным опасением постигнут,
«А что,— сказал я,— если этот зверь
Не каменный, но адом был изрыгнут,

67

Чтоб за грехи нас наказать? Поверь,
Коль гвельфов он, имперцам на потеху,
Прислàн терзать — он с нас начнет теперь!»

68

Но, ветрено предавшись Гвидо смеху,
«Немного же,— сказал,— получит ад
От своего создания успеху!

69

Смотри, как смирно ласточки сидят
На голове недвижной, а на гриве
Чирикает веселых пташек ряд —

70

Ужели их мы будем боязливей?
Смотри еще: со цветом этих скал
Цвет идола один; не схожей в ниве

71

Две полосы!» И громко продолжал
Смеяться он, как вдруг внизу тревожно
Наш конь, к кусту привязанный, заржал;

72

И видеть нам с уступа было можно,
Как бился он на привязи своей,
Подковами взметая прах подножный.

73

Я не сводил с чудовища очей,
Но жизни в нем не замечал нимало —
Когда внезапно, молнии быстрей,

74

Из сжатых уст, крутясь, явилось жало,
Подобное мечу о двух концах,
На воздухе мелькая, задрожало —

75

И спряталось. Невыразимый страх
Мной овладел. «Бежим,— сказал я,— Гвидо,
Бежим, пока мы не в его когтях!»

76

Но, робости не показав и вида,
«Ты знаешь сам, маэстро,— молвил он,—
Какая то для ратника обида

77

Была бы, если б, куклой устрашен,
Он убежал. Я ж об заклад побьюся,
Что наяву тебе приснился сон;

78

Взгляни еще на идола, не труся:
Изваянный то зверь, а не живой,
И доказать я то тебе беруся!»

79

Тут, камень взяв, он сильною рукой
С размаха им пустил повыше уха
В чудовище. Раздался звук такой,

80

Так резко брякнул камень и так сухо,
Как если бы о кожаный ты щит
Хватил мечом. Тут втягиваться брюхо

81

Его как будто стало. Новый вид
Глаза прияли, тусклые дотоле:
Казалось — огнь зеленый в них горит.

82

Меж тем, сжимаясь медленно все боле,
Стал подбираться к туловищу хвост,
Тащась из бездны словно поневоле.

83

Крутой хребет, как через реку мост,
Так выгнулся, и мерзостного гада
Еще страшней явился страшный рост.

84

И вот глаза зардели, как лампады.—
Под тяжестью ожившею утес
Затрепетал — и сдвинулась громада

85

И поползла... Мох, травы, корни лоз,
Все, что срастись с корой успело змея.
Все выдернув, с собою он понес.

86

Сырой землей запахло; мы ж, не смея
Дохнуть, лежали ниц, покуда он
Сползал с высот, чем дале, тем быстрее;

87

И слышался под ним такой же стон,
Как если с гор, на тормозе железном,
Съезжал бы воз, каменьем нагружен.

88

Ответный гул по всем пронесся безднам,
И не могло нам в мысль уже прийти
Искать спасенья в бегстве бесполезном.

89

Равно ж как тормоз на своем пути
Все боле накаляется от тренья,
Так, где дракон лишь начинал ползти,

90

Мгновенно сохли травы и коренья,
И дымный там за ним тащился след,
И сыпался гранит от сотрясенья.

91

«О Гвидо, Гвидо, сколько новых бед
Навлек на край неверьем ты упорным!»
Так я к нему; а Гвидо мне в ответ:

92

«Винюся я в моем поступке вздорном,
Но вон, смотри: там конь внизу бежит,
За ним же змей ущельем вьется горным!»

93

Плачевный тут представился нам вид:
Сорвавшийся с поводьев, устрашенный,
Предсмертной пеной белою покрыт,

94

Наш конь скакал, спасаясь от дракона,
Скакал во всю отчаянную прыть,
И бились о бока его стремёна.

95

Но чудище, растянутое в нить,
Разинутою пастью норовило
Как бы ловчей бегущего схватить;

96

И вот оно, нагнав его, схватило
За самую за холку поперек
И со седлом и сбруей проглотило,

97

Как жаба муху. Судороги ног
Лишь видели мы в пасти на мгновенье —
И конь исчез. Едва дышать я мог,

98

Столь сильное на сердце впечатленье
То зрелище мне сделало. А там,
В ущелье, виться продолжали звенья

99

Змеиного хребта, и долго нам
Он виден был, с своею гривой странной,
Влекущийся по камням и кустам,

100

Свое меняя место беспрестанно,
То исчезая в темной глубине,
То вновь являясь где-нибудь нежданно.

101

И Гвидо, обращаяся ко мне,
Сказал: «Когда б я, столько виноватый,
Но столь в своей раскаянный вине,

102

Смел дать совет: мы, времени без траты,
Должны уйти туда, на выси гор,
Где дружелюбно будем мы приняты

103

От камнетесов, что̀ с недавних пор
Выламывают мрамор, из него же
В Кьявенне новый строится собор;

104

А змей, по мне, не на вершинах ложе,
Но близ долин скорее изберет,
Где может жить, вседневно жертвы множа».

105

Я юноше доверился, и вот
Карабкаться мы кверху стали снова
И в полдень лишь достигли до высот.

106

Нигде кругом жилища никакого
Не видно было. Несколько озер
Светилося, одно возле другого;

107

Ближайшее на полускате гор
Раскинулось, пред нами недалёко;
Когда же вниз отвесно пал наш взор,

108

У наших ног, как в ендове глубокой,
Узнали мы поляну, где вчера
Нас жеребий войны постиг жестокий,

109

И поняли мы тут, что до утра
Всю ночь мы вкруг побоища плутали,
Пока нас тьмы морочила пора.

110

Разбросаны, внизу еще лежали
Тела друзей и кони между них
Убитые. Местами отблеск стали

111

Отсвечивал меж злаков полевых,
И сытые сидели птицы праздно
На кучах тел и броней боевых.

112

Вдруг крик меж них поднялся несуразный,
И началось маханье черных крыл
И перелет тревожный. Безобразный

113

То змей от гор извивы к ним влачил
И к полю полз, кровь издали почуя.
Тут жалости мне передать нет сил,

114

Объявшей нас, и слов не нахожу я
Сказать, какой нам холод сердце сжал,
Когда пришлось, бессильно негодуя,

115

Смотреть, как он немилосердно жрал
Товарищей и с ними, без разбора,
Тела коней издохших поглощал

116

Иль, вскинув пасть, стремительно и скоро
Хватал ворон крикливых на лету,
За трупы с ним не прерывавших спора.

117

Картину я когда припомню ту,
Набросить на нее хотел бы тень я,
Но в прежнем все стоит она свету!

118

В нас с ужасом мешалось омерзенье,
Когда над кровью скорчившийся змей,
Жуя тела, кривился в наслажденье;

119

И с чавканьем зубастых челюстей
В безветрии к нам ясно долетали
Доспехов звяк и хрупанье костей.

120

Между людьми на свете есть едва ли,
Кто бы такое горе ощутил,
Как в этот час мы с Гвидо ощущали.

121

И долго ль зверь бесчестье наносил
Телам, иного ждавшим погребенья,—
Не ведаю. С утра лишенный сил,

122

На землю я упал в изнеможенье,
И осенил меня глубокий сон,
И низошло мне на душу забвенье.

123

Когда, рукою Гвидо разбужен,
Я поднялся, в долинах уж стемнело,
На западе ж багровый небосклон

124

Пылал пожаром. Озеро горело
В полугоре, как в золотом огне,
И обратился к другу я несмело:

125

«В какой, скажи, о Гвидо, мы стране?
Какое с нами горе иль обида
Случилися? Скажи мне все, зане

126

В моей душе звучит как панихида,
Но в памяти нет мысли ни одной!»
И прежде, чем успел ответить Гвидо,

127

Я вспомнил всё: с имперцами наш бой,
И смерть вождя, и бегство от дракона.
«Где он?—вскричал я,—где наш недруг злой?

128

Нам от него возможна ль оборона?
Иль нам бежать в ущелий тесноту
И спрятаться во глубь земного лона?»

129

Но Гвидо, палец приложа ко рту,
«Смотри,— шепнул мне с видом опасенья,—
Смотри сюда, на эту высоту!»

130

И, следуя руки его движенью,
Страшилище я снова увидал,
Как, медленно свои вращая звенья,

131

Оно всползало, меж померкших скал,
На верх одной, от прочих отделенной,
Что солнца луч последний освещал.

132

Свой гордо зев подняв окровавленный,
На острый верх взобравшийся дракон
Как некий царь с зубчатою короной

133

Явился там. Закатом озарен,
Как выкован из яркой красной меди,
На небе так вырезывался он.

134

Клянусь, ни львы, ни тигры, ни медведи
Столь не страшны! Никто б не изобрел
Такую тварь, хотя б в горячке бредя!

135

Когда ж совсем исчез во мраке дол,
А ночь вверху лишь только наступала,
Свои он крылья по ветру развел,

136

И кожа их, треща, затрепетала,
Подобно как в руках у наших жен,
Раскрывшися, трепещут опахала.

137

Его хребет казался напряжен,
И, на когтях всё подымаясь выше,
Пуститься в лёт готовился дракон.

138

Меж тем кругом все становилось тише
И все темней. И вот он взвизгнул вдруг,
Летучие как взвизгивают мыши,

139

И сорвался. Нас охватил испуг,
Когда, носясь у нас над головами,
Он в сумерках чертил за кругом круг

140

И воздух бил угластыми крылами,
Не как орел в поднебесье паря,
Но вверх и вниз метаяся зубцами,

141

Неровный лёт являл нетопыря,
И виден был отчетисто для ока
На полосе, где скрылася заря.

142

Нас поражал, то близко, то далёко,
То возле нас, то где-нибудь с высот,
Зловещий визг, пронзительно-жестокий

143

Так не один свершал он поворот
Иль, крылья вдруг поджав, как камень веский
Бросался вниз, и возмущенных вод

144

Средь озера нам слышалися всплески,
И он опять взлетал и каждый раз
Пускал опять свой визг зловеще-резкий.

145

Проклятый зверь чутьем искал ли нас
Или летал по воздуху без цели —
Не знали мы; но, не смыкая глаз,

146

Настороже всю ночь мы просидели,
Усталостью совсем изнурены
(Вторые сутки мы уже не ели!).

147

С рассветом дня спуститься с вышины
Решились мы, лишь голоду послушны;
А чудище исчезло ль из страны

148

Иль нет — к тому мы стали равнодушны,
Завидуя уж нищим и слепцам,
Что по миру сбирают хлеб насущный...

149

И долго так влачилися мы там,
Молясь: «Спаси, пречистая Мария!»
Она же, вняв, послала пищу нам:

150

Мы ягоды увидели лесные,
Алевшие по берегу ручья,
Что воды мчал в долину снеговые.

151

И речь того не выразит ничья,
Как укрепил нас этот дар нежданный
А с ним воды холодная струя!

152

Сбиваяся с дороги беспрестанно,
По солнцу наш отыскивая путь,
Достигли поздно цели мы желанной;

153

Но что за вид стеснил тогда нам грудь!
В Кьявеннские воткнуты были стены
Знамена гибеллинов! Проклят будь

154

Раздора дух, рождающий измены!
Не в приступе отчаянном взята
Врагом упорным крепкая Кьявенна —

155

Без боя гибеллинам ворота
Отверзли их сторонники! Без боя
Италия германцу отперта!

156

И зрелище увидя мы такое,
Заплакали, и показалось нам
Пред ним ничтожно все страданье злое,

157

Что мы доселе испытали.— Срам
И жажда мести овладели нами;
Так в город мы пробралися к друзьям;

158

Но уж друзья теперь, во страхе, сами
Спасалися от мщения врагов
И вольности поднять не смели знамя.

159

Они родной сбирались бросить кров
И где-нибудь сокрыться в подземелье,
Чтобы уйти от казни иль оков.

160

Узнав от нас, что горные ущелья
Чудовищем ужасным заняты,
Подумали они, что мы с похмелья

161

То говорим, и наши тесноты,
И все, что мы недавно испытали,
За выдумки сочли иль за мечты.

162

В неслыханной решились мы печали
Направиться обратно на Милан,
Но не прямой мы путь к нему держали:

163

Захваченных врагом минуя стран,
На Кòлико мы шли, на Леньончино,
На Лекко и на Бèргамо, где стан

164

Немногих от рассеянной дружины
Оставшихся товарищей нашли
(Убито было боле половины,

165

Другие же, вблизи или вдали,
Неведомо скитались). Бергамаски,
Чьи консулы совет еще вели:

166

К кому пристать? не оказали ласки
Разбитым гвельфам, их же в город свой
Не приняли; однако, без огласки,

167

Отправили от думы городской
Им хлеба и вина, из состраданья,
Не требуя с них платы никакой.

168

И тяжело и радостно свиданье
Меж нами было; а когда слезам,
Расспросам и ответам отдал дань я,

169

«Товарищи,— сказал я,— стыдно нам
Врозь действовать иль ждать сложивши руки,
Чтоб враг прошел по нашим головам!

170

Ломбардии невзгоды все и муки
Лишь от раздоров наших рождены
И от измены круговой поруке!

171

Хоть мало нас, поклясться мы должны,
Что гвельфскому мы не изменим стягу
И не примкнем к теснителям страны!»

172

Так прежнюю в них возбудив отвагу,
Я их в Милан с собой и с Гвидо звал,
Они ж клялись не отставать ни шагу.

173

Тут случай мне их испытать предстал:
Где через Ольо вброд есть переправа,
На супротивном берегу стоял

174

Маркезе Монферрато, нам кровавый
Прием готовя. Бога в помощь взяв
И вынув меч, я бросился на славу

175

В средину волн. За мной, кто вброд, кто вплавь,
Пустились все, пересекая воду,
И берега достигли. Но стремглав

176

На нас враги, вплоть подступя ко броду,
Ударили, и прежде, чем я мог
На сушу стать, их вождь, не дав мне ходу,

177

Лоб топором рассек мне поперек,
И навзничь я ударом опрокинут,
Без памяти, обратно пал в поток.

178

Пятнадцать лет весною ровно минут,
Что свет дневной я снова увидал.
Но, боже мой! доселе жилы стынут,

179

Как вспомню, что̀, очнувшись, я узнал
От благодушных иноков аббатства,
Меня которым Гвидо передал,

180

Сам раненный, когда он от злорадства
Имперцев жизнь мою чудесно спас
И сам искал убежища у братства!

181

Италии настал последний час!
Милан был взят! Сдалась без обороны
Германцам Брешья! Крема им сдалась!

182

С приветствием к ним консулы Кремоны
Пошли навстречу, лишь к ее стенам
Германские приблизились бароны!

183

Павия ликовала. Горе нам!
Не чуждыми — ломбардскими руками
Милан разрушен! Вечный стыд и срам!

184

Мы поняли теперь, зачем пред нами
Явился тот прожорливый дракон,
Когда мы шли Кьявеннскими горами:

185

Ужасное был знамение он,
Ряд страшных бед с ним предвещала встреча,
Начало долгих, горестных времен!

186

Тот змей, что, все глотая иль увеча,
От нашей крови сам жирел и рос,
Был кесаря свирепого предтеча!

187

Милан пал в прах — над ним же вознеслось
Все низкое, что пресмыкалось в прахе,
Все доброе низвержено. Пришлось,

188

В ком честь была, тому скрываться в страхе.
Иль дни влачить в изгнании, как я,
Иль погибать, как многие, на плахе.

189

Проклятье ж вам, поддельные друзья,
Что̀ языком клялись служить свободе,
Внутри сердец измену ей тая!

190

Из века в век вас да клянут в народе
И да звучат позором вековым
Названья ваши: Асти, Реджьо, Лоди!

191

Вы, чрез кого во прахе мы лежим,
Пьяченца, Комо, Мантуа, Кремона!
Вы, чьи уста, из злобы ко своим,

192

Призвали в край германского дракона!»
Ломбардец так рассказ окончил свой
И отошел. Им сильно потрясёны,

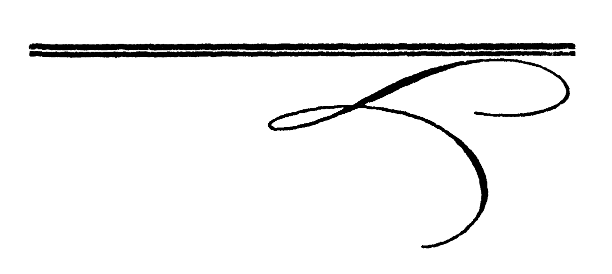
193

Молчали мы. Меж тем палящий зной
Успел свалить, и, вышед из собора,
На площади смешались мы с толпой,
Обычные там ведшей разговоры.

Весна — лето 1875 г.



Переводы



ДЖОРДЖ-ГОРДОН БАЙРОН

* * *

Ассирйяне шли как на стадо волкй,
В багреце их и в злате сияли полки;
И без счета их копья сверкали окрест,
Как в волнах галилейских мерцание звезд.

Словно листья дубравные в летние дни,
Еще вечером так красовались они;
Словно листья дубравные в вихре зимы,
Их к рассвету лежали развеяны тьмы.

Ангел смерти лишь на ветер крылья простер
И дохнул им в лицо, и померкнул их взор,
И на мутные очи пал сон без конца,
И лишь раз поднялись и остыли сердца.

Вот расширивший ноздри повергнутый конь,
И не пышет из них гордой силы огонь.
И как хладная влага на бреге морском,
Так предсмертная пена белеет на нем.

Вот и всадник лежит, распростертый во прах,
На броне его ржа и роса на власах,

Безответны шатры, у знамен ни раба,
И не свищет копье, и не трубит труба.

И Ассирии вдов слышен плач на весь мир.
И во храме Ваала низвержен кумир,
И народ, не сраженный мечом до конца,
Весь растаял как снег перед блеском творца.

Сентябрь 1856 г.

* * *

Неспящих солнце! Грустная звезда!
Как слезно луч мерцает твой всегда!
Как темнота при нем еще темней!
Как он похож на радость прежних дней!

Так светит прошлое нам в жизненной ночи,
Но уж не греют нас бессильные лучи;
Звезда минувшего так в горе мне видна;
Видна, но далека — светла, но холодна!

Сентябрь 1856 г.

АНДРЕ ШЕНЬЕ

* * *

Крылатый бог любви, склоняся над сохой,
Оратаем идет за взрезанной браздой;
Впряженные тельцы его послушны воле;
Прилежною рукой он засевает поле
И, дерзкий взгляд подняв, к властителю небес
Взывает: «Жатву ты блюди мою, Зевес!
Не то, к Европе страсть опять в тебе волнуя,
В ярмо твою главу мычащую нагну я!»

Осень 1856 г.

* * *

Вот он, низийский бог, смиритель диких стран,
Со взглядом девственным и гроздием венчан,
Влекомый желтым львом и барсом многоцветным,
Обратный держит путь к садам своим заветным!

Осень 1856 г.

* * *

Ко мне, младой Хромид, смотри, как я
прекрасна!
О юноша, тебя я полюбила страстно!
Диане равная, когда, в закате дня,
Я шла, потупя взор, с восторгом на меня
Глядели пастухи, друг друга вопрошая:
«То смертная ль идет иль дева неземная?
Неэра, не вверяй себя морским волнам,
Не то богинею ты станешь, и пловцам
Придется в бурю звать, к стерну теряя веру,
Фетиду белую и белую Неэру!»

Осень 1856 г.

* * *

Супруг блудливых коз, нечистый и кичливый,
Узрев, что к ним сатир подкрался похотливый,
И чуя в нем себе опасного врага,
Вздыбяся, изловчил ревнивые рога.
Сатир склоняет лоб — и стук их ярой встречи
Зефиры по лесам, смеясь, несут далече.

Осень 1856 г.

* * *

Багровый гаснет день; толпится за оградой
Вернувшихся телиц недоеное стадо.
Им в ясли сочная навалена трава,
И ждут они, жуя, пока ты, рукава
По локоть засучив и волосы откинув,
Готовишь звонкий ряд расписанных кувшинов.
Беспечно на тебя ленивые глядят,
Лишь красно-бурой той, заметь, неласков взгляд;
В глазах ее давно сокрытая есть злоба,
Недаром от других она паслась особо;
Но если вместе мы к строптивой подойдем
И ноги сильные опутаем ремнем,
Мы покорим ее, и под твоей рукою
Польется молоко журчащею струею.

Осень 1856 г.

* * *

Я вместо матери уже считаю стадо,
С отцом ходить в поля теперь моя отрада,
Мы трудимся вдвоем. Я заставляю медь
Весной душистою на пчельнике звенеть;
С царицею своей, услыша звук тяжелый,
Во страхе улететь хотят младые пчелы,
Но, новой их семье готовя новый дом,
Сильнее всё в тазы мы кованые бьем,
И вольные рои, испуганные нами,
Меж зелени висят жужжащими гроздами.

Осень 1856 г.

ИОГАНН-ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

БОГ И БАЯДЕРА

ИНДИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА

Магадев, земли владыка,
К нам в шестой нисходит раз,
Чтоб от мала до велика
Самому изведать нас;
Хочет в странствованье трудном
Скорбь и радость испытать,
Чтоб судьею правосудным
Нас карать и награждать.
Он, путником город обшедши усталым,
Могучих проникнув, прислушавшись к малым,
Выходит в предместье свой путь продолжать.

Вот стоит под воротами,
В шелк и в кольца убрана,
С насурмленными бровями,
Дева падшая одна.
«Здравствуй, дева!» — «Гость, не в меру
Честь в привете мне твоем!»
«Кто же ты?» — «Я баядера,
И любви ты видишь дом!»

Гремучие бубны привычной рукою,
Кружась, потрясает она над собою
И, стан изгибая, обходит кругом.

И, ласкаясь, увлекает
Незнакомца на порог:
«Лишь войди, и засияет
Эта хата как чертог;
Ноги я твои омою,
Дам приют от солнца стрел,
Освежу и успокою,
Ты устал и изомлел!»
И мнимым страданьям она помогает,
Бессмертный с улыбкою все примечает,
Он чистую душу в упадшей прозрел.

Как с рабынею, сурово
Обращается он с ней,
Но она, откинув ковы,
Все покорней и нежней,
И невольно, в жажде вящей
Унизительных услуг,
Чует страсти настоящей
Возрастающий недуг.
Но ведатель глубей и высей вселенной,
Пытуя, проводит ее постепенно
Чрез негу, и страх, и терзания мук.

Он касается устами
Расписных ее ланит —
И нежданными слезами
Лик наемницы облит;
Пала ниц в сердечной боли,
И не надо ей даров,
И для пляски нету воли,
И для речи нету слов.

Но солнце заходит, и мрак наступает,
Убра́нное ложе чету принимает,
И ночь опустила над ними покров.

На заре, в волненье странном,
Пробудившись ото сна,
Гостя мертвым, бездыханным
Видит с ужасом она.
Плач напрасный! Крик бесплодный!
Совершился рока суд,
И брамины труп холодный
К яме огненной несут.
И слышит она погребальное пенье,
И рвется, и делит толпу в исступленье...
«Кто ты? Чего хочешь, безумная, тут?»

С воплем ринулась на землю
Пред возлюбленным своим:
«Я супруга прах объемлю,
Я хочу погибнуть с ним!
Красота ли неземная
Станет пеплом и золой?
Он был мой в лобзаньях рая,
Он и в смерти будет мой!»
Но стих раздается священного хора:
«Несем мы к могиле, несем без разбора
И старость и юность с ее красотой!

Ты ж ученью Брамы веруй:
Мужем не был он твоим,
Ты зовешься баядерой
И не связана ты с ним.
Только женам овдовелым
Честь сожженья суждена,
Только тень идет за телом,
А за мужем лишь жена.
Раздайтеся, трубы, кимвалы, гремите,
Вы в пламени юношу, боги, примите,
Примите к себе от последнего сна!»

Так, ее страданья множа,
Хор безжалостно поет,
И на лютой смерти ложе,
В ярый огнь, она падет;
Но из пламенного зева
Бог поднялся, невредим,
И в его объятьях дева
К небесам взлетает с ним.
Раскаянье грешных любимо богами,
Заблудших детей огневыми руками
Благие возносят к чертогам своим.

Август — сентябрь 1867 г.

КОРИНФСКАЯ НЕВЕСТА

Из Афин в Коринф многоколонный
Юный гость приходит, незнаком.—
Там когда-то житель благосклонный
Хлеб и соль водил с его отцом;
И детей они
В их младые дни
Нарекли невестой с женихом.

Но какой для доброго приема
От него потребуют цены?
Он — дитя языческого дома,
А они — недавно крещены!
Где за веру спор,
Там, как ветром сор,
И любовь и дружба сметены!

Вся семья давно уж отдыхает,
Только мать одна еще не спит,
Благодушно гостя принимает
И покой отвесть ему спешит;
Лучшее вино
Ею внесено,
Хлебом стол и яствами покрыт.

И, простясь, ночник ему зажженный
Ставит мать, но ото всех тревог
Уж усталый он и полусонный,
Без еды, не раздеваясь, лег,
Как сквозь двери тьму
Движется к нему
Странный гость бесшумно на порог.

Входит дева медленно и скромно,
Вся покрыта белой пеленой:
Вкруг косы ее, густой и темной,
Блещет венчик черно-золотой.
Юношу узрев,
Стала, оробев,
С приподня́той бледною рукой.

«Видно, в доме я уже чужая,—
Так она со вздохом говорит,—
Что вошла, о госте сем не зная,
И теперь меня объемлет стыд;
Спи ж спокойным сном
На одре своем,
Я уйду опять в мой темный скит!»

«Дева, стой,— воскликнул он,— со мною
Подожди до утренней поры!
Вот, смотри, Церерой золотою,
Вакхом вот посла̀нные дары;
А с тобой придет
Молодой Эрот,
Им же светлы игры и пиры!»

«Отступи, о юноша, я боле
Непричастна радости земной;
Шаг свершен родительскою волей:
На одре болезни роковой
Поклялася мать
Небесам отдать
Жизнь мою, и юность, и покой!

И богов веселых рой родимый
Новой веры сила изгнала,

И теперь царит один незримый,
Одному распятому хвала!
Агнцы боле тут
Жертвой не падут,
Но людские жертвы без числа!»

И ее он взвешивает речи:
«Неужель теперь, в тиши ночной,
С женихом не чаявшая встречи,
То стоит невеста предо мной?
О, отдайся ж мне,
Будь моей вполне,
Нас венчали клятвою двойной!»

«Мне не быть твоею, отрок милый,
Ты мечты напрасной не лелей,
Скоро буду взята я могилой,
Ты ж сестре назначен уж моей;
Но в блаженном сне
Думай обо мне,
Обо мне, когда ты будешь с ней!»

«Нет, да светит пламя сей лампады
Нам Гимена факелом святым,
И тебя для жизни, для отрады
Уведу к пенатам я моим!
Верь мне, друг, о верь,
Мы вдвоем теперь
Брачный пир нежданно совершим!»

И они меняются дарами:
Цепь она спешит златую снять,—
Чашу он с узорными краями
В знак союза хочет ей отдать;
Но она к нему:
«Чаши не приму,
Лишь волос твоих возьму я прядь!»

Полночь бьет — и взор доселе хладный
Заблисгал, лицо оживлено,
И уста бесцветные пьют жадно
С темной кровью схожее вино;

Хлеба ж со стола
Вовсе не взяла,
Словно ей вкушать запрещено.

И фиал она ему подносит,
Вместе с ней он ток багровый пьет,
Но ее объятий как ни просит,
Все она противится — и вот,
Тяжко огорчен,
Пал на ложе он
И в бессильной страсти слезы льет.

И она к нему, ласкаясь, села:
«Жалко мучить мне тебя, но, ах,
Моего когда коснешься тела,
Неземной тебя охватит страх:
Я как снег бледна,
Я как лед хладна,
Не согреюсь я в твоих руках!»

Но, кипящий жизненною силой,
Он ее в объятья заключил:
«Ты хотя бы вышла из могилы,
Я б согрел тебя и оживил!
О, каким вдвоем
Мы горим огнем,
Как тебя мой проникает пыл!»

Все тесней сближает их желанье,
Уж она, припав к нему на грудь,
Пьет его горячее дыханье
И уж уст не может разомкнуть.
Юноши любовь
Ей согрела кровь,
Но не бьется сердце в ней ничуть.

Между тем дозором поздним мимо
За дверьми еще проходит мать,
Слышит шум внутри необъяснимый
И его старается понять:
То любви недуг,
Поцелуев звук,
И еще, и снова, и опять!

И недвижно, притаив дыханье,
Ждет она — сомнений боле нет —
Вздохи, слезы, страсти лепетанье
И восторга бешеного бред:
«Скоро день — но вновь
Нас сведет любовь!»
«Завтра вновь!» — с лобзаньем был ответ.

Доле мать сдержать не может гнева,
Ключ она свой тайный достает:
«Разве есть такая в доме дева,
Что себя пришельцам отдает?»
Так возмущена,
Входит в дверь она —
И дитя родное узнает.

И, воспрянув, юноша с испугу
Хочет скрыть завесою окна,
Покрывалом хочет скрыть подругу;
Но, отбросив складки полотна,
С ложа, вся пряма,
Словно не сама,
Медленно подъемлется она.

«Мать, о мать, нарочно ты ужели
Отравить мою приходишь ночь?
С этой теплой ты меня постели
В мрак и холод снова гонишь прочь?
И с тебя ужель
Мало и досель,
Что свою ты схоронила дочь?

Но меня из тесноты могильной
Некий рок к живущим шлет назад,
Ваших клиров пение бессильно,
И попы напрасно мне кадят;
Молодую страсть
Никакая власть,
Ни земля, ни гроб не охладят!

Этот отрок именем Венеры
Был обещан мне от юных лет,

Ты вотще во имя новой веры
Изрекла неслыханный обет!
        Чтоб его принять,
        В небесах, о мать,
В небесах такого бога нет!

Знай, что смерти роковая сила
Не могла сковать мою любовь,
Я нашла того, кого любила,
И его я высосала кровь!
        И, покончив с ним,
        Я пойду к другим,—
Я должна идти за жизнью вновь!

Милый гость, вдали родного края
Осужден ты чахнуть и завять,
Цепь мою тебе передала я,
Но волос твоих беру я прядь.
        Ты их видишь цвет?
        Завтра будешь сед,
Русым там лишь явишься опять!

Мать, услышь последнее моленье,
Прикажи костер воздвигнуть нам,
Свободи меня из заточенья,
Мир в огне дай любящим сердцам!
        Так из дыма тьмы
        В пламе, в искрах мы
К нашим древним полетим богам!»

Август — сентябрь 1867 г.

* * *

Радость и горе, волнение дум,
Сладостной мукой встревоженный ум,
Трепет восторга, грусть тяжкая вновь,
Счастлив лишь тот, кем владеет любовь!

Август 1870 г.

* * *

Трещат барабаны, и трубы гремят,
Мой милый в доспехе ведет свой отряд,
Готовится к бою, командует строю,
Как сильно забилось вдруг сердце мое.

Ах, если б мне дали мундир и ружье!
Пошла бы отважно я с другом моим,
По областям шла бы повсюду я с ним,
Врагов отражает уж наша пальба —
О, сколько счастлива мужчины судьба!

Август 1870 г.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

* * *

Безоблачно небо, нет ветру с утра,
В большом затрудненье торчат флюгера:
Уж как ни гадают, никак не добьются,
В которую сторону им повернуться?

Осень 1856 г. <?>

* * *

У моря сижу на утесе крутом,
   Мечтами и думами полный.
Лишь ветер, да тучи, да чайки кругом,
   Кочуют и пенятся волны.

Знавал и друзей я, и ласковых дев —
   Их ныне припомнить хочу я:
Куда вы сокрылись? Лишь ветер, да рев,
   Да пенятся волны, кочуя.

Осень 1856 г. <?>

* * *

Из вод подымая головку,
Лилея в раздумье глядит;
С высот улыбаяся, месяц
К ней тихой любовью горит.

Лилея стыдливо склонила
Головку на зеркало вод,
А он уж у ног ее, бедный,
Трепещет и блеск свой лиет.

Осень 1856 г. <?>

РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

В пустынной дубраве несется ездок,
    В роскошном лесистом ущелье,
Поет, и смеется, и трубит он в рог,
    В душе и во взоре веселье.

Он в крепкую броню стальную одет,
    Знаком его меч сарацинам,
То Ричард, Христовых то воинов цвет,
    И Сердцем зовут его Львиным.

«Здорово, король наш! — лепечут листы
    И плюща зеленые стены,—
Здорово, король наш! Мы рады, что ты
    Ушел из австрийского плена!»

Дышать на свободе привольно ему,
    Он чует свое возрожденье,
И душную он вспоминает тюрьму,
    И шпорит коня в упоенье.

<1868>

* * *

Обнявшися дружно, сидели
С тобою мы в легком челне,
Плыли мы к неведомой цели
По морю при тусклой луне.

И виден, как сквозь покрывало,
Был остров таинственный нам,
Светилося все, и звучало,
И весело двигалось там.

И так нас к себе несдержимо
Звало и манило вдали,
А мы — безутешно мы мимо
По темному морю плыли.

<1868>

* * *

Довольно! Пора мне забыть этот вздор.
Пора мне вернуться к рассудку!
Довольно с тобой, как искусный актер,
Я драму разыгрывал в шутку!

Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно,
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства — все было прекрасно.

Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье,
Хоть нет театрального хламу,
Доселе болит еще сердце мое,
Как будто играю я драму.

И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая —
О боже, я раненый насмерть играл,
Гладьятора смерть представляя!

1868

ГЕОРГ ГЕРВЕГ

* * *

Хотел бы я угаснуть, как заря,
Как алые отливы небосклона;
Как зарево вечернее горя,
Я бы хотел излиться в божье лоно.

Я бы хотел, как светлая звезда,
Зайти, блестя в негаснущем мерцанье,
Я утонуть хотел бы без следа
Во глубине лазурного сиянья.

Пускай бы смерть моя была легка
И жизнь моя так тихо уходила,
Как легкий запах вешнего цветка,
Как синий дым, бегущий от кадила.

И как летит от арфы слабый звон,
В пределах дальних тихо замирая,
Так, от земной темницы отрешен,
Я б улететь хотел к родному краю.

Нет, не зайдешь ты светлою звездой,
Ты не угаснешь, заревом пылая,

Не как цветок умрешь ты полевой,
Не улетишь, звеня, к родному краю.

Угаснешь ты, но грозная рука
Тебя сперва безжалостно коснется;
Природы смерть спокойна и легка —
На части сердце, умирая, рвется!

1856 г. или 1857 г. <?>

ШОТЛАНДСКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

ЭДВАРД

НАРОДНАЯ ШОТЛАНДСКАЯ БАЛЛАДА

1

«Чьей кровию меч ты свой так обагрил?
Эдвард, Эдвард?
Чьей кровию меч ты свой так обагрил?
Зачем ты глядишь так сурово?»
«То сокола я, рассердяся, убил,
Мать моя, мать,
То сокола я, рассердяся, убил,
И негде добыть мне другого!»

2

«У сокола кровь так красна не бежит,
Эдвард, Эдвард!
У сокола кровь так красна не бежит,
Твой меч окровавлен краснее!»
«Мой конь красно-бурый был мною убит,
Мать моя, мать!
Мой конь красно-бурый был мною убит,
Тоскую по добром коне я!»

3

«Конь стар у тебя, эта кровь не его,
Эдвард, Эдвард!
Конь стар у тебя, эта кровь не его,
Не то в твоем сумрачном взоре!»
«Отца я сейчас заколол моего,
Мать моя, мать!
Отца я сейчас заколол моего,
И лютое жжет меня горе!»

4

«А грех чем тяжелый искупишь ты свой,
Эдвард, Эдвард?
А грех чем тяжелый искупишь ты свой?
Чем сымешь ты с совести ношу?»
«Я сяду в ладью непогодой морской,
Мать моя, мать!
Я сяду в ладью непогодой морской,
И ветру все парусы брошу!»

5

«А с башней что будет и с домом твоим,
Эдвард, Эдвард?
А с башней что будет и с домом твоим,
Ладья когда в море отчалит?»
«Пусть ветер и буря гуляют по ним,
Мать моя, мать!
Пусть ветер и буря гуляют по ним,
Доколе их в прах не повалят!»

6

«Что ж будет с твоими с детьми и с женой,
Эдвард, Эдвард?
Что ж будет с твоими с детьми и с женой
В их горькой, беспомощной доле?»

«Пусть по миру ходят за хлебом с сумой,
Мать моя, мать!
Пусть по миру ходят за хлебом с сумой,
Я с ними не свижуся боле!»

7

«А матери что ты оставишь своей,
Эдвард, Эдвард?
А матери что ты оставишь своей,
Тебя что у груди качала?»
«Проклятье тебе до скончания дней,
Мать моя, мать!
Проклятье тебе до скончания дней,
Тебе, что мне грех нашептала!»

Конец 1871 г.


Примечания

В основу настоящего издания положено собрание сочинений А. К. Толстого, выпущенное издательством «Художественная литература» в 1963—1964 годах (Собрание сочинений в четырех томах. Вступительная статья, подготовка текста и примечания И. Ямпольского).

В первый том входят стихотворения и поэмы, во второй — художественная проза, в третий — драматическая трилогия, в четвертый — остальные пьесы и избранные письма.

В первом томе пять разделов: 1) лирические стихотворения; 2) баллады, былины, притчи; 3) сатирические и юмористические стихотворения; 4) поэмы; 5) переводы. Сатиры, написанные в форме былин и вообще как-то ориентированные на фольклор, Толстой печатал среди былин, баллад и притч, и в этом отношении мы следуем за ним.

Первый том представляет собою почти полное собрание стихотворений и поэм А. К. Толстого. Не включено несколько слабых или неудобных для печати произведений, детские и юношеские стихотворения, а также стихотворения на немецком и французском языках.

Внутри разделов по возможности соблюден хронологический порядок. Датировка произведена на основании как печатных, так и рукописных данных, но обоснование дат, которое потребовало бы много места, опущено. В тех случаях, когда дата написания не установлена, пришлось руководствоваться датой первой публикации. Даты, не позднее которых по тем или иным сведениям написаны стихотворения, в том числе даты первой публикации, заключены в угловые скобки. Даты предположительные сопровождаются вопросительным знаком.

Орфография приведена в соответствие с современными нормами, сохранены лишь немногие особенности правописания Толстого, передающие особенности его произношения или лексические и морфологические явления его времени (например, «скрып», «скрыпка», «крилами», «брюзгливо» в смысле «брезгливо», «латыне», «в постелю», «ценсурный», «дарвинисм», «атависм», и пр., согласно их французскому произношению). Сохранены также осо-

бенности пунктуации Толстого, имеющие интонационное значение. Это относится и к другим томам настоящего издания («чернилица», «движитель», «папортник», «могущий» в смысле «могучий», «колена», «краи», «гобелины», «фреск» и т. д.).

Примечания начинаются со справки о месте первой публикации. Источник печатаемого в настоящем издании текста в каждом отдельном случае не указывается. Все стихотворения, за исключением прутковских (о них см. на стр. 653), публикуются в последних редакциях. Большинство стихотворений, напечатанных до 1866 года, вошло в издание 1867 года («Стихотворения графа А. К. Толстого», СПб., 1867; далее оно обозначается: изд. 1867 г.), а начиная с 1867 года — в Полное собрание стихотворений 1876 года, подготовленное при участии Толстого, с исправлениями. Посмертные публикации проверены и исправлены по автографам, а при отсутствии автографов — по наиболее авторитетным изданиям и спискам. Более подробные сведения о тексте отдельных произведений и источниках черновых вариантов см. в указанном четырехтомном издании 1963—1964 годов, а также в «Полном собрании стихотворений» (Л., 1937; ниже оно называется: изд. 1937 г.) и «Драматической трилогии» (Л., 1939), вышедших в большой серии «Библиотеки поэта».

В примечаниях приведены значительные отрывки и строфы, впоследствии исключенные поэтом, а также черновые наброски, дающие интересный материал для характеристики первоначального замысла и творческой работы Толстого.

Обильные в стихотворениях Толстого реминисценции из Пушкина и Лермонтова, как правило, не указываются. Упомянуты лишь наиболее бесспорные и существенные из них. Из огромного количества музыкальных произведений на слова Толстого отмечены только принадлежащие виднейшим русским композиторам.

Чтобы не перегружать примечаний, при цитатах из писем Толстого и упоминаниях о них точные библиографические данные не приводятся. Часть этих писем помещена в четвертом томе настоящего издания. Справки об источниках текста эпистолярного наследия Толстого — печатных и рукописных — см. в издании 1963—1964 годов (т. 4, стр. 520—525). Для писем, написанных за границей, указывается двойная дата — по старому и новому стилю, для остальных — только по старому.

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Бор сосновый в стране одинокой стоит...» — Впервые — «Листок для светских людей», 1843, № 40, стр. 1, под заглавием «Серебрянка», без подписи. *Серебрянка*—ручей в имении матери поэта Блистово в Черниговской губернии. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном.

«Колокольчики мои...» — Впервые — «Современник», 1854, № 4, стр. 129—130, без 6—11-й строф. Приводим первоначальную, дожурнальную редакцию стихотворения:

Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что звените вы в траве,
Темно-голубые?

Старину ль зовете вы?
Будущие ль годы?
Новагорода ль вам жаль?
Дикой ли свободы?

Иль морских богатырей
И царевен пленных?
Иль увенчанных царей
В бармах драгоценных?

Иль соборов на Москве
Во святом синклите?
Колокольчики мои,
Звените, звените!

Колокольчики мои
В ковыле высоком!
Вы звените о былом,
Времени далеком,

Обо всем, что отцвело,
Чего нет уж боле,
О боярах на Руси,
О козацкой воле!

Колокольчики мои
В золотистом жите,
О гетма́нщине лихой
Звените, звените!

Как лежит козак убит
В стороне немилой,
И ракита говорит
Над его могилой!

Я прислушаюся к вам,
Цветики степные,
Русским людям передам
Я дела былые!

Гой ты, ветер, не шуми
В зеленой раките!
Колокольчики мои,
Звените, звените!

В следующей редакции, близкой к окончательному тексту, между строфами 10-й и 11-й имеется еще одно восьмистишие:

На одних цвели полях
    Древле наши деды,
Русс и чех, хорват и лях
    Знали те ж победы!

Будь же солнцем наших стран
    И княжи над нами!
Кто на бога и славян
    С русскими орлами!

Наконец, известны еще четыре строки, не вошедшие в печатный текст:

Вам тоски не заглушить,
    Свет не сделать милым,
Старины не воротить
    Говором унылым.

В первоначальной редакции поэт только грустит «обо всем, что отцвело», и о Новгороде, и о «козацкой воле», и о московских царях и боярах; впоследствии мотив тоски о прошлом родной страны был отодвинут на второй план. В центре окончательной редакции — мысль о России, призванной объединить все славянские народы. Толстой считал «Колокольчики мои...» одной из своих «самых удачных вещей» (письмо к жене от 27 октября 1856 года). Положено на музыку П. П. Булаховым и В. И. Ребиковым. *Светлый град* — Москва. *Шапка Мономаха* — венец русских царей.

«Ты знаешь край, где все обильем дышит..» — Впервые — «Современник», 1854, № 4, стр. 134—136, с еще двумя строфами, впоследствии отброшенными поэтом. Между 6-й и 7-й:

Ты знаешь край, где древле наш Великий
В открытом поле шумно пировал,
Со звуком труб побед сливались клики
И гордый швед в смятении бежал?
Где наши деды все летели к бою,
Туда, туда стремлюся я душою!

После 8-й:

Ты знаешь дом, где, враг презренной лести,
Родной земле отдав остаток сил,
Последний гетман жизни, полной чести,
Златой закат спокойно проводил?
Ты знаешь дом и липы над горою?
Туда, туда стремлюся я душою!

Кроме этих двух строф, в дожурнальной редакции стихотворения имеется еще одна — перед первой из них, то есть после 6-й строфы окончательного текста:

Ты знаешь край, в беде не гнувший выю,
Где Святослав к дружине рек своей:
«Умрем за честь, погибнем за Россию,
Бо срама нет для тлеющих костей!»
Они ж рекли: «Мы все умрем с тобою!..»
Туда, туда стремлюся я душою!

В стихотворении использована композиционная схема «Миньоны» Гете. *Долу* — вниз, к земле. *Сечь* — Запорожская Сечь. *Стожар* (Стожары) — созвездие. *Палей* С. Ф. (ум. в 1710 г.) — казацкий полковник, один из руководителей движения украинского казачества и крестьянства против гнета шляхетской Польши. *Сагайдачный* П. К. (ум. в 1622 г.) — кошевой атаман Запорожской Сечи, а затем гетман Украины; воевал на стороне Польши против России. *Дворца разрушенные своды.* О дворце прадеда Толстого, последнего украинского гетмана гр. К. Г. Разумовского в Батурине; Разумовский так и не успел достроить и отделать его, и после смерти Разумовского дворец быстро начал разрушаться. В исключенной последней строфе говорится о доме того же Разумовского в Батурине, в котором он после упразднения гетманства доживал свои последние годы.

Цыганские песни. — Впервые — «Русский вестник», 1856, апрель, кн. 1, стр. 485. В «Цыганских песнях» имеются отзвуки стих. Лермонтова «Есть речи — значенье...».

«Ты помнишь ли, Мария...» — Впервые — изд. 1867 г., стр. 67—68. В первоначальной редакции стихотворения было еще три строфы — между 2-й и 3-й, благодаря которым центр тяжести переносился на портретную галерею:

Вельмож суровых много
И много важных дам
На нас смотрели строго
И чопорно из рам.

Служившие когда-то
Бояре при царях,
С осанкой бородатой
Иль в белых париках,

Именьем щедро розным
Даримые двором
Иль павшие под грозным
Курляндским топором...

Благовест.— Впервые — «Русский вестник», 1856, апрель, кн. 1, стр. 482—483.

«Шумит на дворе непогода...» — Впервые — «Отечественные записки», 1856, № 5, стр. 55. В дожурнальной редакции стихотворения вместо последних двух строк 4-й строфы было:

Картины и редкие ткани
Наследник скорей увезет,

А жадная дворня растащит
Скорей остальное добро,
Растащит старинные бронзы
И с древним гербом серебро.

«Дождя отшумевшего капли...»—Впервые—«Современник», 1856, № 2, стр. 274—275. В 1858 году с большой похвалой отозвался о стихах Толстого, в частности об этом стихотворении, П. А. Кропоткин (Переписка, т. 1, М.-Л., 1932, стр. 98). Положено на музыку А. Г. Рубинштейном.

«Ой стоги, стоги...» — Впервые — «Современник», 1854, № 4, стр. 130—131. Как и «Колокольчики мои...», стихотворение проникнуто мыслью об объединении славянства при помощи и под руководством России: «стоги» — славянские народы, «орел» — Россия.

«По гребле неровной и тряской...» — Впервые — «Современник», 1854, № 4, стр. 132—133.

«Милый друг, тебе не спится...» — Впервые — «Современник», 1856, № 2, стр. 272, без 4-й строфы. В дожурнальной редакции стихотворения было еще две строфы. После 2-й:

Я пройду близ дикой вишни
    Около плетня,
У разрушенной кирпични
    Ты найдешь меня!

Строфы 3-я и 4-я расположены в обратном порядке, а заканчивалось стихотворение строками:

Дергачи кричат по нивам,
    Перепел во ржи,
Час настал нам быть счастливым,
    Друг, не откажи!

В этой редакции Толстого не удовлетворяли, по-видимому, перегрузка деталями пейзажа и грубоватый конец. В «Современнике», где были напечатаны лишь первые двенадцать строк окончательного текста, стихотворение приобрело совсем иной харак-

тер, а кроме того, явно оборванное, оно воспринималось как фрагмент. Снова обрабатывая его для издания 1867 г., Толстой прибавил еще одну строфу из ранней редакции, придав стихотворению известную законченность и возвратив ему — в смягчённом виде — прежнюю окраску. Резко отозвался о стихотворении Л. Н. Толстой. Он писал А. А. Фету в декабре 1876 года: «Толстой — ужасен... Например, картина ночи: «Не скрипят в сенях ступени». Отчего же не сказано, что не хрюкают в хлеве свиньи? И все в том же роде» (Полн. собр. соч., т. 62, М., 1953, стр. 295).

Пустой дом. — Впервые — «Русский вестник», 1856, апрель, кн. 1, стр. 486—487. В «Пустом доме», как и в стихотворениях «Шумит на дворе непогода...» и «Ты помнишь ли, Мария...», отразились впечатления от какого-то родового дома Разумовских. Все эти стихотворения близки по своему настроению и совпадают в ряде деталей. Упоминание имени Растрелли свидетельствует о том, что здесь имелся в виду не батуринский дворец Разумовского, о котором идет речь в стихотворении «Ты знаешь край...».

«Пусто в покое моем. Один я сижу у камина...» — Впервые полностью — в кн. А. А. Кондратьева «Граф А. К. Толстой», СПб., 1912, стр. 28. Посылая стихотворение Софье Андреевне, Толстой писал: «Это только затем, чтобы напомнить Вам греческий стиль, к которому Вы питаете привязанность».

«Средь шумного бала, случайно...» — Впервые — «Отечественные записки», 1856, № 5, стр. 59—60. Это и другие любовные стихотворения, начиная с 1851 года, обращены к С. А. Миллер, будущей жене поэта. Толстой познакомился с нею в декабре 1850 или в начале января 1851 года на маскараде в Петербурге. «Средь шумного бала...» связано со стихотворением Лермонтова «Из-под таинственной холодной полумаски...». Строка «В тревоге мирской суеты» внушена строкой Пушкина «В тревогах шумной суеты» (стихотворение «Я помню чудное мгновенье...»). «Средь шумного бала...» нравилось Л. Н. Толстому, хотя он и отдавал предпочтение стихотворению Лермонтова (К. В. Волков. Наброски к воспоминаниям о Л. Н. Толстом — сб. «Толстой», вып. 2, М., 1920, стр. 90). Положено на музыку П. И. Чайковским.

«С ружьем за плечами, один, при луне...» — Впервые — изд. 1867 г., стр. 78—79. Написано под впечатлением знакомства с С. А. Миллер; ср. строку «Случайно сошлись вы в мирской суете» с началом «Средь шумного бала...».

«Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!..» — Впервые — Полн. собр. стихотворений, СПб., 1876, т. 2, стр. 372. В первоначальной редакции стихотворения между строками 12-й и 13-й было еще пять:

Врылися в недра земли глубоко мои крепкие корни,
Веют прохладой мои широко шумящие ветви,
Много поет соловьев под тенью моей изумрудной,
Листья таинственно шепчут о том, что прекрасно и чисто.
Ты прислушайся к ним, в них голос веселого детства.

Положено на музыку Ц. А. Кюи.

«Ты не спрашивай, не распытывай...» — Впервые — в сб. «Эротические стихотворения русских поэтов. Собрал Григорий Книжник <Г. Н. Геннади>», СПб., 1860, стр. 102. В первоначальной редакции вместо строк 5—9-й:

За улыбку ли я люблю тебя?
Иль за речь твою соловьиную?
Иль за думушки, думки тяжкие,
Думки тяжкие, безотрадные!

И не знаю я, и не ведаю:
Ты сестра ли мне? Молода ль жена?
Или детище ты мне малое,
Дитя малое, бесприютное?

Положено на музыку А. К. Лядовым и А. С. Аренским.

«Мне в душу, полную ничтожной суеты...» — Впервые — «Русский вестник», 1857, апрель, кн. 1, стр. 427.

«Не ветер, вея с высоты...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 356. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном, Н. А. Римским-Корсаковым и С. И. Танеевым.

«Меня, во мраке и в пыли...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 357—358. В стихотворении имеются явные отголоски «Пророка» Пушкина; они ощущаются и в развитии темы перерождения человека и обретенного им нового зрения, и в словесных совпадениях (ср., напр., «Меня, во мраке и в пыли ||Досель влачившего оковы» с «Духовной жаждою томим, ||В пустыне мрачной я влачился»), и в стилистических приемах (торжественное «и» в начале многих стихов). *Горней* — небесной. *Слово* — здесь: бог.

«Коль любить, так без рассудку...» — Впервые — «Современник», 1854, № 4, стр. 133. Строки из дожурнальной редакции стихотворения:

Коль смотреть — смотреть уж в оба,
Коли помнить, так до гроба,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой,

Коли плыть, так плыть как гусь,
Коли гибнуть, так за Русь,
Коль кричать, так с нами бог!

Положено на музыку А. Г. Рубинштейном, Ц. А. Кюи и Р. М. Глиером.

Колодники.— Впервые — «Вестник Европы», 1876, № 2, стр. 710—711. Стихотворение стало одной из популярнейших песен политической каторги и ссылки; ее очень любил В. И. Ленин (С. Виноградская. Первые шаги — «Новый мир», 1957, № 10, стр. 46). Вошло в многочисленные песенники и сборники революционных песен. «Колодники» положены на музыку А. Т. Гречаниновым.

«Уж ты мать-тоска, горе-гореваньице!..» — Впервые — «Русский вестник», 1856, апрель, кн. 1, стр. 487—488. *Гридни и отроки* — в Древней Руси члены младшей княжеской дружины, телохранители и слуги князя.

«Вот уж снег последний в поле тает...» — Впервые—«Отечественные записки», 1856, № 5, стр. 56, с еще одной, последней строфой:

О, пожди, пожди еще немного,
Дай и мне уйти туда с тобой,
Легче нам покажется дорога,
Пролетим ее рука с рукой!

«Уж ты нива моя, нивушка...» — Впервые — «Отечественные записки», 1856, № 5, стр. 58—59. Положено на музыку Ц. А. Кюи и С. В. Рахманиновым.

«Край ты мой, родимый край...» — Впервые — «Отечественные записки», 1856, № 5, стр. 59. Положено на музыку Ц. А. Кюи, А. Т. Гречаниновым, В. И. Ребиковым и Н. М. Стрельниковым.

«Грядой клубится белою...» — Впервые — изд. 1867 г., стр. 41. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном, Ц. А. Кюи, Р. М. Глиером, Б. В. Асафьевым и Н. М. Стрельниковым.

«Колышется море; волна за волной...» — Впервые — «Современник», 1857, № 1, стр. 9, под заглавием «Волны». Положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым и С. И. Танеевым.

«О, не пытайся дух унять тревожный...» — Впервые — «Современник», 1857, № 1, стр. 11. Положено на музыку Б. В. Асафьевым.

«Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо...» — Впервые — «Русский вестник», 1857, январь, кн. 1, стр. 205. Положено на музыку Ц. А. Кюи и С. В. Рахманиновым.

Крымские очерки

Впервые: стих. 2, 3, 5, 7, 9—12 — «Современник», 1856, № 11, стр. 5—10, под заглавием «Крымские очерки», стих. 10 — под особым заглавием «Чуфут-Кале»; стих. 6 и 8 — «Русская беседа», 1859, № 4, стр. 5—7, под заглавием «Из крымских очерков»; стих. 4— «Русская беседа», 1859, № 6, стр. 5—6, без упоминания о цикле; стих. 1, 13 и 14 — изд. 1867 г., стр. 111, 129—131. В цикле нашли отражение впечатления, полученные во время поездки вместе с женою по Крыму в мае — июне 1856 года. В основном он был написан летом и осенью этого года. Сначала Толстой бережно относился ко всем входившим в цикл стихотворениям. «Они все добавляют цельность картины, и оттого я не решаюсь их уничтожить»,— писал он жене 6 октября 1856 года. Однако позже он забраковал и отложил печатание нескольких стихотворений. Стих. 13 и 14 были написаны, по-видимому, в 1857 году, а стих. 1 и 8 — последними из всего цикла.

1. «Над неприступной крутизною...» — Положено на музыку Ц. А. Кюи и А. Т. Гречаниновым.

2. «Клонит к лени полдень жгучий...» — В журнальном тексте между строками 4 и 5-й:

С черных глаз твоих, о Лора,
С загорелого лица,
Не сводя до ночи взора,
Я бы слушал без конца,—

а строка 5-я: Как из камней вытекая. Положено на музыку Ц. А. Кюи и Н. Н. Черепниным.

4. «Ты помнишь ли вечер, как море шумело...» — «Я слишком поспешил, посылая тебе «Ветку акации», — писал Толстой жене 5 октября 1856 года,— я ее совсем переделал и посылаю ее теперь в новом виде». Но на следующий день он был снова недоволен стихотворением. «Сегодня с утра,— сообщил Толстой жене,— я уже переменял и изменял «Ветку акации» так много, что я уже не знаю, что̀ надо оставить и что̀ надо выбросить из разных вариаций, которые я написал». Скоро после этого Толстой отложил печатание стихотворения, изъяв его из группы «Крымских очерков», предназначавшихся для «Современника». Положено на музыку Ц. А. Кюи и С. В. Рахманиновым.

5. «Вы всё любуетесь на скалы...» — Положено на музыку Ц. А. Кюи. *Ифигения* (греч. миф.) — дочь аргосского царя Агамемнона, давшего обет принести ее в жертву богине

Артемиде. Однако Артемида заменила ее на жертвеннике ланью и перенесла в Тавриду (старинное название Крымского полуострова).

7. «Как чудесно хороши вы...» — Н. С. Курочкин указал на отзвуки в этом «очерке» стихотворения Пушкина «Город пышный, город бедный...» («Дело», 1868, № 1, стр. 33). Положено на музыку Ц. А. Кюи.

8. «Обычной полная печали...» — Положено на музыку Ц. А. Кюи.

9. «Приветствую тебя, опустошенный дом...» — В черновых набросках вместо 15—18 — другие пять строк:

Вот опрокинут стол; вот мраморный камин,
Разбитый вдребезги; вот древняя статуя
Изрублена кругом и, будто негодуя,
Вперила на меня свой неподвижный взгляд,
Вот здесь простреленных висит портретов ряд...

В стихотворении переданы впечатления от двухнедельного пребывания Толстого в имении его дяди, министра уделов Л. А. Перовского. «Ни стола, ни стула», — писал поэт матери 22 июня 1856 года (А. А. Кондратьев. Граф А. К. Толстой, СПб., 1912, стр. 40).

12. «Солнце жжет; перед грозою...» — Положено на музыку Ц. А. Кюи.

«Как здесь хорошо и приятно...» — Впервые — в статье А. Кондратьева «„Крымские очерки" гр. А. К. Толстого» («Современник», 1912. № 6, стр. 377).

«Растянулся на просторе...» — Впервые полностью — в кн. А. А Кондратьева «Граф А. К. Толстой», СПб., 1912, стр. 40. Первоначально входило в цикл «Крымские очерки».

«Войдем сюда; здесь меж руин...» — Впервые — в кн. А. А. Кондратьева «Граф А. К. Толстой», СПб., 1912, стр. 39—40. Строка 17-я осталась недописанной. По-видимому, первоначально входило в цикл «Крымские очерки». О герое этого стихотворения — караимском раввине и ученом С. А. Бейме (1817—1867), авторе книжек «Чуфут-Кале и караимы» (СПб., 1861), «Память о Чуфут-Кале» (Одесса, 1862) и др., Толстой отзывался в письме к Н. М. Жемчужникову от 28 ноября 1858 г. как об «одном из образованнейших и приятнейших людей». *Талмуд* — свод основанных на схоластическом толковании Библии правил и предписаний, регламентировавших религиозные, правовые отношения и быт верующих евреев. *Каббала* — еврейское средневековое мистическое учение.

«Если б я был богом океана..» — Впервые — в статье А. Кондратьева «„Крымские очерки" гр. А. К. Толстого»

(«Современник», 1912, № 6, стр. 376—377). *Циана* — декоративное растение из семейства лилий.

«Что за грустная обитель...» — Впервые — «Русская беседа», 1857, № 3, стр. 146—147, под заглавием «Станция». В черновых набросках есть ряд деталей, не нашедших отражения в печатном тексте:

Стукнет вправо, стукнет влево,
Все твердит, твердит одно,
Вижу . . . . деву
И узорное окно,

Вижу улицу . . . . . .
. . . .
. . . . . . всякий вздор
. . . .

. . . . туманы
Степи, улицы, сады [1],
Однодворцы, тараканы,
Генералы и жиды!

Скоро галки встрепенутся,
Засверкает снежный путь,
Кабы мне совсем проснуться
Иль скорей совсем заснуть!

Жарко, душно, будто в бане,
Всё твердит о чем-то мне.
Я на кожаном диване
Забываюсь в полусне.

Пес в деревне вдруг залает,
Иль петух вспорхнет, крича,
И в шандале запылает
Догоревшая свеча.

Дней минувших впечатленья,
Дней грядущих темнота,
Ожиданья, сожаленья
И мяуканье кота.

---

[1] Предшествующие варианты этой строки: «Степи, реки и сады» и «Дети, лошади, сады».

Скучной мельницы болтанье,
Дружный говор топоров,
И луна, <и> дев лобзанья,
И жужжанье комаров.

Как-то лень совсем проснуться,
Как-то совестно заснуть.

Толстой отобрал, как обычно, лишь две-три детали, отбросив все остальное, чтобы не перегружать стихотворение и не заслонять основной эмоции.

«Не верь мне, друг, когда, в избытке горя...» — Впервые — «Современник», 1857, № 1, стр. 9. Поэт много работал над вторым четверостишием. Приведем в качестве примера черновые варианты строки 6:

Оно придет, свой отдых позабыв
Оно прихлынет, отдых позабыв
Оно встоскует, волю разлюбив
Оно встоскует, волю позабыв
Оно встоскует, бурю разлюбив
Оно вернется, волю позабыв
Оно грустит, досаду позабыв
Оно грустит, свободу позабыв
Тоскую я, досаду позабыв
Грущу один, свободу позабыв
Оно грустит, свободу разлюбив
Свою неволю снова полюбив
Родимый берег снова полюбив
С сугубой силой берег возлюбив
Еще сильнее берег возлюбив
Ты мне опять мила и дорога
Твоя любовь мне снова дорога
Свою свободу вновь тебе отдам
Тоскую я, свободу разлюбив
Тоскую я, свободу позабыв
Мою свободу вновь тебе отдам.

Сначала все четверостишие было посвящено развитию образа возвращающегося к своим берегам моря, и лишь затем строки 5—6 были перенесены на душевное состояние поэта; иначе говоря, обоим четверостишиям он придал сходное построение, еще больше подчеркнув параллелизм образов. Толстой перевел стихотворение на немецкий язык. Положено на музыку П. И. Чайковским, Н. А. Римским-Корсаковым и С. В. Рахманиновым.

«Острою секирой ранена береза...» — Впервые — «Современник», 1857, № 1, стр. 11. Написано, по всей вероятности, под впечатлением пребывания у матери в Красном Роге ле-

том 1856 г. и вызвано недовольством последней его связью с Софьей Андреевной. О переживаниях Толстого говорит в своих воспоминаниях бывший в это время в Красном Роге Л. М. Жемчужников («Вестник Европы», 1899, № 11, стр. 260). В записной книжке 1856 г. рядом с последними набросками стихотворения находится черновик начала письма к матери, несомненно, на ту же тему — о Софье Андреевне. Самому поэту принадлежит вольный перевод стихотворения на немецкий язык. Положено на музыку А. Т. Гречаниновым, М. М. Ипполитовым-Ивановым, В. И. Ребиковым и Н. М. Стрельниковым.

«Усни, печальный друг, уже с грядущей тьмой...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 353. В первых черновых набросках поэт призывает сон к самому себе:

Скорей, о сон, скорей! Спустися в час полночи
Беседовать со мной, единственный мой друг!
Давно затмения мои желают очи,
Забвения и тьмы тревожный просит дух.

Пытливость горькую у мысли он отымет,
Он скованной душе отдаст ее полет
И тихою рукой до утра приподымет
На сердце горестном всегда лежащий гнет.

Позже появляется обращение «Усни, о друг, усни», и весь этот призыв переносится на любимую женщину. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном, П. И. Чайковским и Н. А. Римским-Корсаковым.

«Когда кругом безмолвен лес дремучий...» — Впервые — «Русский вестник», 1857, январь, кн. 1, стр. 203. В дожурнальной редакции стихотворения были еще четыре строки — между 8-й и 9-й:

Когда прошу у бога возрожденья
    Родной земли,
А все мои святые убежденья
    Лежат в пыли.

Стихотворение представляет собою вариации на мотивы стих. Гете «Nahe des Geliebten» («Близость любимого»).

«Сердце, сильней разгораясь от году до году...» — Впервые — «Русский вестник», 1857, январь, кн. 1, стр. 204. Положено на музыку Б. В. Асафьевым.

«В стране лучей, незримой нашим взорам...» — Впервые — «Современник», 1857, № 1, стр. 10, с подзаголовком «Из Сведенборга». В изд. 1867 г. — без подзаголовка,

среди оригинальных стихотворений. *Сведенборг* Э. (1688—1772) — шведский философ-мистик.

«Лишь только один я останусь с собою...» — Впервые — «Русская беседа», 1857, № 3, стр. 146. Положено на музыку Б. В. Асафьевым.

«Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..» — Впервые — «Библиотека для чтения», 1857, № 1, стр. 9, где напечатана первоначальная редакция стихотворения:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты
создатель!
Воздух, которым мы дышим, исполнен был ими издавна;
В нем они вечно носились, незримые нашему оку.
Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса;
Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву,
Этот ласкающий взор из-под мрака бровей громоносных,
Мягкий извив бороды и спокойное уст очертанье?
Гете не собственной мыслию Фауста великого создал,
Фауста, что, в средневековой красе, в человеческой правде,
Сходен с предвечным своим идеалом от слова до слова.
Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный,
Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов,
Плач неутешной души над погибшей великою мыслью,
Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса?
Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном
пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья.
Много живет еще в воздухе форм и невидимых линий,
Много чудесных в нем есть сочетаний и света и звука,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать.
Кто, уловив лишь рисунка изгиб, лишь единое слово,
Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный.
О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем,
В темной души глубине бьет звонкий родник вдохновенья!
Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен,
Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье,
И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки
Явственно вдруг выступают, глубокого полные смысла,
Так пред тобой, развиваясь в тумане, предстанут картины,
Выйдут из мрака все ярче цвета, осязательней формы,
Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье. .
Ты ж в этот миг и гляди и внимай, притаивши дыханье,
И, созидая потом, мимолетное помни виденье.

«Я начал одну вещь, в которой я говорил об образах, витающих в воздухе...— писал Толстой жене 6 октября 1856 г.— Очень странно развивать теорию в стихах, но я думаю, что это мне удастся. Так как этот сюжет требует много анализа, я выбрал

гекзаметр — самые легкие стихи... а вместе с тем это стихотворение дает мне много труда,— так легко впасть в педантизм». 11 октября поэт сообщил ей: «Я окончил дидактическое стихотворение... для любопытства я тебе пришлю черновые листы — они так перечеркнуты и перемараны, что ты ничего не поймешь в них». Наконец 6 декабря он писал жене, что любит это стихотворение, «несмотря на его genre». *Фидий* (ок. 490—430 до н. э.) — гениальный греческий скульптор, одним из лучших произведений которого считалась статуя Зевса. *Слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен.* По преданию, творец «Илиады» и «Одиссеи» был слеп; в античном искусстве его всегда изображали слепым старцем. Л. Бетховен в годы расцвета своего гения почти полностью лишился слуха.

«Что ты голову склонила?..» — Впервые — «Русский вестник», 1857, январь, кн. 1, стр. 204.

Б. М. Маркевичу («Ты прав; мой своенравный гений...»).— Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 354. О Маркевиче см. на стр. 644.

«И у меня был край родной когда-то...» — Впервые — А. К. Толстой. Стихотворения, Л., 1952, стр. 111. Вариации на мотивы стих. Г. Гейне «Ich hatte einst ein schönes Vaterland...» из цикла «На чужбине». *Но гром умолк; гроза промчалась мимо.* По-видимому, речь идет о Крымской войне.

«Господь, меня готовя к бою...» — Впервые — «Русский вестник», 1857, апрель, кн. 1, стр. 428. В первых строках стихотворения (как и в стих. «Меня, во мраке и в пыли...») явственно ощущается воздействие «Пророка» Пушкина; имеются в них и словесные заимствования. Иным является, однако, общий облик поэта и поворот темы во второй половине стихотворения («Но непреклонным и суровым // Меня господь не сотворил» и т. д.).

«Порой, среди забот и жизненного шума...» — Впервые—«Русский вестник», 1857, апрель, кн. 1, стр. 429. Положено на музыку Б. В. Асафьевым.

«Не божиим громом горе ударило...» — Впервые — «Русская беседа», 1857, № 3, стр. 149. Положено на музыку М. П. Мусоргским.

«Ой, честь ли то молодцу лен прясти?..» — Впервые — «Русская беседа», 1857, № 3, стр. 149. В черновом автографе вместо строк 1—5:

Ой, след ли то молодцу лен прясти?
Ой, честь ли то, братцы, девке в свайку играть?
А и хвала ли старцу вприсядку пойти?
А боярину кичку носить?

Кузнецу-то коров доить?
Воеводе по воду ходить?
Гусляру-певуну во тюрьме сидеть?
Во тюрьме сидеть, потолок коптить?

Положено на музыку М. П. Мусоргским, В. С. Калинниковым, Н. М. Стрельниковым и Н. Н. Черепниным. *Кичка* — старинный головной убор замужней женщины. *Приказ* — казенное учреждение, см. стр. 631.

«Ты неведомое, незнамое...» — Впервые — «Русская беседа», 1857, № 3, стр. 150. Конец стихотворения ср. со строками народной песни:

У дородного добра молодца
Много было на службе послужено,
На печи было вволю полежано... и т. д.

(И. Сахаров. Песни русского народа, ч. 4, СПб., 1839, стр. 143—144). *Фомина неделя* — первая неделя после пасхальной (светлой).

«Он водил по струнам; упадали...» — Впервые — «Русский вестник», 1857, апрель, кн. 1, стр. 430, без последних восьми строк. Написано, по всей вероятности, вскоре после знакомства со скрипачом Георгом Кизеветтером, который произвел большое впечатление и на Льва Толстого и послужил прототипом для его Альберта (героя одноименной повести). Сведения о нем см. в статье В. И. Срезневского «Георг Кизеветтер, скрипач петербургских театров» (сб. «Толстой. 1850—1860», Л., 1927). *Жженка*—напиток, приготовляемый из зажженного коньяка или рома с сахаром, фруктами и пряностями.

«Уж ласточки, кружась, над крышей щебетали...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 355.

«Деревцо мое миндальное...» — Впервые — изд. 1867 г., стр. 44. Первоначально входило в цикл «Крымские очерки». Положено на музыку Б. В. Асафьевым и Н. М. Стрельниковым.

«Двух станов не боец, но только гость случайный...» — Впервые — изд. 1867 г., стр. 42. Это стихотворение, отправленное И. С. Аксакову в начале 1858 г., первоначально называлось «Галифакс», по имени английского политического и государственного деятеля Д. Галифакса (1633—1695). Однако политическая позиция Галифакса была для Толстого лишь поводом для выражения собственных взглядов; поэтому заглавие было впоследствии снято. Стихотворение возникло под влиянием апо-

логетической характеристики Галифакса в четвертом томе «Истории Англии» Т. Маколея, вышедшем в 1855 г.: «Он всегда смотрел на текущие события не с той точки зрения, с которой они обыкновенно представляются человеку, участвующему в них, а с той, с которой они, по прошествии многих лет, представляются историку-философу... Партия, к которой он принадлежал в данную минуту, была партией, которую он в ту минуту жаловал наименее, потому что она была партией, о которой он в ту минуту имел самое точное понятие. Поэтому он всегда был строг к своим ярым союзникам и всегда был в дружеских отношениях с своими умеренными противниками» и т. д. (Маколей. Полн. собр. соч., т. 6, СПб, 1861, стр. 239—242).

«Как селянин, когда грозят...» — Впервые — «Вестник Европы», 1882, № 1, стр. 36, под заглавием «Певцу».

«Запад гаснет в дали бледно-розовой...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 458. Положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым.

«Ты почто, злая кручинушка...» — Впервые — «Русская беседа», 1858, № 1, стр. 88—89. В стихотворении есть ряд отзвуков народных песен, в том числе песен о неравном браке. Ср., напр., строки 27—28 с песней «Ни в уме было, ни в разуме...»:

Держать голову поклонную,
Ретиво сердце покорное

(«Собрание разных песен» М. Д. Чулкова, ч. 1, СПб., 1770. стр. 179).

«Рассевается, расступается...» — Впервые — «Русская беседа», 1858, № 1, стр. 90. Положено на музыку М. П. Мусоргским.

«Что ни день, как поломя со влагой...» — Впервые — «Русская беседа», 1858, № 1, стр. 90. Толстой перевел свое стихотворение на немецкий язык. Положено на музыку Б. В. Асафьевым.

«Звонче жаворонка пенье...» — Впервые — «Русская беседа», 1858, № 1, стр. 89—90. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном, Н. А. Римским-Корсаковым и Ц. А. Кюи.

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 354—355. Положено на музыку П. И. Чайковским и Ц. А. Кюи.

«Источник за вишневым садом...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 355.

«О друг, ты жизнь влачишь, без пользы увядая...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 355.

«В совести искал я долго обвиненья...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 357.

«Минула страсть, и пыл ее тревожный...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 450. Положено на музыку П. И. Чайковским.

«Когда природа вся трепещет и сияет...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 450—451.

«Ты знаешь, я люблю там, за лазурным сводом...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 451, с еще одной (первой) строфой:

Ты знаешь, жизнь меня к себе не привлекала,
На мир я никогда с любовью не глядел,
Душа во мне не раз по воле тосковала
И за вещественный стремилася предел.

Несколько отличаются в связи с этим и следующие строки.

«Замолкнул гром, шуметь гроза устала...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 452.

«Змея, что по скалам влечешь свои извивы...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 452. Положено на музыку Ц. А. Кюи.

«Ты жертва жизненных тревог...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 452—453.

«Бывают дни, когда злой дух меня тревожит...» — Впервые — «Русский вестник». 1858, июнь, кн. 1, стр. 453.

«С тех пор как я один, с тех пор как ты далеко...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 453—454. В дожурнальной редакции стихотворения была еще одна строфа, между 2-й и 3-й:

Сестра моей души! при каждом расставанье
Все сердце вслед тебе металось и рвалось,

И уст твоих, заснув, я чувствовал дыханье,
И на моем челе игру твоих волос.

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 454. Для характеристики работы Толстого над текстом своих стихотворений приводим черновые варианты строки 9:

И лишь до нас могучего светила
Лишь до земли могучего светила
Лишь до земли живящего светила
Но к нам ее могучего светила
И только к нам одним ее светила
Лишь к нам одним всемирного светила
И лишь к земле, увы, ее светила
И лишь на землю яркого светила.

Положено на музыку П. И. Чайковским. *Глагол* — слово, здесь: бог.

«Я вас узнал, святые убежденья...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 455.

«О, не спеши туда, где жизнь светлей и чище...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 455—456, с еще одной строфой, между 1-й и 2-й:

Поверь, в стране лучей, из мира в мир влекома,
Средь пения светил,
Ты будешь тосковать о горести знакомой,
Чтó я с тобой делил!

Последнюю строфу ср. с «Дон Жуаном»:

Одно звено той бесконечной цепи,
Которое, в связи со всей вселенной,
Восходит вечно выше к божеству.

Мадонна Рафаэля. — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 456, под заглавием «La madonna della Seggiola».

«Дробится, и плещет, и брызжет волна...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 456. Это и следующее стихотворения сюжетно связаны между собою. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном, Н. А. Римским-Корсаковым, Ц. А. Кюи и С. М. Ляпуновым.

«Не пенится море, не плещет волна...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 457. Положено

на музыку М. А. Балакиревым, Н. А. Римским-Корсаковым и Ц. А. Кюи.

«Не брани меня, мой друг...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 457. Положено на музыку Ф. Листом.

«Я задремал, главу понуря...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 457.

«Горними тихо летела душа небесами...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, июнь, кн. 1, стр. 458. Написано как своеобразная вариация на тему «Ангела» Лермонтова. Положено на музыку П. И. Чайковским, М. П. Мусоргским, Н. А. Римским-Корсаковым, Ц. А. Кюи и А. С. Аренским. *Лики* — здесь в старинном значении: радостные крики, возгласы.

«Ты клонишь лик, о нем упоминая...» — Впервые — «Русская беседа», 1858, № 3, стр. 3. Написано под влиянием «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Лермонтова и сходно с ним по общему замыслу. Ср. строку «Ты любишь в нем лишь первую любовь» с «Люблю в тебе я прошлое страданье//И молодость погибшую мою».

«Вырастает дума, словно дерево...» — Впервые — «Русская беседа», 1858, № 3, стр. 4.

«Тебя так любят все! Один твой тихий вид...»—Впервые—«Русская беседа», 1858, № 3, стр. 4. Положено на музыку С. В. Рахманиновым.

«Хорошо, братцы, тому на свете жить...» — Впервые — «Русская беседа», 1858, № 3, стр. 5. *Посадник* — см. стр. 641. *Думный дьяк* — см. стр. 631.

«Кабы знала я, кабы ведала...» — Впервые — «Русская беседа», 1858, № 3, стр. 6. Стихотворение восходит к народной песне: «Как бы знала, как бы ведала...» Положено на музыку А. Г. Рубинштейном и П. И. Чайковским. *Мурмолка* — старинная меховая или бархатная шапка, часто упоминающаяся в русских народных песнях и сказках.

«Нет, уж не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою!..» — Впервые—«Русская беседа», 1859, № 2, стр. 5.

«Сижу да гляжу я всё, братцы, вон в эту сторонку...» — Впервые — «Русская беседа», 1859, № 2, стр. 5.

«Есть много звуков в сердца глубине...»—Впервые — «Русская беседа», 1859, № 4, стр. 4. Положено на музыку С. В. Рахманиновым.

«К страданиям чужим ты горести полна...» — Впервые — «Русская беседа», 1859, № 4, стр. 5. Положено на музыку Ц. А. Кюи.

«О, если б ты могла хоть на единый миг...» — Впервые — «Русская беседа», 1859, № 4, стр. 5. Положено на музыку П. И. Чайковским, Н. А. Римским-Корсаковым и М. М. Ипполитовым-Ивановым.

«Нас не преследовала злоба...» — Впервые—«Русский вестник», 1859, август, кн. 2, стр. 600.

«Исполать тебе, жизнь — баба старая...»—Впервые — «Русская беседа», 1859, № 6, стр. 4—5.

И. С. Аксакову.— Впервые — «Русская беседа», 1859, № 2, стр. 6—7. Стихотворение написано в ответ на критические замечания Аксакова о поэмах «Грешница» и «Иоанн Дамаскин» (см. примеч. на стр. 656—657). «Вот Вам для почину,—писал ему Толстой 10 января 1859 г.,— маленькое послание и вместе с тем оправдание на Ваше обвинение в академисме». Аксаков хотел заменить свою фамилию в заглавии буквами NN, против чего Толстой возражал. «Подумают,— писал он 28 февраля 1859 г., — что я боюсь обращаться к Вам открыто, потому что Вы под опалой». Строки, выделенные курсивом,— цитата из «Родины» Лермонтова; в соседних строках есть также ряд тематических и словесных совпадений с ним. *Псалтырь* — здесь: древний струнный музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого пелись псалмы — духовные песнопения.

«Пусть тот, чья честь не без укора...» — Впервые — «Русский вестник», 1866, № 9, стр. 185. Толстой предполагал присоединить в качестве «эпилога» к «Иоанну Дамаскину» стихотворное послание к царице. Н. М. Жемчужников, которому поэт переслал его, высказал опасение, что это будет нехорошо истолковано читающей публикой. «Прерываю мое письмо, получив твое насчет эпиграфа, скажу эпилога, к «Иоанну Дамаскину»...— писал ему Толстой 19 января 1859 г.— Дай срок, и я буду тебе отвечать в стихах, как отвечал уже Аксакову по другому случаю». Через несколько дней стих. «Пусть тот, чья честь не без укора..» было готово. Однако поэма была все же напечатана без «эпилога». *Глагол* — слово, речь.

«На нивы желтые нисходит тишина...» — Впервые — «День», 1862, № 17, 3 февраля, стр. 1. Положено на музыку П. И. Чайковским, Н. А. Римским-Корсаковым, Ц. А. Кюи, А. С. Аренским, А. Т. Гречаниновым и Н. Н. Черепниным.

«Вздымаются волны как горы...» — Впервые — «Русский вестник», 1866, № 9, стр. 184. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном и Н. А. Римским-Корсаковым.

Против течения.— Впервые — «Русский вестник», 1867, № 6, стр. 617—618. *Икон истребители.* Речь идет об иконоборчестве, движении против почитания икон в Византии в VIII—IX вв. *Спаситель* — Иисус Христос. *Галилеяне.* Галилея — область в Палестине; ей принадлежала важная роль в распространении христианства, и потому галилеянами стали называть христиан.

«Одарив весьма обильно...» — Впервые — в кн.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. 2, СПб., 1912, стр. 327; в письме к Стасюлевичу из Красного Рога от 19 февраля 1869 г. «Если б Вы знали, какой я плохой хозяин! — писал ему Толстой.— Ничего не понимаю, а вижу, что все идет плохо. Это сознание внушило мне следующий ответ на известное стихотворение Тютчева: Эти бедные селенья, Эта скудная природа!» В это время в Красном Роге был страшный голод.

<И. А. Гончарову> «Не прислушивайся к шуму...» — Впервые — изд. 1937 г., стр. 186. Это надпись на переплетенных вместе «Смерти Иоанна Грозного» (СПб., 1866), «Царе Федоре Иоанновиче» (СПб., 1868) и «Царе Борисе» (СПб., 1870). Строка «Ветер пусть их носит лай» и др. связаны с резкими отзывами критики об «Обрыве», впервые напечатанном в 1869 г.

«Темнота и туман застилают мне путь...» — Впервые — «Вестник Европы», 1873, № 1, стр. 261. Сохранился первоначальный набросок стихотворения:

Ни тропинки нигде, что за польза в узде?
Все пути темнота заградила,
Но к луке я приник, я скачу напрямик,
Выноси меня, конская сила!

Средь лощин и полян разостлался туман,
Застилает пути и дороги,
Я не ждал, не гадал, я коня разнуздал,
Я в бока ему втиснул остроги.

Другая черновая редакция:

От лощин и полян густо всходит туман,
Не видать ни дороги, ни поля!
Коль ни зги не видать, так не нужно гадать,
Без гаданья же волюшка-воля!

Я не ждал, не гадал, я коня разнуздал,
Я в тумане скачу без дороги,
Я дал волю коню, лишь свищу, да гоню,
Да в бока ему тисну остроги!

Что там, мост и<ли> гать? Косогор или гладь?

. . . .

То песок иль вода? Мне какая нужда!

. . . .

Таким образом, тема «царь-девицы» не была исходной для поэта; во всяком случае, в первоначальных набросках она не нашла отражения. Много труда стоила Толстому вторая строфа. Вот слова, которыми он пытался выразить, какими путями можно попасть в «неведомый край»: «Лишь хоти и скачи», «только верь и желай», «лишь стремися и верь»; помочь могут «случай», «отвага», «удача», «счастье», «безумье»; вместо «Тут расчет никакой не поможет» находим в одном месте — «И наука тебе не поможет». Вся эта строфа произносилась то от имени самого поэта, то от имени «царь-девицы»; Толстой колебался и несколько раз менял соот ветствующие места; мы находим здесь поэтому «Как достичь до нее, не ищи, не гадай» и «Как достичь до меня, не ищи, не гадай» и т. п. *Остроги* — здесь: шпоры.

«В монастыре пустынном близ Кордовы...» — Впервые — «Вестник Европы», 1871, № 3, стр. 11.

«Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо...» — Впервые — «Русский вестник», 1871, № 3 стр. 294. Посылая Маркевичу стихотворение, Толстой отметил, что оно создано «заранее» (par anticipation), а затем приписал: «Только что было 25° морозу».

«Про подвиг слышал я Кротонского бойца...» — Впервые — «Вестник Европы», 1873, № 1, стр. 260. *Милон из Кротоны* (VI в. до н. э.) — знаменитый греческий атлет.

На тяге. — Впервые — «Вестник Европы», 1871, № 12, стр. 604—605.

«То было раннею весной...» — Впервые — «Вестник Европы», 1871, № 12, стр. 603. Посылая стихотворение Маркевичу, Толстой назвал его «маленькой пасторалью, переведенной из Гете» (письмо от 20 мая 1871 г.). В ответ он получил восторженное письмо Маркевича, в котором тот передавал и свои личные впечатления и высокую оценку Н. С. Лескова (Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щебальскому и др., СПб., 1888, стр. 125—126). Указание на то, что стихотворение является переводом из Гете, было, по-видимому, воспринято Маркевичем как мистификация; на это намекают его слова: «Ваш якобы перевод из Шиллера». Разумеется, это не перевод. Толстой хотел, вероятно, подчеркнуть, что какое-то стихотворение Гете дало толчок для создания «То было раннею весной...»; таким стихотворением было, всего вероятнее, «Mailied» («Wie herrlich leuchtet//Mir die Natur»). Ср., напр., строки, состоящие из сплош-

ных восклицаний, с гетевскими строками: «O Erd', o Sonne,//O Glük, o Lust!» Положено на музыку П. И. Чайковским и Н. А. Римским-Корсаковым. *Вежды* — веки.

«Прозрачных облаков спокойное движенье...» — Впервые — «Вестник Европы», 1875, № 1, стр. 158. В черновом автографе после строки 14 есть еще четыре строки; главная и очень большая работа была произведена Толстым именно над этими строками; мы находим здесь свыше десяти вариантов; вот некоторые из них:

Шагая тихо там по жнивам, без тропы,
Уж свозят с них волы последние снопы,
И селянин, их шаг ленивый провожая,
Слагает уж в уме доходы урожая.

По желтым нивам там, шагая без тропы,
Везут четы волов последние снопы,
И пахарь, на гумно их тяжесть провожая,
Гадает уж путем о силе урожая.

Со жнива свозят там, шагая без тропы.
Ленивые волы последние снопы,
И пахарь, на гумно их тяжесть провожая,
Сверяет уж в уме доход от урожая.

По жниву там волы, шагая без тропы,
Увозят на гумно последние снопы,
И пахарь, грузный воз досужно провожая,
Считает уж в уме обилье урожая.

В результате эти строки не попали в окончательный текст. По-видимому, Толстой решил, что они нарушают общий колорит стихотворения; во всем пейзаже, кроме этих строк, ни слова не говорится о человеке, и Толстой предпочел оставить поэта наедине с природой. Об истории создания стихотворения см. письмо к К. Сайн-Витгенштейн от 5 (17) февраля 1875 г.

«Земля цвела. В лугу, весной одетом...» — Впервые — в сб. «Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины», СПб., 1876, стр. 34—35. В черновом автографе стихотворения есть еще одна, последняя, строфа:

Так дух весны, струясь как лунный свет,
Ко мне шептал, могуч и благодушен,
И тихо так звучал его ответ,

Что не был им мир сумерок нарушен;
В прозрачный пар казался он одет,
И образ был так легок и воздушен,
Что, сквозь него мой проникая взгляд,
Мог различать мерцание Плеяд...

Черновые наброски стр. 15—16:

И обнимал в слиянье цельном взор
С покоем пыл, с недвижностью напор.

И в дивном я слиянье находил
И отдых сна, и юной жизни пыл.

В черновиках есть прозаическая запись, тесно связанная с настроением, внушившим поэту стихотворение: «Как от прошедшего остаются в памяти одни светлые стороны, а темные исчезают в тумане, так все, что я вижу теперь, представляется мне очищенным от своих недостатков, и я наслаждаюсь настоящим, как будто бы оно было прошедшее и находилось бы вне всякого посягательства (à l'abri de toute atteinte, de tout changement), aus der Causalität eximiert [1]». Строки 5—6 последней строфы ср. со словами духов в «Дон Жуане»· «Совместно творчество с покоем, || С невозмутимостью любовь». С большой теплотой отозвался о стихотворении Гончаров (письмо к А. А. Краевскому от ноября 1875 г.— «Русская старина», 1912, № 6, стр. 516—517). *Горней* — небесной.

«Во дни минувшие бывало...» — Впервые — «Русский вестник», 1882, № 1, стр. 403, без 1-й строки и со строкой точек после «От продолжительного сна». Это и три следующие стихотворения появились в Полн. собр. соч. 1882 г. с указанием, что они «написаны, по всему вероятию, ранее 1866 г.».

«Как часто ночью в тишине глубокой..» — Впервые — «Русский вестник», 1882, № 1, стр. 404. Строки 3—4 первой строфы и строки 5—6 второй и пятой строф восходят к четверостишию из неоконченного стихотворения 40-х годов «Бегут разорванные тучи. .».

Гаральд Свенгольм. — Впервые — «Русский вестник», 1877, № 1, стр. 394. Откуда взят эпиграф, установить не удалось; в связи с этим неясно, является ли переводом только первая строка или все стихотворение. Положено на музыку С. Н. Василенко. *Сила* — большое количество.

В альбом.— Впервые — «Русский вестник», 1881, № 9, стр. 309—310.

---

1 Вне досягаемости, вне всяких изменений (франц), изъятое из причинной зависимости (нем.).

БАЛЛАДЫ, БЫЛИНЫ, ПРИТЧИ

Волки.— Впервые — «Современник», 1856, № 2, стр. 273—274, с подзаголовком «Баллада». Положено на музыку А. Г. Рубинштейном и А. С. Аренским.

«Где гнутся над омутом лозы...» — Впервые — «Русский вестник», 1856, апрель, кн. 1, стр. 487. Дожурнальная редакция стихотворения была вдвое больше; вот ее вторая половина:

Дитя побежало проворно
На голос манящих стрекоз,
Там ил был глубокий и черный
И тиною омут порос.

Стрекозы на пир поскорее
Приятелей черных зовут,
Из нор своих жадные раки
С клещами к добыче ползут,

Впилися в ребенка и тащат
И тащат на черное дно,
Болото под ним расступилось,
И вновь затянулось оно.

И вновь, где нагнулися лозы
От солнца палящих лучей,
Летают и пляшут стрекозы,
Зовут неразумных детей.

По-видимому, Толстому показалась слишком явной связь с «Лесным царем» Гете в переводе В. А. Жуковского, и он отсек эти строфы. Положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым и В. И. Ребиковым.

Курган.— Впервые — «Отечественные записки», 1856, № 5, стр. 56—58. Дожурнальная редакция стихотворения была значительно больше; Толстой отбросил последние шесть строф, в которых отчетливо сказалось воздействие «Волшебного корабля» И.-Х. Цедлица в переводе Лермонтова:

Когда же на западе дальний,
Бледнея, скрывается день,
Сидит на кургане печально
Забытого витязя тень,

Сидит и вздыхает глубоко:
«Где слава, где слава моя?
Минувшие веки далеко,
Отторгнут от прошлого я!

О жизни своей вспомяну ли?
Все было иначе тогда!
Певцы, вы меня обманули,
Венцов моих нет и следа!

И если бы знал я, как скоро,
Как скоро увянут они,
Далеко от брани и спора
Я прожил бы мирные дни!»

Так думает витязь, вздыхая,
На темном кургане сидит,
Доколе заря золотая
Пустынную степь озарит;

Тогда он обратно уходит,
В подземный уходит он дом,
А ветер по-прежнему бродит,
И грустно и пусто кругом.

Князь Ростислав.— Впервые — «Русский вестник», 1856, апрель, кн. 1, стр. 483—484, с подзаголовком «Баллада». Тема стихотворения навеяна отрывком из «Слова о полку Игореве» о переяславльском князе Ростиславе (1070—1093). После поражения, нанесенного ему и его братьям половцами, Ростислав, спасаясь бегством, утонул в реке Стугне. Цитата из «Слова» взята Толстым для эпиграфа в том искаженном виде, в каком печаталась в современных ему изданиях. В сюжете и отдельных деталях «Князя Ростислава» есть много сходного со стих. Лермонтова «Русалка» и Гейне «Король Гаральд Гарфагар». Положено на музыку А. Г. Рубинштейном. *Посвист* (слав. миф.) — бог ветра, бури. *Гридни* — см. стр. 609.

Василий Шибанов.— Впервые — «Русский вестник», 1858, сентябрь, кн. 1, стр. 236—240, с подзаголовком «Баллада». Основным источником стихотворения является следующий отрывок из «Истории государства Российского» Карамзина: Курбский «ночью тайно вышел из дому, перелез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных его верным слугою, и благополучно достиг Вольмара, занятого литовцами. Там воевода сигизмундов принял изгнанника как друга, именем королевским обещая ему знатный сан и богатство. Первым делом Курбского было изъясниться с Иоанном: открыть душу свою, исполненную горести и негодования. В порыве сильных чувств он написал письмо к царю; усердный слуга, единственный товарищ его, взялся доставить оное и сдержал слово: подал запечатанную бумагу самому государю, в Москве, на Красном крыльце, сказав: «От господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича». Гневный царь ударил его в ногу острым жезлом своим; кровь лилася из язвы; слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать вслух письмо Курбского... Иоанн выслушал чтение письма и велел пытать вручителя, чтобы узнать

от него все обстоятельства побега, все тайные связи, всех единомышленников Курбского в Москве. Доброжелательный слуга, именем Василий Шибанов... не объявил ничего; в ужасных муках хвалил своего отца-господина; радовался мыслию, что за него умирает» (т. 9, стр. 59—62).[1] Ср. также слова Шибанова «О князь, ты, который предать меня мог || За сладостный миг укоризны» с таким местом: «Он наслаждению мести, удовольствию терзать мучителя словами смелыми пожертвовал добрым, усердным слугою» (т. 9, стр. 68). Источником строф 11—12 является подлинное письмо Курбского к Ивану Грозному. Вот отрывки из него: «Прочто, царю, сильных во Израиле побил еси?.. Не прегордые ли царства разорили и подручных во всем тобе сотворили, мужеством храбрости их... Не претвердые ли грады германские тщанием разума их от бога тобе даны бысть?.. Или бессмертен, царю, мнишись? Или в необытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судии, богоначальному Иисусу... Кровь моя, яко же вода пролитая за тя, вопиет на тя ко господу моему!» (Сказания князя Курбского, ч. 2, СПб., 1833, стр. 3—5). Толстой несколько сдвинул исторические события. Бегство Курбского и его первое письмо к царю относятся ко времени до возникновения опричнины, а молебствия царя с опричниками происходили не в центре Москвы, на глазах у всего народа, а в Александровской слободе, куда он переехал в 1565 г. Ф. М. Достоевский, говоря о Курбском и Шибанове в «Дневнике писателя» 1877 г., пересказывает факты явно по балладе Толстого (Полн собр. художественных произведений, т. 12, М.-Л., 1929, стр. 354). *Смирная одежда* — траурная. *Окольные* — приближенные. *Писание* — так называемое «священное писание», Ветхий и Новый завет. *Аз, иже* — я, который.

Князь Михайло Репнин. — Впервые — изд. 1867 г., стр. 156—158. Источником стихотворения является рассказ о смерти Репнина в «Истории Иоанна Грозного» кн. А. М. Курбского: «Упившись <Иоанн> начал со скоморохами в машкарах плясати, и сущие пирующие с ним; видев же сие бесчиние, он <Репнин>, муж нарочитый и благородный, начал плакати и глаголати ему: «Иже недостоит ти, о царю христианский, таковых творити». Он же начал нудити его, глаголюще. «Веселись и играй с нами»,— и, взявши машкару, класти начал на лице его; он же отверже ю и потоптал, и рече: «Не буди ми се безумие и бесчиние сотворити, в советническом чину сущу мужу!» Царь же ярости исполнився, отогнал его от очей своих, и по колики дня потом, в день недельный, на всенощном бдению стоящу ему в церкви..., повелел воинам бесчеловечным и лютым заклати его, близу самого олтаря стояща, аки агнца божия неповинного» (Сказания князя Курбского, ч. 1, СПб., 1833, стр. 120—121). В стихотворении многое изменено (см. вступительную статью, стр. 25). *Вечерня* — вечерняя церковная служба. *Кравчий* — придворный чин; боярин, услужи-

[1] Здесь и дальше «История государства Российского» цитируется по 1-му изданию тт. 1—3, СПб, 1816, т. 9, СПб., 1821, т 12, СПб, 1824.

вавший царю за столом. *Тиуны* — родовое название для некоторых категорий частных слуг князей и бояр и для некоторых административно-судебных должностей в Древней Руси.

Ночь перед приступом.— Впервые — изд. 1867 г., стр. 152—155. В стихотворении описана осада Троице-Сергиевой лавры войсками Я. Сапеги и А. Лисовского во время польской интервенции, целью которой было возведение на русский престол польского ставленника Лжедимитрия II. Осада началась осенью 1608 г. и продолжалась шестнадцать месяцев, но все штурмы были отбиты, и поляки принуждены были снять ее. Источником стихотворения является «Сказание о осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и литвы» келаря этого монастыря Авраамия Палицына, возможно, в пересказе Карамзина — см. главку «Знаменитая осада лавры»: «Сапега готовился к первому решительному делу не молитвою, не покаянием, а пиром для всего войска» и т. д. (Карамзин, т. 12, стр. 102). Толстой следует за версией об осаде лавры, восходящей к Палицыну, который утверждал, что она была спасена от врагов не столько оружием, сколько молитвами и чудесным заступничеством ее святых покровителей. В стихотворении ничего не говорится о том, что в лавре было довольно большое войско, воеводы и пр. Между тем уже в начале 40-х годов появились «Замечания об осаде Троицкой лавры и описании оной историками XVII, XVIII и XIX столетий» Д. П. Голохвастова, в которых он резко критиковал эту версию и нарисовал реальную картину защиты лавры от поляков. *Волохи* — валахи, народность, вошедшая в состав современной румынской нации. *Угры* — венгры. *Стихарь* — одежда, надевавшаяся духовенством при богослужении. *Тафья* — маленькая круглая шапочка. *Оклад* — металлическое покрытие на иконе.

Богатырь.— Впервые — изд. 1867 г., стр. 144—150. *Ореленый* — клейменный казенным клеймом. *Повытчик* — должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде. *За двести мильонов Россия* и т. д. Речь идет о системе питейных откупов, существовавшей до 1861 г. Среди откупщиков были и евреи. *Пилат* — римский наместник в Иудее. Во время его правления, по евангельскому рассказу, Иисус Христос был предан казни.

«В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба...» — Впервые — «Современник», 1856, № 2, стр. 276. Есть указание, что в стихотворении отразился действительный случай, имевший место во время Крымской войны. («С.-Петерб. ведомости», 1875, № 305). Положено на музыку Ц. А. Кюи.

«Ходит Спесь, надуваючись...» — Впервые — «Современник», 1856, № 2, стр. 275—276. Это стихотворение и «В колокол, мирно дремавший...» очень понравились славянофилам А. С. Хомякову и К. С. Аксакову. Положено на музыку

М. П. Мусоргским, А. П. Бородиным, В. С. Калинниковым и Н. М. Стрельниковым.

«Ой, каб Волга матушка да вспять побежала!..» — Впервые — «Современник», 1856, № 2, стр. 274. В журнальном тексте вместо строк 10—14:

Кабы кривосудье по боку да к черту!
Да кабы голодный всякий день обедал!
Да кабы неправды человек не ведал!

Полугар — водка. *Приказный* — мелкий чиновник, канцелярский служащий.

«У приказных ворот собирался народ...» — Впервые — «Русская беседа», 1857, № 3, стр. 147—148. В черновой редакции было: «У Арбатских ворот». Положено на музыку С. Н. Василенко. *Приказы* — учреждения в Московской Руси, в ведении которых находились отдельные отрасли управления. *Дьяк* — крупный чиновник, исполнявший обычно обязанности секретаря приказа. Думными дьяками назывались дьяки, принимавшие участие в Боярской думе и пользовавшиеся правом голоса при решении дел. *Тать* — вор. *Паче* — более всего, особенно.

Правда.— Впервые — «Русская беседа», 1858, № 3, стр. 6—8, без заглавия и с существенными отличиями от окончательного текста. Вот некоторые из них.

Между строками 9—10:

А и как же то случилось, то сделалось,
Что никто тебя не знает, не ведает?
А и как же то случилось, то сделалось,
Что тебя всяк толкует по-своему?

Между строками 16—17:

А увидим мы правду лицом к лицу,
И вернемся на свою сторону,
И расскажем, что́ сами видели.

Вместо строки 19—21:

И подъехали к правде со семи сторон,
И, подъехав, на правду дивилися:
Кто увидел море синее,
Кто, подъехав, увидел дремучий лес,
Кто торговые города людные,
Кто увидел горы высокие,
А кто голую степь.
Посмотрели добры молодцы

С т а р и ц к и й в о е в о д а.— Впервые — «Русская беседа», 1858, № 3, стр. 8, без заглавия. Источником стихотворения является рассказ Карамзина о гибели конюшего и начальника казенного приказа И. П. Челяднина-Федорова. Царь «объявил его главою заговорщиков, поверив или вымыслив, что сей ветхий старец думает свергнуть царя с престола и властвовать над Россиею. Иоанн... в присутствии всего двора, как пишут, надел на Федорова царскую одежду и венец, посадил его на трон, дал ему державу в руку, снял с себя шапку, низко поклонился и сказал: «Здрав буди, великий царь земли русския! Се приял ты от меня честь, тобою желаемую! Но имея власть сделать тебя царем, могу и низвергнуть с престола!» Сказав, ударил его в сердце ножом» («История государства Российского», т. 9, стр. 100—101). Об убийстве Федорова есть также несколько строк в четвертом действии. «Смерти Иоанна Грозного». *Бармы* — см. стр. 651. *Се аз* — это я.

«Г о с у д а р ь т ы н а ш б а т ю ш к а...» — Впервые — «День», 1861, № 5, 11 ноября, стр. 3. В славянофильских и близких к славянофилам кругах стихотворение было встречено с большим сочувствием. «Стихотворение графа Толстого — прелесть»,— писал И. С. Аксаков В. И. Ламанскому («Русская мысль», 1916, № 12, стр. 111). С сочувствием отнеслись к нему, насколько можно судить по письму Аксакова к Толстому, и некоторые представители крепостнического дворянства: «Успех Вашего экспромта или песни таков, что начинает пугать и цензоров, и меня... Публика подхватила ее, выучила наизусть, увидала в ней намеки на современное положение, на разрешение крестьянского вопроса, и — в восторге. Говорят, третьего дня в Дворянском клубе дворяне то и дело повторяли: „Палкою, матушка, палкою" или „Детушки, матушка, детушки!"» («Вестник Европы», 1905, № 10, стр. 144). Однако стихотворение давало возможности и для иного истолкования — в радикальном духе, о чем свидетельствуют одобрительный отзыв «Русского слова» (1861, № 12, «Дневник Темного человека», стр. 22—24) и позднейшие слова Д. И. Писарева о «поучительном разговоре России с царем Петром Алексеевичем» (Образованная толпа — Сочинения, т. 4, 1956, стр. 261). Характерно, что в среде высшей бюрократии и придворной аристократии стихотворение было принято холодно. Об этом писала Аксакову А. Д. Блудова. Отрицательно отнесся к нему и М. П. Погодин, написавший «Два слова графу А. К. Толстому в ответ на его песню о государе Петре Алексеевиче» (Н. П. Б а р с у к о в. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 18, СПб., 1904, стр. 544). Впоследствии поэт решительно отрекся от своего стихотворения и не включил его в изд. 1867 г.

Ч у ж о е г о р е.— Впервые — «Русский вестник», 1866, № 10, стр. 673—674.

П а н т е л е й-ц е л и т е л ь.— Впервые — «Русский вестник», 1866, № 9, стр. 332—333. «Пантелей-целитель» был первым произведением Толстого, в котором он открыто заявил о своем

неприязненном отношении к революционным течениям общественной мысли и литературы 60-х годов. Не мудрено, что упоминания о Толстом в журналах демократического лагеря то и дело сопровождались насмешливой характеристикой: «автор Пантелея» — см., напр., «Журнальное обозрение» Н. К. Михайловского («Неделя», 1868, № 7, стр. 217), «Невские заметки» Д. Д. Минаева (там же, № 52, стр. 1835). Г. З. Елисеев, говоря о 1867—1868 гг., свидетельствует в своих воспоминаниях, что «А. Толстого молодежь недолюбливала за его „Пантелея-целителя"» (Шестидесятые годы. Г. З. Елисеев. Воспоминания. М. А. Антонович. Воспоминания. 1933, стр. 344). Первая строка стихотворения восходит к народной песне «Пантелей-государь ходит по двору. ». Положено на музыку С. В. Рахманиновым.

Змей Тугарин.— Впервые — «Вестник Европы», 1868, № 2, стр. 425—430, под заглавием «Былина». Толстой считал «Змея Тугарина» «лучшей из своих баллад» (письмо к А. Губернатису 1874 г.). Интересные замечания Толстого о припеве стихотворения в связи с его общим замыслом см. в письме к М. М. Стасюлевичу от 7 января 1868 г. При публикации стихотворения в «Вестнике Европы» у цензора вызвали сомнение строфы 12, 23—25 и 28, и было решено «принять <их> к сведению» для характеристики журнала (Центр. гос. историч. архив СССР. Журнал заседаний С.-Петерб. ценз. комитета, 1868, 24 января). Через 20 с лишним лет, в 1891 г., «Змей Тугарин», предназначавшийся для серии книжек для народа «Правда», был запрещен цензурой. «Смысл его недоступен для малообразованного читателя, который разве может вынести одно только заключение, что еще князь Владимир Красное Солнышко пил за волю народа русского, за древнее русское вече и за колокол Новгородский» (Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1890, № 105, л. 9 об.). *Их клятва: Да будет мне стыдно!* См. о ней в «Проекте постановки» «Царя Федора Иоанновича» (т. 3 наст. изд.). *Поле* — судебный поединок, а также место его в Древней Руси. *Каганская* — ханская. *К обдорам* — на восток (Обдорский край в Сибири). *Сила* — много.

Песня о Гаральде и Ярославне.— Впервые — «Вестник Европы», 1869, № 4, стр. 789—793, без строф 14—15. Норвежский король Гаральд Гардрааде (Строгий), о котором идет речь в стихотворении, царствовал с 1047 до 1066 г.; в 1045 г. он женился на дочери Ярослава Мудрого Елизавете. Стихотворение возникло в связи с работою Толстого над «Царем Борисом». «Я был приведен к этой балладе,— писал он Стасюлевичу 7 февраля 1869 г.,— моим датским принцем в „Царе Борисе"». В тот же день он сообщил Маркевичу, что во время разысканий о «норманском периоде нашей истории» натолкнулся на «факт вполне известный, но весьма мало использованный, а именно — замужество дочерей Ярослава». И далее он пересказывает сведения, почерпнутые из «Истории государства Российского» Карамзина (т 2, стр. 32—34, 329 и др.). Уже окончив стихотворение, Толстой достал «Историю Дании» Ф. Дальмана и нашел в ней «подтверждение некоторым деталям, написанным по интуиции» (письмо к Маркевичу от

26 марта 1869 г.). Он, вероятно, имеет в виду то обстоятельство, что Дальман, в отличие от Карамзина, подчеркивает разбойничий характер подвигов Гаральда во главе варяжской дружины (Geschichte von Dänemark, т. 1, Гамбург, 1840, стр. 124—125). Поэт очень ценил эту балладу. В ответ на похвалы Маркевича «звучному и образному стиху», «колориту и форме» (Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому..., СПб., 1888, стр. 92) он писал: «Вы доставили мне большое удовольствие... одобрив балладу о Гаральде, тем более, что Гончаров... пишет мне, что она — недостойна меня и совершенно посредственная». Два десятка строк о судьбе Гаральда и о дочерях Ярослава имеются также во втором действии «Царя Бориса». *Понт* — черноморское побережье Малой Азии. *Гридни и отроки* — см. стр. 609. *Веси* — деревни и села. *Вено* — в Древней Руси выкуп за невесту, уплачивавшийся женихом, а также приданое.

Три побоища.— Впервые — «Вестник Европы», 1869, № 5, стр. 154—162, под заглавием «Песня о трех побоищах». «Три побоища» написаны непосредственно после «Песни о Гаральде и Ярославне». В письме к Маркевичу от 7 февраля 1869 г. поэт заметил, что вторая баллада по колориту противоположна первой, «т. е. чрезвычайно мрачна», но он не раз указывал вместе с тем на их общую идейную направленность. Толстой перевел «Три побоища» на немецкий язык. *Норская* — норвежская. *Гридни, гриден*—см. стр. 609. *Ярославна*—дочь Ярослава Мудрого, Елизавета. *Гида* — дочь английского короля Гаральда Годвинсона, жена Владимира Мономаха, то есть внука, а не сына Ярослава, как пишет Толстой. Поэт допустил анахронизм: Гида стала его женой значительно позже и в это время еще не была в России. *Вильгельм*—герцог Нормандии, а затем, с 1066 г., английский король Вильгельм Завоеватель (1027—1087). *На слухý я* — на сторожевой башне. *Брашно* — яства. *Мнихи* — монахи. *Святому Георгью подобен.* Имеется в виду христианский святой Георгий Победоносец, покровитель в боях с неверными. *Веси* — деревни и села. *На щит*— в плен.

Песня о походе Владимира на Корсунь.— Впервые — «Вестник Европы», 1869, № 9, стр. 1—16, под заглавием «Песня о походе Владимира», с эпиграфом «Не по замыслу Баянову...» и без деления на две части. Источником стихотворения являются летописные данные о крещении Владимира в пересказе Карамзина («История государства Российского», т. 1, стр. 209—216, 202, 230). Для замысла баллады существенна разнохарактерность тона первой и второй ее половины: несколько иронический взгляд поэта на Владимира до его крещения и лирическое проникновение в его душевное состояние после крещения. «Мне очень интересно узнать,— спрашивал он Маркевича 5 мая 1869 г.,— не шокировал ли я Вас в «Походе на Корсунь» тем контрастом, который там имеется между началом и концом: сперва резвостью зачина и дальнейшим лиризмом. Меня это не смущает и Эгерию <т. е. С. А. Толстую> тоже нисколько, даже напротив; тут перемена тональности..., но мажорно и то и другое». В «Песне о походе Владимира» есть две бесспорных реминисценции

из Пушкина; ср. строку «Вы, отроки-други, спускайте ладьи» с «Песней о вещем Олеге»: «Вы, отроки-други, возьмите коня», а последние две строки — с «Русланом и Людмилой»: «Дела давно минувших дней,//Преданья старины глубокой». Первые пять строф своего стихотворения — а может быть, и больше — Толстой перевел на немецкий язык. Попав в «норманскую колею», он предполагал написать еще несколько баллад из «нашей европейской эпохи». «У меня есть в виду еще другие,— писал он Стасюлевичу 10 марта 1869 г.,—напр., сношения Изяслава с Генриком IV (императором) и папою Григорием VII. Очень меня прельщает показать их посольства на улицах Киева, епископа французского Roger de Châlons с своими монахами и рыцарями, въезжающих на княжий двор Ярослава, и т. д.». Замыслы эти не были осуществлены. *Мних* — монах. *Велес* (слав. миф.) — бог скотоводства и плодородия. *Рогнеда* — жена Владимира, дочь полоцкого князя Рогволода. *Херсонес* (или Корсунь) — греческая, римская, а затем византийская колония, недалеко от теперешнего Севастополя; с III—IV в. один из крупных центров христианства. *Вертоград* — сад. *Причт* — духовенство какой-нибудь церкви или прихода, клир. *Дружины какого-то Фоки.* Речь идет о восстании, поднятом в 987 г. одним из представителей феодальной знати, Вардой Фокой. Он провозгласил себя императором, овладел почти всей Малой Азией и подошел к самому Константинополю. Василий и Константин обратились за помощью к Владимиру, и в 989 г. восстание было подавлено. *Зане* — так как, потому что. *Иконы мусийского дела.* Мусия — мозаика. *Бо* — ибо. *Демественным ладом.* Демественное пенье — вид церковного пения. *Полоз* — здесь: киль судна.

Гакон Слепой.— Впервые — «Вестник Европы», 1871, № 3, стр. 8—9. Под 1024 г. в русской летописи рассказывается о варяжском князе Якуне, который пришел со своей дружиной на помощь к Ярославу Мудрому против брата его Мстислава, был разбит последним и ушел обратно за море. По сообщению летописца, Якун был слеп, но многие историки взяли это указание под сомнение, считая его следствием неправильного понимания текста или ошибки переписчика. Однако образ бесстрашного, несмотря на слепоту, варяжского князя больше соответствовал тяготению Толстого к исторической романтике. По тем же причинам он решительно изменил сообщенный в летописи факт. Летописец упоминает только об одном, и притом неудачном, сражении Якуна в России, между тем у Толстого Гакон и Ярослав Мудрый, несмотря на большие потери, являются победителями. Первые две строфы и последнюю Толстой перевел на немецкий язык. *Отроки* — см. стр. 609.

Роман Галицкий.— Впервые — «Всемирная иллюстрация», 1870, № 16, стр. 290, в статье «Гр. А. К. Толстой». Источником стихотворения о галицком князе Романе (ум. в 1205 г.) является «История государства Российского» Карамзина: «Папа, слыша о силе Мстиславича, грозного для венгров и ляхов, надеялся обольстить его честолюбие. Велеречивый посол Иннокентия доказывал нашему князю превосходство закона латинского; но, опровергаемый Романом, искусным в прениях богословских, ска-

зал ему наконец, что папа может его наделить городами и сделать великим королем посредством меча Петрова. Роман, обнажив собственный меч свой, с гордостью ответствовал: „Такой ли у папы? Доколе ношу его при бедре, не имею нужды в ином и кровию покупаю города, следуя примеру наших дедов, возвеличивших землю русскую"» (т. 3, стр. 108—109). Сравнение с туром и рысью заимствовано из Ипатьевской летописи. *Решить и вязать* — отпускать или не отпускать грехи.

Боривой.— Впервые — «Беседа», 1871, № 1, стр. 5—12. Тема стихотворения — крестовый поход на балтийских славян, предпринятый в 1147 г. немецкими князьями (в том числе саксонским герцогом Генрихом-Львом) и датскими королями Свендом III и Кнудом V с благословения папы римского Евгения III. Он окончился полной неудачей. Основным источником «Боривоя» являются летописные данные о походе 1147 г., по-видимому, в пересказе Ф. Дальмана, с «Историей Дании» которого Толстой был хорошо знаком. Ср., например, строки «Прежде чем их кровь остынет» и т. д. со словами: «Папа обещал всем вендским крестоносцам отпущение грехов, а павшим в бою царствие небесное, прежде чем остынет их кровь»; «Перепрыгнул без оглядки» и т. д.— «Роскильдский епископ Адцер, на которого Свенд возложил командование флотом, трусливо бежал со своего военного корабля на купеческий» (Geschichte von Dänemark, т. 1, Гамбург, 1840, стр. 253—255). Некоторые сведения (о знамени Святовита, о Чернобоге) Толстой почерпнул, вероятно, из русских источников; вкратце они изложены в «Истории государства Российского» Карамзина (т. 1, стр. 82—84, 94), а более подробно в «Истории балтийских славян» А. Гильфердинга (ч. 1, М., 1855, стр. 214 и 231). В «Боривое» есть ряд обычных у Толстого отступлений от исторических данных. Так, Кнуд и Свенд (сын Эриха Эмуна, а не Нильса) не были убиты в 1147 г., а, вернувшись в Данию, возобновили ожесточенную борьбу и погибли оба лишь через десять лет. Образ Боривоя — продукт поэтического вымысла. По словам Толстого, «Боривой» может «служить pendant к „Ругевиту"» (письмо к Стасюлевичу от 29 декабря 1870 г.). *Роскильда* — датский город, с X в. резиденция королей и епископов. *Бодричане* — бодричи, или оботриты, группа балтийских славянских племен, названная так по имени главного из них. *Дони* — датчане. *Егорий* — Георгий Победоносец, см. стр. 634. *Аркона*—крепость и священный город на севере острова Рюгена, религиозный центр балтийских славян; в Арконе был храм их главного божества—Святовита. *Щегла* — мачта; шест для флага. *Косица* — суженный конец вымпела. *Лопать*—рвань. *Гуменце*—темя; бритое темя, тонзура—отличительный признак католического духовенства. *Клобучье племя* — монахи (клобук — высокая шапка монахов). *Чернобог* — бог зла, антипод Святовита. *Клирный* — от слова клир, духовенство какой-нибудь церкви или прихода.

Ругевит.— Впервые — «Вестник Европы», 1871, № 3, стр. 5—7. *Ругевит* — бог войны у руян (ругичан), одного из племен балтийских славян, жившего на острове Рюгене. В стихотворе-

нии описан разгром храма Ругевита в столице руян Коренице датским королем Вальдемаром I в 1168 г. Источником «Ругевита» является, по-видимому, «История Дании» Ф. Дальмана (т. 1, стр. 296—297). Некоторые подробности Толстой заимствовал из описания разгрома храма Святовита в Арконе, который непосредственно предшествовал разгрому храма Ругевита. Святовита и Ругевита выволокли из города, а затем сожгли. Толстой несколько изменил конец Ругевита, приблизив его к летописным известиям о свержении идола Перуна в Киеве после крещения Владимира; 10-я строфа напоминает слова Карамзина и приведенный им отрывок из киевского синопсиса: «Изумленный народ не смел защитить своих мнимых богов, но проливал слезы, бывшие для них последнею данию суеверия... Когда он <Перун> плыл, суеверные язычники кричали: выдыбай! т. е. выплывай» («История государства Российского», т. 1, стр. 217 и 458). *Дони* — датчане. *Король Владимир, правнук Мономаха...* Вальдемар I (1131—1182) — сын Кнуда Лаварда — с материнской стороны был внуком Владимира Мономаха. *Яромир* (или Яромар) — руянский князь, сначала сражавшийся за независимость своего племени, а затем подчинившийся датчанам и принявший христианство.

Ушкуйник.— Впервые — «Вестник Европы», 1871, № 3, стр. 10. Стихотворение возникло в связи с «новгородскими студиями» для драмы «Посадник» (см. письма к Стасюлевичу от 29 декабря и к Маркевичу от 20 декабря 1870 г.). *Ушкуйники* — участники новгородских отрядов, отправлявшихся по речным путям для торговли, колонизации и просто разбоя (ушкуй — большая лодка, судно). *Дрочёное* — балованное. *Кораблики урманские.* Урман — хвойный лес. *Острог* — город, селение, являвшееся укрепленным пунктом.

Поток-богатырь.— Впервые — «Русский вестник», 1871, № 7, стр. 253—259, под заглавием «Песня о Потоке-богатыре», с еще одной (последней) строфой. Она, как и три другие, была отброшена поэтом и напечатана по недосмотру. Приводим текст этих строф:

Но я слышу вопрос: «Для чего ж он плясал?
Да еще среди темной палаты?
И к чему вообще тут Владимира бал?»
Признаемся — кругом виноваты!
Но ведь если б Потоку сперва не плясать,
То навряд ему так захотелось бы спать,
А морали когда еще надо,
То мораль: не плясать до упада.

Впрочем, если внимательно всё разберем,
Доля правды есть в новом ученье;
Например, слово «почва» мне нравится в нем,
Я от «почвы» совсем в восхищенье.
Нет сомненья, что порет аптекарей рой
Вообще чепуху — но бывают порой

И в навозе жемчужные зерна:
«Почва» ж гадит нам — это бесспорно.

Не довольно, во-первых, она горяча;
Во-вторых, не довольно кремниста;
Поискать бы другой, чтоб уж горе с плеча!
«Стой! — я слышу,— нечисто, нечисто!
Из былинного тона ты выпал давно!»
Ну, воротимся к тону, для нас все равно,
По нутру нам полет соколиный —
Ах ты гой еси, наша былина!

Ах ты гой еси, Киев, родимый наш град,
Что лежишь на пути ко Царьграду!
Зачинали мы песню на старый на лад,
Так уж кончим по старому ладу!
Ах ты гой еси, Киев, родимый наш град!
Во тебе ли Поток пробудиться не рад!
Али почвы уж новыя ради
Пробудиться ему во Царьграде?

«Поток-богатырь», как и следующее стихотворение «Порой веселой мая...», вызвал недовольство не только у представителей демократического лагеря (см. вступит. статью, стр. 35), но и у многих либералов; даже весьма умеренный по своему политическому направлению журнал «Беседа» отказался напечатать «Потока» (И. Н. Захарьин. Встречи и знакомства. СПб., 1903, стр. 287). *Поток (или Потык)* — герой русских былин. *Гридни* — см. стр. 609. *Кимвал, тулумбас*—старинные ударные музыкальные инструменты. *Мостницы* — половицы. *Писание* — см. стр. 629. *На другой на реке* — на Неве, в Петербурге. *Куна* — денежная единица в Древней Руси *Вира*—штраф за убийство по древнерусскому праву. *Суд присяжных* был введен в России судебной реформой 1864 г. *Общее дело* В публицистике и разговорном языке 60-х годов эти слова нередко обозначали революцию. *Называют остзейским бароном.* Остзейские (прибалтийские) помещики-немцы были одной из самых реакционных групп российского дворянства; из их среды вышли многие реакционные государственные деятели дореволюционной России.

Илья Муромец.— Впервые — «Русский вестник», 1871, № 9, стр. 218—219. В стихотворении отразились настроения поэта, связанные с его отношением к двору. Высоко ценили «Илью Муромца» Н. С. Лесков (см. его повесть «Очарованный странник» — Собр. соч, т. 4, М., 1957, стр. 387) и Ф. М. Достоевский. На литературном вечере в апреле 1880 г. Достоевский с большим одушевлением прочитал стихотворение Толстого («Русская старина», 1892, № 5, стр. 321—322). Тепло отозвался об «Илье Муромце» и В. Я. Брюсов («Далекие и близкие», М., 1912, стр. 97—98). *Скриня* (скрыня) — сундук, короб, ларь.

«Порой веселой мая...» — Впервые — «Русский вестник», 1871, № 10, стр. 593—598, под заглавием «Баллада с тенденцией», без последней строфы и с другими, более резкими по отношению к «нигилистам» строфами 21—24 (в «Русском вестнике» вместо них шесть строф):

«Они, вишь, коммунисты,
Честнейшие меж всеми,
И на руку нечисты
По строгой лишь системе;

Системы их дешевле
Другая есть едва ли,
Станичниками древле
У нас их называли;

Они ж и реалисты,
Изящного не любят,
Знать, сами неказисты,
Затем красу и губят;

Они ж матерьялисты,
От имени прогресса
Кричат, что трубочисты
Суть выше Апеллеса».

«Не те ль то нигилисты,—
Невеста вопросила,—
В честь коих журналисты
Качают так кадила?»

«Те самые, о лада,
Так точно, нигилисты;
Ни толку в них, ни склада,
Но бойки и речисты».

См. также вступит. статью, стр. 35—36. *Вертоград* — сад. *Лада* — супруги или возлюбленные. *Лепо* — хорошо, красиво. *Говяда* — коровы, быки. *Рафаил* — Рафаэль. *Форум* — городская площадь, место народных сходок в Древнем Риме. *In verba* (лат.) *вожакорум* — словами вожаков. *Земство* — система местного самоуправления в России, введенная в 1864 г. *Казне ж весьма доходно.* В дореволюционной России лица, получавшие ордена, вносили определенную сумму.

Сватовство.— Впервые — «Русский вестник», 1871, № 9, стр. 220—228. *Пашет* — веет. *Брыньские стрелки.* Брынь — река в Калужской области. В старые времена по ее берегам тянулись большие дремучие леса, известные по имени брыньских; они упоминаются в былинах. *Дром* — дремучий лес. *Чурило Пленкович* и *Дюк Степанович* — герои русских былин. *Кóты* — крестьянская

обувь. *Аксамит* — бархат. *Обор* — завязки у обуви. *Золотной* — парчовый. *Крыжатые* — крестообразные.

Алеша Попович.— Впервые — «Гражданин», 1872, № 2, 10 января, стр. 46—47. Сначала Толстой послал «Алешу Поповича» вместе с «Ильей Муромцем» и «Сватовством» в «Вестник Европы», но Стасюлевич вернул ему все три стихотворения. По всей вероятности, справедлива догадка поэта, что такое решение было принято редактором «Вестника Европы» под впечатлением только что появившегося в «Русском вестнике» «Потока-богатыря» (письмо к Стасюлевичу от 14 сентября 1871 г.). Тогда стихотворения были переправлены в «Русский вестник». Одобрив и напечатав «Илью Муромца» и «Сватовство», Катков отверг «Алешу Поповича», как стихотворение безнравственное. Когда Маркевич сообщил об этом Толстому, тот ответил ему, начав серьезно, а затем перейдя на насмешливый тон. Не знаю,— писал он 9 октября 1871 г.,— «чем мой «Попович» безнравственнее «Петера и Бендера» Гейне <имеется в виду стих. «Frau Mette»>, «Коринфской невесты», некоторых стихотворений Полонского и почти всех—Щербины... Впрочем, с уверенностью могу Вам сказать, что, по сведениям, которые я собирал насчет описываемого происшествия, Попович и девица, проплыв 25 минут на лодке, сошли на берег в деревне по названию Папсуевка, Авсеевы лозы тож, где их и повенчал некий добрый священник, отец Герасим Помдамурский». Перед печатанием стихотворения в «Гражданине» Толстой выбросил семь строф (между 15-й и 16-й), представлявших собою выпад против «нигилизма»:

И царевна, негодуя,
Говорит ему в ответ:
«У тебя, попович, вижу,
Ничего святого нет!

Все поповичи беспутны
И не верят ни во что!
Сердце их подобно камню,
Совесть их что решето!»

Но, смеясь, попович молвит:
«Я, ей-богу, не из тех!
Как тебе меня, царевна,
С ними смешивать не грех!

Те поповичи все дики,
Гуслей звон для них беда!
Лишь в присутствии владыки
Козлогласят без стыда!

На мечах они не бьются,
Но примают всякий срам

И обидным не считают
Бить друг друга по щекам!

Сами ведая не много,
Любят мудрости учить;
Мудрость их: не верить в бога
И лягушек потрошить!

Я ж боец и песнопевец!
Я лягушек не ловлю!
Я лишь именем попович,
Я и верю и люблю!

Поэт перевел «Алешу Поповича» на немецкий язык. *Очерет* — камыш, тростник.

Садко.— Впервые — «Русский вестник», 1873, № 1, стр. 84—93, без 36-й строфы, но с еще одной исключенной впоследствии строфой — между 17-й и 18-й:

Ты сам, чай, не ведаешь, что говоришь,
Ты бредишь, о воле тоскуя!
Не дам тебе воли я — вот тебе шиш!
Добра твоего же хочу я!

Иная в «Русском вестнике» 47-я строфа:

Его ты испортил и мне досадил,
Споткнулся я, гуслей не чуя,—
Я первую грубость тебе отпустил,
Второй отпустить не хочу я!

Народное предание о Садко издавна интересовало Толстого. После завершения трилогии, озабоченный поисками темы для новой драмы, он писал Маркевичу: «Соблазнял меня Садко, но это сюжет для балета, а не для драмы» (письмо от 2 января 1870 г.). Толстой работал над стихотворением несколько месяцев и в результате считал его «очень удавшейся вещью» (письмо к Стасюлевичу от 29 января 1873 г.). См. также вступит. статью, стр. 30. *В хваленых софийских подвалах.* Имеется в виду Софийский собор в Новгороде. *Венецейский* — венецианский. *Степенный посадник, и тысяцкий тут* и т. д.—Посадник—правитель Новгорода, избиравшийся вечем из наиболее знатных боярских семей. Степенный посадник — занимающий эту должность в данное время. Сложив ее с себя, он продолжал носить звание посадника с прибавлением эпитета «старый». Тысяцкий — помощник посадника, в ведении которого находилось командование войском и суд по торговым делам. Древний Новгород делился на «концы» (районы), а концы — на улицы; концы и улицы имели свое управление; во главе каждого конца стоял кончанский староста. *Вящие уличане* — наиболее богатые, знатные жители улиц. Все новго-

родское население делилось на старейших (вящих, передних, больших) людей и молодших (меньших, черных). *Чудская Емь* — финское племя, с которым неоднократно воевал Новгород.

Канут.— Впервые — «Вестник Европы», 1873, № 3, стр. 249—256, с подзаголовком «Легенда». Источником стихотворения являются летописные данные о гибели Кнуда Лаварда, известные Толстому как из «Historia danica» датского летописца Саксона Грамматика, так и по их пересказу в «Истории Дании» Ф. Дальмана. «Скоро после этого распространилась весть,— пишет Дальман,— что Магнус хочет отправиться ко гробу господню и что перед этим в Зееланде состоится съезд всех членов семьи. Кнуд также был приглашен провести Рождество в веселом пиршестве в кругу родных... Попировав вместе четыре дня праздника в королевском замке в Роскильде, они разошлись, и князья заняли на остальные праздничные дни отдельные квартиры. Кнуд поселился поблизости... Магнус посылает туда одного из своих сообщников, связанных с ним клятвой, чтобы он пригласил Кнуда в соседний лес для беседы без свидетелей. Доверчиво, в сопровождении лишь двух рыцарей... и двух оруженосцев, едет герцог в лес, едва опоясав себя мечом — и то после напоминания. Тогда совесть стала мучить посланца. Это был сакс, по профессии певец, звали его Зивард. Он охотно предостерег бы Кнуда, но не нарушая клятвы, и так как ему было известно, что Кнуд хорошо знал немецкие сказания и песни, то он запел о вероломстве прекрасной Кримгильды... Но это не подействовало. Ведь даже письмо оставшейся в Шлезвиге жены, посланное ему вдогонку, о неблагоприятных приметах, сулящих ему опасность, не смогло поколебать веру в уже нарушенную верность» (Geschichte von Dänemark, т. 1, Гамбург, 1840, стр. 227—228). «Это незаконнорожденный плод моего блуда с Саксоном Грамматиком,—писал Толстой Стасюлевичу 3 (15) января 1873 г. из Флоренции.— К сожалению, я не отыскал в здешней библиотеке ни Адама Бременского, ни Дальмана... так что я более написал балладу на память». Интересно, что Дальман (стр. 229) отвергает версию, согласно которой жена Кнуда — дочь киевского князя Мстислава Владимировича — во время, непосредственно предшествовавшее его гибели, и в ближайшие годы после нее была в России, что из России, а не из Шлезвига она послала ему предостерегающее письмо. «Это не эпический рассказ,— писал поэт Стасюлевичу,— а только eine Stimmung, как говорят немцы». С большой похвалой отозвался о «Кануте» Тургенев (см. письмо Толстого к жене от ноября 1874 г.). *Помин* — дар, подарок. *Харатейная* — написанная на пергаменте. *Роскильда*—см. стр. 636. *Отрок* — см. стр. 609. *Подвод*— предательство, обман. *Бармы* — см. стр. 651.

Слепой.— Впервые — «Вестник Европы»», 1873, № 5, стр. 158—165. Положено на музыку Ф. Листом (см. письмо К. Сайн-Витгенштейн к С. А. Толстой от 13 (25) октября 1875 г.— «Вестник Европы», 1908, № 2, стр. 716). *Гридни, отрок*—см. стр. 609. *Полеванье* — охота. *Брашна* — яства, кушанья. *Рушать* — делить, разрезать.

САТИРИЧЕСКИЕ И ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Благоразумие.— Впервые — «Современник», 1854, № 4, стр. 133—134, под заглавием «Умеренность», без последней строфы и с более злободневной 21-й строкой: «Хоть сейчас пойду на турку». Последняя строфа приписана позже. *Синклит* — собрание высших сановников. *По-австрийски, по-австрийски*. Намек на враждебную по отношению к России позицию, занятую во время Крымской войны Австрией, которая до этого считалась ее верным союзником.

<А. М. Жемчужникову> «Вхожу в твой кабинет...»— Впервые—изд. 1937 г., стр. 653.

«Исполнен вечным идеалом...» — Впервые полностью — Полн. собр. соч., т. 1, СПб., 1907, стр. 511, под заглавием «В альбом».

Весенние чувства необузданного древнего.— Впервые полностью—изд. 1937 г., стр. 344.

<К. К. Павловой> «Прошу простить великодушно...» — Впервые — Собр. соч., т. 1, М., 1963, стр. 652—653. 3-я строка — начало пародии Толстого на поэму И. С. Аксакова «Бродяга» (см. стр. 655). *Серебролукий* — бог Аполлон (греч. миф.). *Фебов синклит* — собрание людей искусства (Феб — второе имя Аполлона, который считался покровителем искусств).

Бунт в Ватикане.— Впервые—за границей в отдельной брошюре вместе с «Русской историей от Гостомысла», Женева, изд. М. Элпидина, без указ. года, и Берлин, изд. Г. Штейница, 1904; в России — Полн. собр. соч., т. 1, СПб., 1907, стр. 489—492. Из первоначального наброска в письме Толстого к Б. А. Перовскому от 29 февраля (12 марта) 1864 г.:

«Да чего же вы хотите?»—сказал им папа.— «Да вот,— говорят,— так и так, нам некоторым образом обидно, что мы должны перед тобой петь в Сикстинской капелле, а тебе, акромя удовольствия, ничего от этого нет».— «Ну так что ж?» — говорит папа. «Ничего,— говорят они,— но если б ты оскопился, нам было бы веселее!» — «Пошли вон, дураки!» — закричал на них папа.

В письме к тому же Перовскому от 12 (24) марта 1864 г. имеются еще две строфы между 16-й и 17-й:

Папа к ним: «Помилуй боже!
Да на что ж это похоже?
Это вовсе мне не к роже!
Надо быть моложе!»

«Ничего,— в ответ кастраты,—
Если будем мы собраты,
Сам. веселием объятый,
Закричишь ура ты!»

В этом стихотворении, написанном в Риме, высмеивается лицемерие и ханжество главы католической церкви. Толстой вышучивает также воинственные замыслы и претензии папы римского на сохранение его светской власти. *Приап* (греч. миф.) — бог плодородия, садов и полей, покровитель чувственных наслаждений. *Антонелли* Д. (1806—1886) — кардинал, глава Государственного совета Папской области. *Casta diva* (непорочная богиня) — ария из оперы итальянского композитора В. Беллини «Норма»; возможно, впрочем, что речь идет о каком-то католическом песнопении. *Мероде* Ф.-К. (1820—1874) — военный министр Папской области.

<Б. М. Маркевичу> «Ты, что, в красе своей румяной...» — Впервые — в кн. А. А. Кондратьева «Граф А. К. Толстой», СПб., 1912, стр. 61—62. *Маркевич* Б. М. (1822—1884)— реакционный писатель и публицист, сотрудник «Русского вестника» и «Московских ведомостей» Каткова; приятель Толстого, который, однако, не разделял многих взглядов Маркевича. Герою своего романа «Марина из Алого Рога» (1873) Завалевскому Маркевич приписал много черт и фактов биографии Толстого, а Алый Рог кое в чем похож на имение Толстого Красный Рог. (В XVIII в. село Красный Рог называлось Алым Рогом; см. Г. И. Стафеев. Красный Рог и А. К. Толстой, Брянск, 1968, стр. 33). Взяв на себя корректуру изд. 1867 г., Маркевич небрежно отнесся к этой работе и пропустил много ошибок. Толстой послал ему стихотворение вместе с книгой, исправив в ней ряд опечаток. *Алкивьяд* — Алкивиад (451—404 до н. э.), афинский политический деятель и полководец; наряду с незаурядными способностями отличался легкомыслием, себялюбием, высокомерием и т. п. *Бутков* В. П. (1814 — 1881) — государственный секретарь. В конце 50-х годов Маркевич служил в Государственной канцелярии под его начальством. *С изнеможением в кости* — строка из стих. Ф. И. Тютчева «Как птичка раннею зарей...». *Ксантиппость*. Ксантиппа — жена древнегреческого философа Сократа (469—399 до н. э.), которая, по преданию, отличалась сварливым и злым характером; ее имя сделалось нарицательным.

История государства Российского от Гостомысла до Тимашева.— Впервые — «Русская старина», 1883, № 11, стр. 481—496, под заглавием «Русская история от Гостомысла. 862—1868». В списках сатира озаглавлена: «Сокращенная русская история от Гостомысла до Тимашева», «Современная русская история от Гостомысла», «История русского государства от Гостомысла до Тимашева» и т. д. Сам Толстой, упоминая о своем произведении в письмах, каждый раз называет его иначе: «L'histoire de Russie», «L'histoire de Russie jusqu'à Тимашев», «История России», «Современная русская история», «История государства Российского от Гостомысла до Тима-

шева». Почти все заглавия в письмах Толстого явно сокращенные, и потому мы остановились на последнем, в котором ощущается как фон «История государства Российского» Карамзина. Весьма вероятно, что сатира просто не имела окончательно установленного поэтом заглавия. Сразу после написания «История» стала распространяться в списках и приобрела большую популярность. Редактор «Русской старины» М. И. Семевский хотел опубликовать ее тотчас же после смерти поэта, но сатира не была напечатана — без сомнения, по причинам цензурного характера. Возможно, что замысел сатиры Толстого возник не без воздействия двух стихотворений, напечатанных в 1861 г. в известном сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» (Лондон, 1861, стр. 291—294, 297): «Сказка» и «Когда наш Новгород Великий...». Вот начало второго из них (оно приписывалось М. А. Дмитриеву, однако сам он отрицал свое авторство — см. Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 13, СПб., 1899, стр. 206):

Когда наш Новгород Великий
Отправил за море послов,
Чтобы просить у них владыки
Для буйных вольницы голов,
Он с откровенностию странной
Велел сказать чужим князьям:
«Наш край богатый и пространный,
Да не дался порядок нам!» [1]

Гостомысл — легендарный новгородский посадник (правитель города) или князь, по совету которого, как сообщает летопись, новгородцы пригласили якобы варяжских князей. *Тимашев*—см. вступит. статью, стр. 34. *Иордань*—река в Палестине, в которой, по евангельскому рассказу, крестился Иисус Христос. *Имярек* — по имени. В официальных бумагах слово это указывало место, где нужно вставить чье-нибудь имя. *Трезвонить лишь горазд.* Речь идет о религиозности Федора, мало занимавшегося государственными делами. *Паки* — опять, снова. *Но был ли уговор* — то есть были ли взяты у Михаила Романова при его вступлении на престол какие-нибудь обязательства, ограничивавшие его власть, как это утверждали некоторые современники. *Madame, при вас на диво* и т. д. Желая прослыть просвещенной монархиней, «философом на троне», Екатерина II вступила в переписку с французскими мыслителями. Она добилась того, что ее хвалили. Но все их советы относительно насущных политических и социальных преобразований в России остались, разумеется, втуне. *Дидерот* — Д. Дидро. *Мальтийский кавалер.* Павел I был гроссмейстером духовного ордена мальтийских рыцарей. *Louis le Désiré* (Людовик Желан-

[1] Толстой хорошо знал издания революционной эмиграции. По словам М. М. Ипполитова-Иванова, посетившего Красный Рог через несколько лет после смерти поэта, «в библиотеке А. К. оказались почти все заграничные издания Бакунина, Герцена, весь «Колокол» и почти все журналы с пометками и замечаниями А. К.» (50 лет русской музыки в моих воспоминаниях, Л., 1934, стр. 25).

ный) — прозвище, данное роялистами Людовику XVIII (1755—1824), возведенному на французский престол при содействии Александра I. *Veillot*—барон И. О. Велио (1830—1899), директор почтового департамента министерства внутренних дел в 1868—1880 гг.; имя его неоднократно встречается в письмах и стихах Толстого; поэт негодовал на него за перлюстрацию (тайный просмотр) корреспонденции и высмеивал за плохую работу почты. *Столбец* — свиток, старинная рукопись. *Зело* — очень. *Яви* — явил. *Водвори* — водворил. *Аз* — я. *Не дописах поспешно* и т. д. Ср. с текстом летописи· «Такоже и аз худый, недостойный и многогрешный раб божий Лаврентий мних... И ныне, господа отци и братья, оже ся где буду описал, или переписал, или не дописал, чтите исправливая бога для, а не клените».

Медицинские стихотворения

«Медицинскими» называл эти стихотворения сам Толстой (недатированное письмо к Маркевичу). Героем их являлся доктор А. И. Кривский, служивший в имении Толстого Красный Рог в 1868—1870 гг. По-видимому, не все стихотворения этого цикла дошли до нас, в частности, известны лишь четыре строки из стихотворения о пиявке:

Ища в мужчине идеала,
Но стыд храня,
Пиявка доктору сказала:
Люби меня!

1. «Доктор божией коровке...»—Впервые — «Русский современник», 1924, № 1. стр. 220—221, под заглавием «Божия коровка».

2. «Навозный жук, навозный жук...» — Впервые — «Вестник Европы», 1895, № 10, стр. 649—650, в письме к Маркевичу.

3. «Верь мне, доктор (кроме шутки!)...» — Впервые — «Русский архив», 1889, № 9, стр. 134, без 4-й строфы и с измененной 5-й. *Причетник* — младший церковнослужитель в православной церкви, пономарь, дьячок и т. п. *Писать мыслете* говорится о неровной походке пьяного. Мыслете — старинное название буквы «м».

4. Берестовая будочка.— Впервые — Полн. собр. соч., т. 1, СПб., 1907, стр. 510—511.

5. «Муха шпанская сидела...» — Впервые — в кн.: А. К. Толстой. Драматическая трилогия, Л., 1939 (дополнит. тираж), стр. 582.

«Угораздило кофейник...» — Впервые — «Исторический вестник». 1916, № 1, стр. 166, в письме Толстого к Е. В.

Матвеевой от 11 ноября 1868 г., под заглавием «Кофейник и вилка», без строк 18—21. *Исполати!* (хвала! слава!) и *Аксиос!* (достоин!) — греческие выражения, употреблявшиеся в церковной службе. *Веселися, храбрый росс!* — строфа из хора «Гром победы, раздавайся...», сочиненного Г. Р. Державиным для празднества у Потемкина в 1791 г. и часто исполнявшегося впоследствии в разных торжественных случаях.

Послания к Ф. М. Толстому

Толстой Ф. М. (1809—1881) — музыкальный критик, композитор и беллетрист; член совета Главного управления по делам печати; печатал критические статьи под псевдонимом: Ростислав. Послания связаны с рассмотрением в цензурном ведомстве и запрещением постановки «Царя Федора Иоанновича» (см. примеч. к т. 3). О ходе дела информировал поэта, обещая свое содействие, Ф. М. Толстой. В октябре 1868 г. И. А. Гончаров сообщил А. К. Толстому об окончательном запрещении «Царя Федора Иоанновича» и неожиданном поведении Ф. М. Толстого. «Мне стало известно,— писал Толстой Маркевичу в середине ноября 1868 г.,— что Феофил, когда председательствовал в Совете по делам печати в отсутствие Похвистнева, подал оба свои голоса против «Федора Иоанновича», ратуя в то же время в качестве литератора за разрешение этой пьесы. Это вдохновило меня на послание к Феофилу, которое я Вам и пересылаю». К сожалению, оно не дошло до нас; известны лишь четыре строки:

О, будь же мене голосист,
Но боле сам с собой согласен...
. . . .
Стяжал себе двойной венец:
Литературный и цензурный.

1. «Вкусив елей твоих страниц...» — Впервые — «Вестник Европы», 1895, № 10, стр. 650, в письме к Маркевичу. Ф. М. Толстой обиделся на поэта за не дошедшее до нас первое послание к нему, особенно за эпитеты «двуличный» и «трехипостасный», и 5 декабря 1868 г. написал ему длинное письмо, в котором утверждал, что с самого начала, несмотря на крупные литературные достоинства пьесы, считал неудобной ее постановку на сцене. На это письмо Толстой и ответил посланием «Вкусив елей твоих страниц...». Концовка послания — перифраза двух строк из «Стансов» Пушкина.

2. «В твоем письме, о Феофил...» — Впервые — «Русская старина», 1887, № 7, стр. 144—145. Посылая стихотворение Маркевичу, поэт сообщил ему, что оно является ответом на одно из писем Ф. М. Толстого, которое «пахнет провокацией». *«Лаокоона» он хвалил, || Как я «Феодора» в «Проекте».* По-видимому, имеется в виду следующий эпизод. После выхода трактата Г.-Э. Лессин-

га «Лаокоон» (1766) Х.-А. Клотц — филолог-классик и влиятельный журналист, человек даровитый, но недобросовестный — прислал Лессингу льстивое письмо, которым пытался расположить его в свою пользу. Но, обманувшись в своих расчетах, он подверг критике некоторые мысли, высказанные в «Лаокооне». Ответом на его возражения и вместе с тем уничтожающей характеристикой Клотца явились «Письма антикварного содержания» Лессинга, которые нанесли сокрушительный удар его научной репутации. *Veillot* — Велио, см. стр. 646. *Перед Шуваловым свой стяг* и т. д. Толстой, возможно, имел в виду попытку И. И. Шувалова примирить Ломоносова с Сумароковым; письмо Ломоносова к Шувалову по этому поводу было напечатано в незадолго до этого вышедших «Материалах для биографии Ломоносова» П. С. Билярского, СПб., 1865, стр. 486—487. *Вечный враг так называемых вопросов* — цитата из Козьмы Пруткова: «В обществе заговорили о каких-то новых потребностях, о каких-то новых вопросах... Я — враг всех так называемых вопросов!»

«Сидит под балдахином...» — Впервые — «Вестник Европы», 1895, № 10, стр. 657—658, в письме к Маркевичу от 15 апреля 1869 г., под заглавием «Баллада». Речь идет здесь, разумеется, не о Китае, а о России. В русской сатирической литературе и публицистике Китай издавна фигурировал как ширма, за которой можно было более свободно говорить о темных сторонах российской действительности. Так, в одной из своих рецензий начала 40-х годов Белинский писал о китайском имени Дзун-Кин-Дзын и «китайском духе», распространяющемся в России, о мандаринах и «мандаринском журнале» «Плошка всемирного просвещения, вежливости и учтивости», имея в виду под последним ультрареакционный журнал «Маяк» (Полн. собр. соч., т. 4, М., 1954, стр. 312—313).

Песня о Каткове, о Черкасском, о Самарине, о Маркевиче и о арапах.— Впервые — «Русская старина», 1886, № 10, стр. 233—234, под заглавием «Единство». 14 марта 1869 г. на обеде, данном в его честь в Одесском английском клубе, Толстой произнес речь, которая кончалась провозглашением тоста «за благоденствие всей русской земли, за все русское государство, во всем его объеме, от края и до края, и за всех подданных государя императора, к какой бы национальности они ни принадлежали» («Одесский вестник», 1869, № 60). Последние слова вызвали недовольство Маркевича (Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому... СПб., 1888, стр. 110—114). Резкая оценка националистических и русификаторских взглядов Маркевича содержится в письмах к нему Толстого от 26 апреля и 24 мая 1869 г. Против этих взглядов направлено и стихотворение. *Катков* М. Н. (1818—1887) — журналист и публицист, редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей»; до 60-х годов умеренный либерал; затем — апологет самодержавия, идеолог дворянской реакции и крайнего национализма. *Черкасский* В. А. (1824—1878) — общественный и государственный деятель, примыкавший

к славянофилам после польского восстания 1863 г. до 1866 г. занимал пост главного директора правительственной комиссии внутренних дел в Польше. *Самарин* Ю. Ф. (1819—1876) — публицист и общественный деятель славянофильского лагеря; в 1863—1864 гг., как и Черкасский, был деятельным сотрудником статс-секретаря по делам Польши Н. А. Милютина (1818—1872); в 1868 г. вышли первые два выпуска его сочинения «Окраины России», в котором он доказывал, что русская политика недостаточно проникнута национальными интересами и что правительство недооценивает опасностей, грозящих русскому государству. *Недавно и ташкентцы*... В 60-х годах значительная часть Туркестана была присоединена к России, образовав туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте. *Алба* (Альба) Ф. (1507—1582) — испанский полководец и государственный деятель; правитель Нидерландов; безуспешно пытался подавить кровавым террором нидерландскую революцию. *Осанна!* (греч.— спаси же!) и *Аксиос!* (греч.— достоин!) — выражения, употреблявшиеся в церковной службе.

«Стасюлевич и Маркевич...» — Впервые — изд. 1937 г., стр. 377. *Стасюлевич* М. М. (1826—1911) — историк и публицист; в 1858—1861 гг.— профессор Петербургского университета; ушел в отставку в связи с реакционной политикой министра народного просвещения Е. В. Путятина и его мерами по подавлению студенческих волнений; с 1866 г.— редактор либерального журнала «Вестник Европы». С начала издания этого журнала Толстой был в дружеских отношениях со Стасюлевичем. О *Маркевиче* см. на стр. 644. «Ваше препирательство со Стасюлевичем,— писал Толстой Маркевичу 3 ноября 1869 г.,—...вдохновило меня на куплеты, но я их показывал только жене и сразу же уничтожил... Я даже и забыл эти куплеты — помню только, что начинались они так...» Стихотворение вызвано полемикой Стасюлевича и Маркевича, которая является лишь эпизодом длившейся в течение ряда лет резкой полемики «Вестника Европы» с «Русским вестником» и «Московскими ведомостями» о реальной и классической системе образования. См. заметки Стасюлевича в «Вестнике Европы» (1869, №№ 5 и 6) и «С.-Петербургских ведомостях» (1869, № 140) и Маркевича в «Современной летописи» «Московских ведомостей» (1869, №№ 18 и 20). Полемика имела в 60-е годы политический смысл. Представители правительственного лагеря видели в проповеди классицизма способ отвлечь молодежь от материалистических и революционных идей. Этого нельзя сказать о Толстом, хотя он также был горячим сторонником классического образования. Кроме того, разделяя в этом отношении взгляды Каткова и Маркевича, Толстой осуждал недопустимые, с его точки зрения, полемические приемы. «Я также совершенно согласен с Вами, что наши так называемые критики злоупотребляют выражением: «печатный донос», и считаю, что обращение (подписанное) к гласности не есть донос,— писал он Маркевичу 26 мая 1869 г.— Но почему, черт возьми, Вы этим не ограничились?.. К чему Вам было касаться не зависящих от него обстоятельств, по которым он находится вне

университета?.. Достаточно доказать, что человек неправ, а причины, которые могли вызвать его неправоту, к делу не относятся и сообщают ему оттенок сплетни, тем более, что Вы лишь мельком касаетесь этих причин и придаете Вашим намекам видимость инсинуации... Все наши полемисты, Катков в первую очередь, Стасюлевич, Аксаков и ignobile pecus[1] фельетонистов не умеют полемизировать, так как не аргументируют, а бранятся. Стасюлевич всякое мнение, не согласное с его собственным, называет доносом, Катков — предательством».

«Как-то Карп Семенович...» — Впервые — в кн.: A. Lirondelle. Le poète Alexis Tolstoi, Paris, 1912, стр. 607. Это и следующее стихотворения связаны с той же полемикой, что и предыдущее, и составляют часть письма к Маркевичу от 22 декабря 1869 г. Стихотворению предшествуют слова: «Редактор «Вестника Европы» говорит в последнем номере своего журнала, что падение Афин и Рима доказывает, как неудовлетворителен был классицизм. Это очень хорошо, и я думаю написать по этому поводу песню. Пока что я могу только набросать эти несколько неудовлетворительных стихов». Иронизируя над Стасюлевичем, Толстой имел в виду его примечание к статье С. М. Соловьева «Наблюдения над историческою жизнию народов»; Стасюлевич использовал одно из утверждений Соловьева в полемических целях («Вестник Европы», 1869, № 12, стр. 540—541).

«Рука Алкида тяжела...» — Впервые — там же, стр. 608. Стихотворение отделено от предыдущего следующим признанием: «Что до меня, то я откровенный классик, я люблю греческий мир, и все греческое мне нравится». После стихотворения Толстой снова иронизирует над Стасюлевичем: «Это было прекрасное время, однако античный мир уступил место христианскому миру, ergo[2] нехорошо быть классиком», и прибавляет: «Снимем панталоны!», как бы возвращаясь к стих. «Как-то Карп Семенович...».

Мудрость жизни. — Впервые — «Русский современник», 1924, № 1, стр. 213—216. *Боскетная* — комната, украшенная или расписанная зеленью. *Корша ведомость* — газета «С.-Петербургские ведомости», выходившая в 1862—1874 гг. под редакцией либерального журналиста В. Ф. Корша. *Вслед за пахарем прилежным* и т. д. Цитата из стих. Фета «Первая борозда».

«Все забыл я, все простил...» — Впервые — в кн.: A. Lirondelle. Le poète Alexis Tolstoï, Paris, 1912, стр. 610. Это и следующее стихотворения составляют часть письма к Маркевичу от 14 мая 1871 г. Стихотворению предшествуют слова: «Если бы не наступила уже весна и не пели соловьи, я написал бы

---

[1] гнусный сброд (буквально: гнусный скот) (лат.).

[2] следовательно (лат.).

ругательное письмо Тимашеву (что, впрочем, собираюсь сделать), но мягкая погода и меня делает мягким:

Все забыл я, все простил...»

Вельо — см. стр. 646.

«Я готов румянцем девичьим...»— Впервые — там же, стр. 611. Стихотворение отделено от предыдущего словами: «Я хотел бы, чтобы такие же чувства Вы питали к Стасюлевичу».

<М. Н. Лонгинову> «Слава богу, я здоров...» — Впервые — изд. 1937 г., стр. 656—657. Написано перед отъездом за границу. Лонгинов (см. о нем ниже) был в это время орловским губернатором.

Отрывок.— Впервые — «Русский современник», 1924, № 1, стр. 218—220. *Вельо* — см. стр. 646. Юдифь — библейская героиня во время нашествия вавилонского полководца Олоферна отправилась в неприятельский лагерь и обворожила Олоферна своей красотой, а когда он заснул, отрубила ему голову и этим спасла родину от иноземных захватчиков.

<Б. М. Маркевичу> «В награду дружеских усилий...» — Впервые — изд. 1937 г., стр. 657. *Терпсихора* (греч. миф.) — муза танца. *Хариты* (греч. миф.) — богини красоты, радости, олицетворение женской прелести; в переносном смысле — красавицы.

Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме.— Впервые — «Русское обозрение», 1892, № 1, стр. 291—293. *Лонгинов* М. Н. (1823—1875) — библиограф и историк литературы, в молодости член кружка, группировавшегося вокруг редакции «Современника», либерал; с конца 50-х годов резко поправел и перешел в лагерь реакции; в 1871—1875 гг. был начальником Главного управления по делам печати и жестоко преследовал передовую мысль. Лонгинов ответил Толстому стихотворным посланием, в котором утверждал, что слухи о запрещении книги Дарвина не соответствуют действительности. Вот как реагировал на это Толстой: «Он отрекается от преследования Дарвина. Тем лучше, но и прочего довольно» (письмо к Стасюлевичу от 3 января 1873 г.). Первый эпиграф взят также из Козьмы Пруткова — см. стр. 648. *Овамо и семо* — там и здесь. *Шматина глины* — ком глины, из которого, по библейскому преданию, бог создал человека. *Бармы* — принадлежность парадного наряда русских князей и царей, надевавшаяся на плечи; также: ризы священника или оплечья на них.

«Боюсь людей передовых...»— Впервые полностью — изд. 1937 г., стр. 398. «Приезжающие сюда русские,—писал Тол-

стой Маркевичу из Флоренции в начале 1873 г.,— рассказывали мне, что меня продолжают ругать в разных газетах. Я же —

Боюсь людей передовых...»

Сон Попова.— Впервые — в Берлине в 1878 г. отдельной брошюрой, под заглавием «Сон статского советника Попова»; в России — «Русская старина», 1882, № 12, стр. 701—712. Сатира сразу приобрела большую популярность и стала ходить по рукам в списках. С большой похвалой отозвался о «Сне Попова» Тургенев (письмо Толстого к жене от ноября 1874 г.). Не раз восхищался «Сном Попова» Л. Н. Толстой. «Ах, какая это милая вещь, вот настоящая сатира и превосходная сатира»,— передает его слова С. Т. Семенов (Воспоминания о Л. Н. Толстом, СПб., 1912, стр. 82). «Это бесподобно. Нет, я не могу не прочитать вам этого. И Лев Николаевич начал мастерски читать «Сон Попова»... вызывая иногда взрывы смеха»,—записал в дневник П. А. Сергеенко («Литературное наследство», № 37—38, М., 1939, стр. 543). В ноябре 1875 г. чтение «Сна Попова» не было допущено на вечере памяти А. К. Толстого, организованном Литературным фондом (арх. Литературного фонда в рукоп. отд. Института русской литературы, 1875, л. 1026). *Имярек* — см. стр. 645. *Неглиже* — небрежный вид, небрежная домашняя одежда. *К Цепному мосту.* У Цепного моста в Петербурге (теперь мост Пестеля) помещалось Третье отделение. *Причинный казус* — неожиданный и неприятный случай. *Не бе* — не было. *Лазоревый полковник.* Жандармы носили голубую форму. *Санкюлот* — презрительная кличка, данная реакционерами в годы Французской революции XVIII в. беднейшим слоям населения и революционерам-якобинцам, которые носили длинные брюки, а не аристократические короткие штаны до колен (culotte). Впоследствии в консервативной публицистике слово «санкюлот» употреблялось в смысле: вольнодумец, революционно настроенный человек. *Комплот* (франц. complot) — заговор. *Ектенья* — заздравное моление; здесь употреблено в ироническом смысле. *Пряжка* — нагрудный знак, выдававшийся за усердие, беспорочную службу и пр.

Рондо.— Впервые — «Красная новь», 1926, № 4, стр. 110—111. *Пален* К. И. (1833—1912) — министр юстиции в 1867—1878 гг. Во время его управления министерством судебное ведомство резко повернуло на путь реакции. Однако по вопросу о суде присяжных Толстой критикует Палена справа, упрекая в слишком мягком к нему отношении.

<Великодушие смягчает сердца> «Вонзил кинжал убийца нечестивый...» — Впервые — «Книжки Недели», 1900, № 1, стр. 161—162, в статье В. С. Соловьева «Три разговора», без заглавия. Стихотворение направлено против идей непротивления злу. В основе его лежат, по-видимому, какие-то неизвестные нам конкретные факты. *Аренда* — награда, состоявшая в предоставлении государственного имения во временное владение; с 1837 г. под именем аренды крупным чиновникам в виде награды назначалась на несколько лет денежная прибавка к жалованью.

Станислава — то есть орден св. Станислава. *Камергер* — придворное звание. *Совет* — то есть Государственный совет.

Надписи на стихотворениях А. С. Пушкина.— Впервые — «С.-Петерб. ведомости», 1913, № 182, в статье Д. Н. Цертелева «Отношение гр. А. К. Толстого к Пушкину». Надписи были сделаны на лейпцигском издании стихотворений Пушкина, 1861 г. (Этот экземпляр, по-видимому, безвозвратно пропал.) Стихотворения Пушкина цитируются по этому изданию. Строки, написанные на той странице, где помещено стих. «Я жду обещанной тетради», Цертелев связывает именно с этим четверостишием; между тем толчком для их написания были скорее напечатанные рядом с ним стих. «Баратынскому из Бессарабии», «Друзьям», «Адели»; в них фигурируют «Вакха буйный пир», «звук лир», музы, «питомцы муз и Аполлона», хариты, Лель. Продолжение «Золота и булата», «присочиненное неизвестно кем», было напечатано в «Искре» (1859, № 39, стр. 392). Оно приписывалось также М. Л. Михайлову — см. Сочинения Пушкина под ред. П. А. Ефремова, т. 8, СПб., 1905, стр. 275. «Везде, где попадаются слова: Лель, повеса, шалуны, цевницы, хариты,— пишет Цертелев,— Толстой подчеркивает их и снабжает примечаниями... Против некоторых стихотворений стоят краткие восклицания: «хорошо», «великолепно», «вот это я понимаю», но большею частью примечания имеют характер шутки». Наконец, Цертелев утверждает, что надписей Толстого было множество. *Мглин* — уездный город Черниговской губернии; в Мглинском уезде находилось имение Толстого Красный Рог. *Авзония* — Италия. *Цитерея* или Киферея (греч. миф.) — одно из прозвищ Афродиты (остров Кифера был одним из центров культа Афродиты). *Филимонов* В. С. (1787—1858) — поэт, беллетрист и драматург. *Захаржевский* Я. В. (1780—1860) — начальник царскосельского дворцового управления.

КОЗЬМА ПРУТКОВ

По свидетельству В. М. Жемчужникова (пометы на копиях журнальных текстов в Центр. гос. архиве литературы и искусства), Толстому принадлежат «Эпиграмма № 1» («Вы любите ли сыр...»), «Письмо из Коринфа», «Из Гейне» («Вянет лист, проходит лето...»), «Пластический грек», «К моему портрету» и «Память прошлого». Вместе с А. М. Жемчужниковым написаны комедия «Фантазия» и стих. «Желание быть испанцем», «Осада Памбы», «Из Гейне» («Фриц Вагнер, студьозус из Иены...»); вместе с В. М. Жемчужниковым — «На взморье, у самой заставы...». Вместе с А. М. Жемчужниковым написана также басня «Звезда и Брюхо» (см. стр. 655). О Толстом как авторе «Церемониала» сохранилось свидетельство Д. Н. Цертелева (Отношение гр. А. К. Толстого к Пушкину — «С.-Петерб. ведомости», 1913, № 182). Толстой, без сомнения, принимал участие в создании и других произведений Козьмы Пруткова, но до нас не дошли об этом более или менее основательные данные. Прутковские произведения печатаются в ранних редакциях, поскольку их переработка была произведена

В. М. Жемчужниковым частично при жизни Толстого, но без его участия, а главным образом после его смерти, для «Полн. собр. соч.» К. Пруткова 1884 г.

Эпиграмма № 1.— Впервые — «Современник», 1854, № 2, «Литерат. ералаш», тетрадь 1, стр. 5.

Письмо из Коринфа.— Впервые — «Современник», 1854, № 2, «Литерат. ералаш», тетрадь 1, стр. 14. Пародия на стих. Н. Ф. Щербины «Письмо» («Я теперь не в Афинах, мой друг...»). Оно кончается словами: «Красота, красота, красота!//Я одно лишь твержу с умиленьем». Подзаголовок намекает на заглавие сборника Щербины «Греческие стихотворения» (1850). При жизни Толстого пародия, возможно, по цензурным причинам, была напечатана без последнего четверостишия; оно вписано М. Н. Лонгиновым в принадлежавший ему экземпляр юмористического приложения к «Современнику» — «Литературный ералаш» (Библиотека Института русской литературы АН СССР). Для «Полн. собр. соч.» Пруткова 1884 г. это четверостишие было переработано Жемчужниковым. *Истмийского шум водопада.* Истмом назывался в древние времена Коринфский перешеек. *Между камней паросских.* Речь идет о знаменитом мраморе, добывавшемся на острове Паросе. И Парос и Истм упоминаются в стихотворениях Щербины.

Из Гейне («Вянет лист, проходит лето...»).— Впервые — «Современник», 1854, № 2, «Литерат. ералаш», тетрадь 1, стр. 14. Пародия на русских подражателей Г. Гейне, о которых Н. А. Добролюбов писал: «Сущность поэзии Гейне, по понятиям тогдашних стихотворцев наших, состояла в том, чтобы сказать с рифмами какую-нибудь бессвязицу о тоске, любви и ветре» (Собр. соч., т. 6, М.-Л., 1963, стр. 213).

Желание быть испанцем.— Впервые — «Современник», 1854, № 2, «Литерат. ералаш», тетрадь 1, стр. 15—16. *Альямбра* (Альгамбра) — старинная крепость и дворец мавританских халифов в испанской провинции Гренаде. *Натура* — природа. *Эстремадура* — испанская провинция. *Два вершка булату.* Булат — сталь, употреблявшаяся для клинков, мечей и пр. В переносном смысле — клинок, кинжал, меч. *Дуэнья* — пожилая женщина, следящая за поведением девушки или молодой женщины. *Четки* — шнурок с нанизанными на него стеклянными, деревянными или иными бусами для счета молитв или поклонов. *Эскуриал* — старинный дворец и монастырь недалеко от Мадрида.

«На взморье, у самой заставы...» — Впервые — «Современник», 1854, № 3, «Литерат. ералаш», тетрадь 2, стр. 33.

Осада Памбы.— Впервые — «Современник, 1854, № 3, «Литерат. ералаш», тетрадь 2, стр. 36—37. Современники восприняли «Осаду Памбы» как пародию на «Отрывки из испанских ро-

мансов о Сиде» В. А. Жуковского,— см. «Пантеон», 1854, № 4, стр. 33. Одним из ее объектов являются также «Романсы о Сиде» в переводе П. А. Катенина. Ср., например, следующие строки Катенина:

«Четверик ему пшеницы
Дать,— сказал король,— а ты
Обойми его, Химена;
Он изрядно подшутил»

(Избранные произведения, М.-Л., 1965, стр. 151). Целая сцена в «Селе Степанчикове и его обитателях» Ф. М. Достоевского построена на чтении «Осады Памбы». *Ниже* — даже. *Каплан* — капеллан, католический священник; в России так назывался католический священник в войсках и военных учреждениях.

Пластический грек.— Впервые — «Современник», 1854, № 4, «Литерат. ералаш», тетрадь 3, стр. 50.

Из Гейне («Фриц Вагнер, студьозус из Иены...»). — Впервые — «Современник», 1854, № 4, ««Литерат. ералаш», тетрадь 3, стр. 52.

Звезда и Брюхо.— Впервые — «Новое время», 1881. № 2026, 18 октября, в фельетоне Непременного члена К. Пруткова (А. М. Жемчужникова) «Защита памяти Косьмы Петровича Пруткова». По свидетельству А. М. Жемчужникова, написана вместе с Толстым в 1854 г. (тетрадь Жемчужникова в Центр. гос. архиве литературы и искусства).

К моему портрету.— Впервые — «Современник», 1860 № 3, «Свисток», № 4, стр. 44.

Память прошлого.— Впервые — «Современник», 1860 № 3, «Свисток», № 4, стр. 45.

«В борьбе суровой с жизнью душной...» — Впервые полностью — «Русская литература», 1963, № 1, стр. 172—173. В собраниях сочинений Пруткова, начиная с 1-го изд. 1884 г., печаталось около трети текста под заглавием «Родное (Из письма московскому приятелю)». Пародия на поэму И. С. Аксакова «Бродяга». «Вот, сударыня, фрагмент пародии, о которой я Вам говорил,— читаем в письме Толстого к К. К. Павловой.— Мы оба любим и уважаем писателя, который послужил объектом для нее, и вот почему я без колебаний сообщаю ее Вам». Письмо относится, по всей вероятности, к началу 60-х годов. Весь характер писем Толстого к Павловой, изобилующих его шуточными произведениями, говорит за то, что поэт переписал для нее свое произведение. Об этом свидетельствуют и исправления, сделанные в тексте. Однако возможно все же, что это плод коллективного творчества «опекунов» Пруткова. Список

стихотворения с обозначением авторства Толстого имеется в архиве Аксаковых (Институт русской литературы АН СССР).

Церемониал.— Впервые полностью — «Голос минувшего», 1922, № 2, стр. 36—39. *Аудитор* — военно-судебный чиновник (до введения военно-судебной реформы 1867 г.). *Фурлейт* — солдат из военного обоза. *Пеший по конному* — выполнение, в учебных целях, кавалерийских упражнений без лошадей. *Квартирьеры* — офицеры и солдаты, при передвижении войск высылавшиеся вперед для подыскания квартир. *Корш* — см. стр. 650. *Суворин* А. С. (1834—1912) — журналист и издатель, в 60-х — первой половине 70-х годов либерал, ближайший сотрудник «С.-Петербургских ведомостей»; в 1876 г. приобрел газету «Новое время», которая через несколько лет превратилась в оплот реакционной политики Александра III. *Буренин* В. П. (1841—1926) — поэт, журналист, критик, сначала примыкавший к демократическому лагерю, а затем постепенно эволюционировавший вправо и ставший главным критиком «Нового времени». *Здесь помещенные боле для шутки* — несколько измененная строка из басни Пруткова «Незабудки и запятки». *Шанцевый инструмент* — лопаты, топоры и т. п., служащие для производства работ по устройству окопов (шанцев). *Между двух прохвостов.* Старинное значение слова «прохвост», «профос» — солдат, занимавшийся очисткой нечистот в месте расположения военной части. *Тот весь обращается в кислород.* Ср. с аналогичными словами о «нигилистах» в 18-й строфе «Потока-богатыря». *Блудова* А. Д. (1812—1891) — фрейлина, писательница и деятельница славянофильского лагеря; основала в городе Остроге «Кирилло-Мефодиевское братство», общество для распространения православия на Волыни. *Жомини* Г. (1779—1869) — военный писатель, автор работ по военной истории, стратегии и тактике; был на французской, а затем (с 1813 г.) на русской службе. *Аристид* (ок. 540—467 до н. э.) — афинский политический деятель и полководец. *Ниже* — даже. *Герасим искажает текст* и т. д. Имеется в виду стих из евангелия от Матфея (гл. 7): «Что же видиши сучец, иже во оце брата твоего, бревна же, еже есть во оце твоем, не чуеши». *Фотий* (1792—1838) — архимандрит новгородского Юрьевского монастыря; наряду с Аракчеевым один из главных оплотов реакции 20-х годов. Упоминание об Аракчееве и Фотии как бы переносит «Церемониал» в прошлое, но другие имена и факты тесно связывают его с 60-ми годами. *Отпуск* — копия отправленной бумаги.

ПОЭМЫ

Грешница.— Впервые — «Русская беседа», 1858, № 1, стр. 83—88. Получив поэму «Иоанн Дамаскин», И. С. Аксаков высказал свои критические замечания как о ней, так и о «Грешнице». Ответ Толстого на эти замечания см. в его письме от 31 декабря 1858 г. На сюжет поэмы Толстого написана картина Г. И. Семирадского «Христос и грешница» (1873). «Грешница» вошла в репертуар домашних и публичных литературных вечеров

конца XIX — начала XX в. Чехов иронически отметил этот факт в «Вишневом саде»: начальник станции читает поэму на вечере у Раневской. В рассказе «Лишние люди» ее декламирует артист-любитель Смеркалов (Полн. собр. соч., т. 11, М., 1948, стр. 344; т. 5, М., 1946, стр. 81). *Пилат* — см. стр. 630. *Законы Моисея* — то есть законы иудейской религии, библейские законы. *По онпол* — на противоположном берегу.

Иоанн Дамаскин.— Впервые — «Русская беседа», 1859, № 1, стр. 5—30. Уже отпечатанный номер «Русской беседы» был, по настоянию III Отделения, задержан Московским цензурным комитетом, постановившим изъять из него поэму. Однако министр народного просвещения Е. П. Ковалевский разрешил выпустить журнал в свет (Центр. гос. историч. архив СССР. Дело Главного управления цензуры, 1859, № 152130). О закулисной стороне запрещения и разрешения «Иоанна Дамаскина», о столкновении на этой почве Ковалевского с начальником III Отделения кн. В. А. Долгоруковым рассказал в одной из своих статей 1863 г. П. В. Долгоруков (Петербургские очерки, М., 1934, стр. 178—179). Источник поэмы указан самим Толстым в письме к Маркевичу от 4 февраля 1859 г.; это — житие богослова и автора церковных песнопений Иоанна Дамаскина (VII — VIII вв.). Сравнение с ним поэмы приводит к выводу, что тема поэта и поэтического творчества играет в «Иоанне Дамаскине» значительно большую роль. чем в житии Иоанна Дамаскина, а чисто религиозные мотивы последнего отошли на второй план; недаром Толстой с первых же страниц называет Иоанна «певцом», и слово это повторяется десятки раз. Характер переработки источника, лишь одним эпизодом которого воспользовался Толстой, находится в непосредственной связи с центральной идеей поэмы: свобода поэтического слова, независимость художника и огромное моральное воздействие искусства на человечество, разумеется, в том их романтическом понимании, которое входило как составная часть в мировоззрение Толстого. Современники указывали на автобиографическую подоплеку основного мотива поэмы — см., напр., запись в дневнике И. А. Шляпкина со слов Н. С. Лескова («Русская старина», 1895, № 12, стр. 212). Стремление быть «вполне художником» и желание освободиться от службы при дворе, с особой остротой ощущавшееся Толстым в эти годы, и натолкнули его, по-видимому, на эту тему. Сам поэт считал неудачными начало поэмы и первую половину 7-й главы; см. письма к И. С. Аксакову от 31 декабря 1858 г. и к Маркевичу от 4 февраля 1859 г. Поэма положена на музыку П. И. Чайковским (отрывок «Благословляю вас, леса» и д.), С. И. Танеевым и В. С. Калинниковым. *Противу ереси безумной* и т. д. Речь идет об иконоборчестве, см. стр. 623. *Прелесть* — здесь: соблазн. *Юдоль* — жизнь с ее заботами и печалями; тяжелый жребий, участь. *Преставился* — скончался. *Паки* — снова. *Сонм* — множество. *Мира преставленье* — конец света. *Эпитимья* — церковное наказание. *Перси* — грудь.

Алхимик. — Впервые — изд. 1867 г., стр. 389—397. Герой поэмы — Р. Люллий (1235—1315) — средневековый поэт

и философ, по происхождению испанец; молодость провел при дворе покорившего Балеарские острова арагонского короля Иакова I; ему приписывался ряд алхимических трактатов; с жизнью Люллия связано много легенд. *Веси* — деревни и села. *Крест Калатравы* — знак испанского духовного рыцарского ордена. *Соломонова печать* — по средневековым представлениям, кольцо-печать, обладавшее волшебной силой. *Трисмегиста дивный камень* — «философский камень», поисками которого занимались алхимики, считавшие, что он обладает чудодейственными свойствами: превращать неблагородные металлы в золото, исцелять от болезней, возвращать молодость и т. д. Алхимики вели начало своего учения от Гермеса Трисмегиста, вымышленного автора мистических книг египетско-греческого происхождения. *Микрокосм* — человеческий организм, как «небольшой мир», в отличие от макрокосма — большого мирового организма, то есть вселенной; между обоими мирами предполагалась таинственная связь, служившая основанием для веры в силу и влияние светил. *Кампанья* — область в Италии.

Портрет.— Впервые — «Вестник Европы», 1874, № 1, стр. 50—74, без строф 11—12. В процессе писания поэмы Толстой сообщил К. Сайн-Витгенштейн: «Сюжет немного идиллический. Это что-то вроде какой-то «Dichtung und Wahrheit» [1], воспоминание детства, наполовину правдивое» (лето 1873 г.). Несомненное влияние на отдельные места и детали «Портрета» оказала повесть А. Погорельского (А. А. Перовского) «Черная курица, или Подземные жители», которую, по устному преданию, он написал для своего одиннадцатилетнего племянника (А. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы, СПб., 1896, стр. 110). Лихорадочное нетерпение мальчика, его душевное состояние, когда он лежит в кроватке, отъезд гостей и т. д. — все это напоминает повесть Погорельского. Чрезвычайно близки концовки «Портрета» и «Черной курицы». Ср. последние строфы поэмы с предпоследним абзацем повести о мальчике Алеше: «На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка» (Черная курица, СПб., 1829, стр. 164). В самом начале «Черной курицы», говоря об изменениях во внешнем виде Петербурга за последние десятилетия, Погорельский внезапно обрывает повествование словами: «впрочем, не о том теперь идет дело»; и дальше описание дома снова прерывается: «но не о том теперь идет дело» (стр. 4 и 7). В «Портрете» почти те же слова появляются в том же приблизительно контексте (3-я строфа). Обращает на себя внимание «цитатность» некоторых других строк. Так, строка «Тех дней, когда нам новы впечатленья» восходит к началу «Демона» Пушкина; слова «поклонник Канта» в строфе 26-й — к пушкинской характеристике Ленского и др.

---

[1] «Поэзия и правда» (нем). Так называлось одно из произведений Гете.

Страбон (ок. 63 до н. э.— ок. 20 н. э.) — древнегреческий географ. *Плиний*. В римской литературе известны два Плиния — выдающийся прозаик Плиний Младший (ок. 62 — ок. 114) и его дядя, автор «Естественной истории», Плиний Старший (23—79). *Пракситель* (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор. *Ломбр* (ломбер) — старинная карточная игра. *Да извинит мне Стасюлевич это.* О Стасюлевиче см. на стр. 649. *Мой омоним* — Д. А. Толстой (1823—1889), министр народного просвещения в 1866—1880 гг., насадитель классической системы образования, закрепленной реформой 1871 г. О полемике между ее сторонниками и противниками см. на стр. 649.

Д р а к о н.— Впервые — «Вестник Европы», 1875, № 10, стр. 581—606. В июне 1875 г. Толстой встретился в Карлсбаде с Тургеневым и Стасюлевичем и читал им свою поэму. Стасюлевич вспоминал впоследствии, что они «обсуждали вопрос, хорошо ли называть переводом с несуществующего итальянского подлинника то, что, собственно, было оригинальным произведением.— Пусть Анджело де Губернатис,— засмеялся весело Толстой,— поломает себе голову и пороется в старых преданиях, отыскивая оригинал! — Однако автор все-таки нашел более удобным вычеркнуть слово: п е р е в о д и оставил одно: с и т а л ь я н с к о г о» («Вестник Европы», 1875, № 11, стр. 438). Сам Толстой отметил одну из особенностей замысла поэмы, которую, по-видимому, очень ценил в ней. «Все достоинство рассказа,— писал он К. Сайн-Витгенштейн 7 (19) мая 1875 г.,— состоит в б о л ь ш о м п р а в д о п о д о б и и н е в о з м о ж н о г о ф а к т а». В некрологе Толстого Тургенев утверждал, что в своей последней поэме он «достигает почти дантовской образности и силы» («Вестник Европы», 1875, № 11, стр. 434), однако в письме к Я. П. Полонскому выразил свое отношение к ней в более сдержанных словах: «В его «Драконе»... есть отличные стихи, но вообще — поэзия Толстого мне довольно чужда» (И. С. Т у р г е н е в. Письма, т. 11, М.-Л., 1966, стр. 141). *Гибеллины* — в Италии XII—XV вв. политическая партия, боровшаяся на стороне германских императоров против римских пап и их приверженцев — гвельфов. *Кондотьер* — предводитель наемного войска в средневековой Италии. *Ave Maria* — католическая молитва. *Скрин* — скрыня, сундук. *Ендова* — в Древней Руси большая медная открытая посуда для вина, пива, меда. *Зане* — потому что. *Нетопырь* — большая летучая мышь. *Италия германцу отперта* — то есть войскам германского императора Фридриха Барбароссы, борьба с которым ломбардских городов в середине XII в. и описана в поэме.

ПЕРЕВОДЫ

ДЖОРДЖ-ГОРДОН БАЙРОН

«А с с и р и я н е ш л и к а к н а с т а д о в о л к и...» — Впервые — «Русская беседа», 1859, № 6, стр. 3—4. Перевод стих.

«The destruction of Sennacherib», в основе которого лежит библейское предание о походе ассирийского царя Сенахериба (VIII—VII вв. до н. э.) в Иудею. 27 октября 1856 г. Толстой писал жене: «Ассирияне хороши; неправда, что они плохи, никто еще не сделал такого точного перевода».

«Неспящих солнце! Грустная звезда!..» — Впервые — изд. 1867 г., стр. 187. Перевод стих. «Sun of the sleepless' melancoly star!». Толстой не был удовлетворен переводом. «Да и оригинал мне не очень нравится»,— писал он жене 14 октября 1856 г. Положено на музыку Н. А. Римским-Корсаковым.

АНДРЕ ШЕНЬЕ

А. Шенье (1762—1794) — французский поэт, автор элегий и идиллий; его творчество проникнуто глубоким интересом к античному миру, языческим культом красоты. Толстой собирался перевести еще что-нибудь из его произведений, но не осуществил своего намерения. «Временами для меня истинное наслаждение — переводить Шенье,— писал он Маркевичу ·20 марта (1 апреля) 1860 г.,— наслаждение физическое и пластическое, наслаждение формой, позволяющее отдаться исключительно музыке стиха».

«Крылатый бог любви, склоняся над сохой...» — Впервые — «Библиотека для чтения», 1857, № 1, стр. 10. Перевод стих. «Tiré de Moschus». *Оратай*—пахарь. *Не то, к Европе страсть* и т. д. Согласно греческому мифу, Зевс явился дочери финикийского царя Европе в виде быка и похитил ее.

«Вот он, низийский бог, смиритель диких стран...» — Впервые — «Библиотека для чтения», 1857, № 1, стих. 10. Перевод стих. «C'est le dieu de Niza, c'est le vainqueur de Gange...» *Низийский бог*—Вакх. Согласно мифу, он воспитывался нимфами в Нисе, которая помещалась древними то в Египте, то в Аравии, то в Индии. Считалось, что он прошел по Элладе, Сирии, Азии вплоть до Индии и вернулся в Европу через Фракию. На своем пути он учил людей виноделию и совершал разные чудеса.

«Ко мне, младой Хромид, смотри, как я прекрасна!..» — Впервые — «Библиотека для чтения», 1857, № 1, стр. 10. Перевод стих. «Accours, jeune Chromis, je t'aime, et je suis belle...». *Стерно* — руль. *Фетида* (греч. миф.) — старшая из морских нимф — нереид.

«Супруг блудливых коз, нечистый и кичливый...» — Впервые — «Библиотека для чтения», 1857, № 1, стр. 11. Перевод стих. «L'impur et fier époux que la chèvre désire...».

«Багровый гаснет день; толпится за оградой...» — Впервые — «Библиотека для чтения», 1857, № 1,

стр. 11. Перевод стих. «Fille du vieux pasteur, qui d'une main agile...».

«Я вместо матери уже считаю стадо...» — Впервые — «Библиотека для чтения», 1857, № 1, стр. 10—11. Перевод стих. «A compter nos brebis je remplace ma mère...».

ИОГАНН-ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ

Толстой высоко ценил Гете и, по свидетельству С. А. Толстой, несколько раз обращался к мысли о переводе «Фауста» и «даже начинал его. Много мы о нем говорили» (письмо к А. А. Фету от 5 февраля 1881 г.— изд. 1937 г., стр. 782). Однако до нас дошли лишь многочисленные варианты нескольких строк, переведенных Толстым из «Фауста».

Бог и баядера.— Впервые — «Русский вестник», 1867, № 9, стр. 259—262, под заглавием «Магадева и баядера». Перевод стих. «Der Gott und die Bayadere». Сам Толстой так оценил свой перевод: «вышло по-русски очень гармонично и, мне кажется, переносит вполне читателя в желаемую сферу, тожественную с оригиналом» (письмо к жене, начало сентября 1867 г.). *Магадев* (инд. миф.)— прозвище одного из трех главных индийских богов, Шивы; другие два — Брама (Брахма) и Вишну. *Баядера* — восточная танцовщица. *Брамины* — одна из наиболее привилегированных каст в Индии.

Коринфская невеста.— Впервые — «Вестник Европы», 1868, № 3, стр. 1—8. Перевод стих. «Die Braut von Korinth». В журнале перевод сопровождался примечанием о литературном источнике баллады и ее художественных достоинствах. По словам Толстого, «Коринфская невеста» Гете «принадлежит к его первоклассным произведениям по силе стиха, изящности картин и той объективности, с которой он становится на точку зрения язычества в его тогдашней борьбе с торжествующим христианством». Сначала «Коринфская невеста» была отдана в «Русский вестник», но Катков отказался ее печатать. Некоторые современники сурово отнеслись к переводу — см., напр., письмо Тургенева к Я. П. Полонскому от 31 марта 1868 г. (Письма, т. 7, М.-Л., 1964, стр. 113). В наше время он оценивается как одно из блестящих достижений переводческого искусства; см. М. С. Шагинян. Гете, М.-Л., 1950, стр. 18—19; С. Я. Маршак. Заметки о мастерстве — «Вопросы литературы», 1960, № 3, стр. 140—141. *Церера* (римск. миф.), или Деметра (греч. миф.),— богиня плодородия и земледелия. *Гимен*, или Гименей (греч. и римск. миф.),—бог брака. *Пенаты* (римск. миф.) — божества, хранительницы домашнего очага; в переносном значении — домашний очаг, родной дом. *Клир* — см. стр. 636.

«Радость и горе, волнение дум...» — Впервые полностью, как оригинальный набросок 1853 г., в кн. А. А. Кондра·

тьева «Граф А. К. Толстой», СПб., 1912, стр. 32. Перевод песни Клерхен из «Эгмонта»: «Freudvoll und leidvoll...».

«Трещат барабаны, и трубы гремят...» — Впервые полностью, без указания источника перевода,— в статье К-ского «Неизданные стихотворения гр. А. К. Толстого» («Биржевые ведомости», утр. вып., 1915, № 15115, 28 сентября). Перевод песни Клерхен из трагедии «Эгмонт»: «Die Trommel gerührt...».

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Большой интерес к поэзии Гейне явственно отразился в творчестве Толстого. Он не только перевел несколько стихотворений Гейне. В балладах, юмористических и сатирических произведениях Толстого есть ряд бесспорных перекличек с немецким поэтом.

«Безоблачно небо, нет ветру с утра...» — Впервые — «Русский вестник», 1858, май, кн. 2, стр. 354. Вольный перевод последней строфы стих. «An den Nachtwächter».

«У моря сижу на утесе крутом...» — Впервые — изд. 1867 г., стр. 190. Перевод стих. «Es ragt ins Meer der Runenstein...».

«Из вод подымая головку...» — Впервые — изд. 1867 г., стр. 192. Перевод стих. «Die schlanke Wasserlilie...». Положено на музыку Ц. А. Кюи.

Ричард Львиное Сердце.— Впервые—«Литературная библиотека», 1868, № 1, стр. 86. Перевод стих. «König Richard». *Ричард Львиное Сердце* (1157—1199) — английский король, участник третьего крестового похода.

«Обнявшися дружно, сидели...» — Впервые — «Литературная библиотека», 1868, № 1, стр. 86. Перевод стих. «Mein Liebchen, wir sassen beisammen...».

«Довольно! Пора мне забыть этот вздор...» — Впервые — «Вестник Европы», 1869, № 5, стр. 127, в романе И. А. Гончарова «Обрыв». Перевод стих. «Nun ist es Zeit, daβ ich mit Verstand...», сделанный по просьбе Гончарова для пятой части его романа.

ГЕОРГ ГЕРВЕГ

Г. Гервег (1817—1875) — немецкий поэт и политический деятель, один из крупных политических лириков периода подготовки революции 1848 г.; впоследствии отошел от своих прежних взглядов.

«Хотел бы я угаснуть, как заря...» — Впервые — «Русский вестник», 1859, август, кн. 2, стр. 601, с еще одной строфой между 3-й и 4-й:

Я бы хотел подняться, как роса,
Когда ее встречает солнце жадно,
И, как росу, пускай бы небеса
Испили дух больной и безотрадный.

Перевод стих. «Ich möchte hingehn wie das Abendrot...».

ШОТЛАНДСКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

Эдвард. — Впервые — «Вестник Европы», 1873, № 1, стр. 257—259. Толстой перевел шотландскую балладу с немецкого перевода Т. Фонтане; уже после того, как перевод был сделан, ему удалось найти оригинал, и, по-видимому, в связи с этим он внес несколько исправлений. Немногие произведения мировой литературы производили на Толстого такое огромное впечатление, как «Эдвард»; см. письмо к Маркевичу от 13 (25) декабря 1871 г. О сильном впечатлении, которое произвел «Эдвард» на него самого, на Н. С. Лескова и др., писал Толстому Маркевич (Письма Б. М. Маркевича к гр. А. К. Толстому... СПб., 1888, стр. 123). Положено на музыку П. И. Чайковским.

И. Ямпольский

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

БАЛЛАДЫ, БЫЛИНЫ, ПРИТЧИ

САТИРИЧЕСКИЕ И ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Козьма Прутков

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОДЫ

Джордж-Гордон Байрон

Андре Шенье

Иоганн-Вольфганг Гете

Генрих Гейне

Георг Гервег

Шотландская народная поэзия

А. К. ТОЛСТОЙ.

Собрание сочинений
в четырех томах.

Том I.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Сдано в набор 17/I 1969 г.
Подписано к печати 18/V 1969 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108 1/32.
Объем 35,8 усл. печ. л. 25,03 уч.-изд. л.
Тираж 645 000 экз. Изд. № 790. Зак. № 422.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.

Индекс 70688